

МИРОВОЙ

АЗБУКА
БЕСТСЕЛЛЕР

БЕСТСЕЛЛЕР

КЕЙТ АТКИНСОН

ВИТАЮЩИЕ *в облаках*

Аткинсон искренне переживает за своих героев и с привычной лихостью игнорирует жанровые рамки.

Standard

18+

АЗБУКА



Annotation

В высшую лигу современной литературы Кейт Аткинсон попала с первой же попытки: ее дебютный роман «Музей моих тайн» получил престижную Уитбредовскую премию, обойдя «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди, а цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди, успевший полюбиться и российскому читателю («Преступления прошлого», «Поворот к лучшему», «Ждать ли добрых вестей?», «Чуть свет, с собакою вдвоем»), Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия».

Итак, познакомьтесь с Норой и Эффи; Нора — мать, а Эффи — дочь. На крошечном шотландском островке, среди вересковых пустошей и торфяного мха, они укрываются от стихий в огромном полуразрушенном доме своих предков и рассказывают друг другу истории. Нора целует жаб, собирает крапиву на суп и говорит о чем угодно, кроме того, о чем Эффи хочет услышать, а именно — кто же ее отец. Эффи рассказывает о своем приятеле Бобе, который давно перестал ходить на лекции по философии, почти не вылезает из кровати, и для него «клингоны не менее реальны, чем французы и немцы, и уж куда реальнее, скажем, люксембуржцев». Тем временем кто-то, возможно, следит за Эффи; кто-то, возможно, убивает стариков; и куда-то пропал загадочный желтый пес...

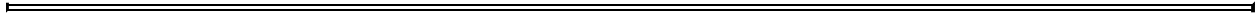
Впервые на русском.

-
- [Кейт Аткинсон](#)
 -
 -
 -
 -
 - [Мертвый сезон \(Первый вариант\)](#)
 - [1972](#)
 - [Кровь от крови и кость от кости](#)
 - [Chez Bob\[14\]](#)
 - [Искусство структуралистской критики](#)
 - [Что пропустила Нора](#)
 - [Меж Эдинбургом и Данди есть города](#)
 - [Chez Bob](#)
 - [Что-то жирное в утесах](#)

- [Chez Bob](#)
 - [Reductio ad absurdum\[58\]](#)
 - [Chez Bob](#)
 - [Витающие в облаках](#)
 - [Chez Bob](#)
 - [Дом вымысла](#)
 - [Кружным путем](#)
 - [Chez Bob](#)
 - [Внутри земного шара имеется другой шар](#)
 - [А не то...](#)
 - [Chez Bob](#)
 - [Чего не знала Мейзи](#)
 - [Является ли создание трансцендентально связанного представления мира по-прежнему желательным?](#)
 - [Chez Bob](#)
 - [Большой переполох](#)
 - [Кровь от крови и кость от кости](#)
- [1999](#)
 - [Смысл жизни](#)
 - [«Мертвый сезон». Эффи Эндрюс](#)
 - [Глава первая. «Госпожа Удача»](#)
 - [Последние фразы](#)
- [Послесловие](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)



Кейт Аткинсон

Витающие в облаках

© Т. Боровикова, перевод, примечания, 2018
© Н. Хоменко, послесловие, примечания, 2018
© А. Гузман, примечания, 2018
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

* * *

Кейт Аткинсон — настоящее чудо.

Гиллиан Флинн

Блестящая, энергичная, лихая проза Аткинсон в этом, третьем по счету, романе потрясает, как и во всех других ее книгах... остроумно, смело и незабываемо.

Times

Оригинальный сюжет с избытком эксцентричных персонажей... Этой многослойной, прекрасно написанной книгой Кейт Аткинсон вскрыла золотую жилу.

Time Out

Подлинно комический роман — местами смешной до боли... Пронизанная остроумием и озорством книга зовет читателя в уморительно смешное и волшебное путешествие.

Daily Express

Романы Аткинсон замечательны и сами по себе, и как признаки того, что на наших глазах растет блестящий, глубоко оригинальный писатель.

Daily Telegraph

Сила Кейт Аткинсон как писателя — в ее наблюдательности и юморе.

Guardian

Когда читаешь, со страниц летят разряды, пронизывающие наслаждением... Может вызвать громкое непроизвольное хихиканье в городском транспорте. Самое забавное творение Кейт Аткинсон на сегодняшний день... эксцентричная книга, не перестающая смешить читателя, по-диккенсовски или даже по-шекспировски изобильная... Колоссальное удовольствие.

The Scotsman

Блестящая, вызывающая игра с самой тканью повествования.

New Statesman

Кейт Аткинсон остроумна, не говорит ни одного лишнего слова, заставляет вас задуматься и не идет ни у кого на поводу.

Sunday Times

Подлинная комедия, подлинная трагедия, бодрящее отсутствие сентиментальности.

The Boston Sunday Globe

Кейт Аткинсон умеет быть загадочной и смешной, поднимая этот свой дар в новом романе до заоблачных высот.

Sunday Tribune

Ее изобретательная энергия не скована цепями реализма, и читать этот роман — все равно что кататься с американских горок. Скучно не будет.

Mail on Sunday

Кейт Аткинсон пишет, руководствуясь остро отточенным литературным чутьем... Забавно, умно и странно трогательно.

Caledonian

Книга буквально искрит энергией и остроумием... удовольствие автора от самого процесса письма заразительно.

Literary Review

Сказка на старый добрый лад. Она несется на всех парах, заставляя лихорадочно переворачивать страницы, чтобы узнать, чем все кончилось, — даже если вы уже давно уговариваете себя, что пора спать.

Washington Post

Тонкая, полная аллюзий и потрясающе смешная книга.

Glasgow Herald

Эта блестящая, захватывающая проза вновь подтверждает: Аткинсон — один из наиболее выдающихся писателей нашего времени.

Yorkshire Post

Кейт Аткинсон нашла свою лучшую тему и таким образом раскрыла тайну, как написать подлинно смешной комический роман.

Newsday

Один из самых блестящих, остроумных авторов нашего времени.

The Scotsman

По литературному мастерству, по яркости и глубине психологических описаний Кейт Аткинсон сегодня нет равных.

Evening Standard

Кейт Аткинсон смело экспериментирует с такими понятиями, как свобода воли, предопределение и само время. Ее героев не забудешь при всем желании, а в том, что касается развития сюжета, она без преувеличения гений.

New York Times

Аткинсон искренне переживает за своих героев и с привычной лихостью игнорирует жанровые рамки.

Standard

В каждой семье найдутся свои негодяи, бунтари, лжецы и обманщики — но только Кейт Аткинсон умеет описать их с таким юмором и так полнокровно.

The Washington Times

Как это у нее получается? Аткинсон заставляет читателя то хохотать до слез, то рыдать в голос — иногда в пределах одной и той же фразы. Выдающийся триумф, неудержимая радость!

The Boston Sunday Globe

Автор явно любит своих героев и выписывает их непростые взаимодействия с азартным упоением.

Spectator

Лесли Денби, урожденной Эллисон, — с любовью

Автор благодарит:

Хелен Клайн, Лесли Денби, Хелен Хау, отель «Говард» (Эдинбург), Морин Линехан, Гарета Маклина, Дэвида Мэттока, Мартина Майерса, Эли Смит, Сару Вуд.

Изображенный в этой книге Университет Данди (особенно кафедры английского языка и философии) очень мало схож с действительностью, как прошлой, так и настоящей. Все персонажи книги полностью вымышлены и не являются портретами ныне живущих или когда-либо живших людей.

* * *

— И все это в одном слове? — сказала задумчиво Алиса. — Не слишком ли это много для одного!

— Когда одному слову так достается, я всегда плачу ему свехурочные, — сказал Шалтай-Болтай.

— Ах, вот как, — заметила Алиса.

Она совсем запуталась и не знала, что и сказать.

— Посмотрела бы ты, как они окружают меня по субботам, — продолжал Шалтай, значительно покачивая головой. — Я всегда сам выдаю им жалованье.

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.

Перевод Н. Демуровой

Мертвый сезон (Первый вариант)

1

Инспектор Джек Баклан въехал в город Моревилль-на-Море по дороге, идущей вдоль побережья. Сегодняшнее солнце (впрочем, инспектор знал, что солнце всегда одно и то же) уже весело карабкалось по небосводу. Было чудесное утро. Жаль, что его испортит вынужденный визит на «Госпожу Удачу» по поводу ее груза — одной дамы, весьма неудачливой. И к тому же мертвой. Джек Баклан вздохнул. День ото дня его работа не становилась легче. Он служил в полиции уже столько лет, что ему даже не хотелось об этом думать. Он был обычный, старомодный детектив. Безо всяких странностей и чудинок — он не разгадывал кроссворды, не был бельгийцем и тем более женщиной^[1]. Он был человеком на своем месте. Но счастлив он не был. Ему не хотелось в такое чудесное утро возиться с трупами. В особенности на пустой желудок.

Мадам Астарти пока не знала о трупе. Она пыталась разлепить веки. Они были намертво склеены сном, тушью и вчерашним джином (да, это был явный перебор) в «Крабе и ведре» в компании Сандры и Брайана. Мадам Астарти вздохнула и оцупью нашарила на тумбочке у кровати зажигалку и пачку «Плейерс». Ей нравился запах табака по утрам^[2].

Чайки били чечетку на крыше, возвещая, что в Моревилль-на-Море пришел новый день. Сквозь щель меж занавесками виднелось солнце цвета яичного желтка. Восход, подумала она, маленькое ежедневное чудо. Вот будет забавно, если однажды утром солнце не встанет. Впрочем, не очень забавно — ведь тогда все живое на Земле погибнет. Настанет подлинно мертвый сезон.

1972

Кровь от крови и кость от кости

Моя мать — девственница. Можете мне поверить. Моя мать, Нора, — полыхающий каледонский маяк — утверждает, что не тронута рукой мужчины и чиста, как Жанна д'Арк или свежевывпавший снег на Грампианских горах. Если бы полиция выстроила несколько женщин в ряд, как на опознании, и попросила вас выбрать среди них девственницу, вы бы никогда, ни за что не выбрали Нору.

Значит, я — дитя чуда и волшебства? Может быть, накануне моего рождения в ночном небе явились знаки и предвестия? Может быть, Нора — Пресвятая Дева? Нет, конечно.

Если верить моей метрике, я родилась в Обане, а это, по-моему, совсем неподходящий город для второго пришествия. Нора окутала начало моего земного бытия таким туманом, такой тайной, что я выросла в уверенности: я не иначе как принцесса инкогнито, королевской (истинно голубой) крови, и жду лишь дня, когда смогу без опаски вступить в права владения. Теперь оказывается, что все гораздо сложнее.

Мне двадцать один год, и меня (насколько мне известно, — кажется, у нас ни в чем не может быть полной уверенности) зовут Эвфимия Стюарт-Мюррей. Уменьшительное — Эффи. В честь Нориной сестры, которая утонула в реке в день, когда родилась я. Самой Норе было всего семнадцать лет, когда я вошла в этот материальный мир. Дитяти пришлось воспитывать дитя, как говорит она.

Конечно, из Стюартов-Мюрреев я никого не знаю. В моем детстве не было ни доброго дедушки, ни дядьев, всегда готовых со мной поиграть. Нора никогда не гостила у брата, не вспоминала с задумчивой нежностью о матери. Даже само имя нашего рода звучит для меня непривычно, ибо всю мою жизнь мы с Норой обходились гораздо более прозаической фамилией, Эндрюс. А если у человека нет уверенности в собственном имени, в чем он вообще может быть уверен? Моя мать так мало общается с родственниками (а родственники — с ней), что, может быть, ее вынесло на берег волной в перламутровой раковине или она выпрыгнула, уже взрослая и соразмерная, из головы какого-нибудь гневного бога, и в жилах ее течет холодная золотая жидкость^[3].

Нора всю мою жизнь упорно молчала о нашей родне. Единственное, что она мне открыла, — мы приходим из того же рода, что Мария

Стюарт, и пороки этой давно почившей королевы настигают нас из поколения в поколение. Особенно, по словам Норы, склонность выбирать не тех мужчин. Но мне кажется, эта черта характерна не только для Марии Стюарт и даже не только для представителей рода Стюартов-Мюрреев.

Я вернулась домой — если это можно назвать домом, ведь я никогда здесь не жила. Моя жизнь — сплошные парадоксы. Я забралась на крайний запад — дальше просто некуда, между нами и Америкой только океан. Я на острове в этом океане. Пятнышко торфа поросло вереском и оцетинилось чертополохом. С Луны его не увидеть. Остров моей матери. Нора говорит, что это не ее остров и что сама концепция землевладения лишена смысла, более того — идеологически неверна. Но хочет того Нора или нет, она владычица всего, что видит глаз. Хотя это — большей частью вода^[4].

Мы не одни. Остров кишит упорной шотландской живностью — зверями в толстых шубах и злобными птицами. Они снова захватили эту землю, когда люди покинули ее ради удобной жизни на материке. Нора — она из тех, кто вечно плюет против ветра, — совершила путешествие в обратном направлении, покинув удобства Большой земли ради этого заброшенного клочка суши. Впрочем, под «Большой землей» мы не всегда подразумеваем материк как таковой. Часто имеется в виду соседний остров, чуть больше нашего. Так съезжился наш мир.

Нора, вечное перекаати-поле, блуждающая звезда, диаспора из одного человека (двух, считая меня), провела годы моего детства в изгнании с родной земли, порхая с одного английского морского курорта на другой, словно охваченная синдромом навязчивых картографических действий, гонящим ее мерить шагами побережье. Глядя на нас, можно было подумать, что мы — отдыхающие, чей отпуск никогда не кончается.

Раньше я задавалась вопросом: может, Нора начала путешествие на мысу Край Земли и теперь пытается попасть в Джон-О'Гроутс?^[5] Впрочем, я бы не смогла объяснить, зачем ей это. Конечно, она шотландка, но ведь миллионы шотландцев живут себе спокойно, и их за всю жизнь ни разу не тянет в Джон-О'Гроутс.

Теперь она говорит, что умрет здесь, на острове. Но ей всего тридцать восемь лет — не собирается же она умирать так рано? Нора говорит, что все равно когда умирать — что наша жизнь лишь иллюзия. Может, это и так, но холодный дождь все равно пронизывает до костей, а шквалы треплют нам волосы. (Мы здесь поистине открыты буйству непогоды.) И вообще, я не верю, что Нора когда-нибудь умрет. Мне кажется, она лишь изменится.^[6] Она уже начала меняться, она превращается в тварь стихий, с

морской водой вместо крови и известняковыми костями. Она дезэволюционирует, уходит все глубже в древнюю, рыбью часть мозга. Может быть, скоро она уползет обратно в царство Нептуна и заявит свои права как наследница каких-нибудь завров. Или станет чем-нибудь монументальным — горой в ледяной шапке, усыпанной валунами, или пузырящимся ручейком с водой, бурой от торфа, что сбегает к морю, неся в себе молодь угря, колюшку и пузырчатые зеленые водоросли^[7].

Меня привязывают к неизвестным, позабытым Стюартам-Мюрреям спирали плоской, как ленточные черви, ДНК. Мы все, живые и мертвые (мертвых, кажется, больше), — светящаяся молекулярная звездная пыль, галактический мусор из бактерий и микробов. Наши вены — цвета дельфиниумов и люпинов, наша артериальная кровь — лихорадочный отвар давленных лепестков герани и оранжерейных роз, разведенных плазмой, похожей на сопли, а...

— Ша! — говорит Нора. — Не болтай чепухи. В наших жилах течет кровь древних воинов, берсерков, завоевателей. А на вкус она отдает ржавым оружием и коваными монетами. Мы не из тех стойков, что перерезали себе хилые вены, похожие на тростинки, и тихо уплывали по ручью собственной крови. Мы надевали латы и рубили в капусту врагов.

Стюарты-Мюрреи, оказывается, были обоерукими (или двурушниками) — они боролись с англичанами, но и вставали с ними плечом к плечу на защиту империи и поддержку эксплуатации. Стюартов-Мюрреев водили в бой Брюс, Уоллес за собой^[8]. Стюарты-Мюрреи участвовали в каждой потасовке, заварушке и стычке на протяжении всей кровавой истории Шотландии.

А где же теперь мои безрассудные предки? Нора говорит, что род оборвется дочерьми. То есть мной. Выходит, я — последняя дочь рода Стюартов-Мюрреев.

Я молодая женщина из плоти и крови, из конфет и пирожных, и сластей всевозможных, и из молекул, когда-то составлявших тела мертвецов. У меня тонкие кости — они легко ломаются и трескаются (и это меня огорчает)^[9]. У меня ступни Норы — узкие в подъеме и широкие с той стороны, где пальцы. У меня ее любовь к сентиментальной музыке и ее ненависть к брюссельской капусте. Темпераментные волосы у меня тоже от матери — такие обычно встречаются в воображении художников, и когда их видишь на голове у живой женщины, это отчасти пугает. Норины волосы — цвета ядерных закатов и имбирной коврижки, в которую переложили пряностей. У меня, к сожалению, те же кудряшки в форме

штопора больше похожи на клоунский парик, а цвет их тяготеет к морковному.

Мой родной язык тоже унаследован от матери — когда я была ребенком, мы жили так замкнуто, что я переняла ее акцент, хотя впервые попала к ней на родину, лишь когда мне исполнилось восемнадцать.

Некоторые люди всю жизнь проводят в поисках себя, хотя потерять себя, даже если очень постараться, не выйдет (вы только гляньте, я на этом паршивом островке уже превратилась в паршивого философа). С момента зачатия наше «я» — как узор у нас в крови. Оно впечатано в кости, словно окаменелости в приморский камень. Нора, напротив, не может понять, откуда люди сами знают, кто они, — ведь все молекулы, все клетки в человеческом теле успевают смениться несколько раз с момента рождения.

Иные утверждают, что человек — не более чем пучок сиюминутных впечатлений, другие — что он состоит исключительно из воспоминаний. Мое самое первое воспоминание — как я тону. Видимо, меня, как и мою мать, явно тянет к чернухе. Может быть, я живой пример переселения душ? Может, душа тонущей Эффи выскочила из тела и влетела в мое, новорожденное?

— Будем надеяться, что нет, — говорит Нора.

Память, конечно, ненадежна — она принадлежит не миру разума и логики, но миру снов и фотографий: оттуда тянешься Танталом к истине и реальности — не дотянуться, как ни старайся. Почему я знаю, — может, я выдумала то водяное воспоминание, бестелесное, как сама вода, или вспомнила кошмарный сон и приняла его за явь. Но разве не любой кошмар происходит наяву?

Прежде чем Нора поставила себе цель (стать куском пейзажа), она всегда была рассеянной и легко отвлекалась. Позабывтая дочь Мнемозины. Как еще объяснить то, что она забыла Стюартов-Мюрреев, а главное — ужасные обстоятельства моего рождения?

Мы идем вдоль утесов, на которых гнездятся тупики. Утесы отвесно уходят в холодное бурлящее море. У нас над головами хоровод пронзительно кричащих птиц — бакланы, кайры, олуши — выводит затейливые ауспиции, которые нам не прочитать.

Отсюда виден почти весь остров — большой дом, где мы живем, пустоши, заросшие папоротником, вереском и мокрым, пружинящим торфяным мхом, а за ними — более плодородные, покрытые желтеющей травой равнины, приют кроликов и диких кошек. Последние — чудовищно безобразный плод генетической изоляции, потомство всего одной пары

сиамцев, привезенных сюда на каникулы какими-то давно забытыми Стюартами-Мюрреями. Ибо этот остров, если верить Норе, служил для наших предков местом отдыха.

У меня нет оснований с ней спорить, хоть я и не могу понять, кому придет в голову отдыхать на этом богом забытом клочке суши. Я думаю, что даже в разгар лета здесь царит осеннее уныние. Зимой остров выглядит так, будто ноги человека здесь не было очень давно, а может, она сюда вообще не ступала. Нора говорит, что помнит, как проводила здесь лето — ныряя в озерца на скалах за мелкими бурыми крабами и серебристыми рыбешками, поедая припасы для пикника на продуваемых всеми ветрами газонах со скудной, просоленной морем травой.

Нора — женщина с прошлым, о котором она всегда решительно отказывалась говорить, и мне сейчас непередаваемо странно ее слушать. Для меня это гораздо мучительней, чем для нее, — ведь она все это годами носила у себя в голове, а для меня ее воспоминания — впервые распахнутый сундук ужасов и чудес.

Нора говорит, что мы должны закутаться в платки и пледы, как две мерзлячки-старушки, старые девы (Эвфимия и Элеонора), сидеть у камелька, в котором пылает плавник, и сплетать словеса о былом. По ее словам, когда она поведает мне то, что должна поведать, ее рассказ покажется мне таким странным и трагичным, что я не поверю и сочту его плодом чересчур живого воображения^[10].

— Скорей, скорей, — торопит меня Нора. — Мы должны рассказать друг другу свои истории. Как ты начнешь? «Одинокий рыбак поутру, выйдя на лов селедки...»? А это будет правда? Или ты намерена сочинять по ходу дела?

— Выкинешь ли ты повседневную рутину — кипячение чайников, шум воды в унитазе, задергивание занавесок, телефонные звонки, сброшенные частицы отмершей кожи, рост ногтей и тому подобное, *ad nauseam*?^[11] Неужели, — спрашивает Нора, — мы в самом деле хотим знать нудные подробности семейных ссор из-за кошки, газонокосилки, бутылки вина?

— Нам также не нужны, — говорит Нора, — приевшиеся рассказы о бунте домохозяйки и ее героических попытках построить новую жизнь с красивым новым любовником, прелестным ребенком и хеппи-эндом. Вместо этого нам нужны убийства и зверства, сюжеты внутри сюжетов — сумасшедшая на чердаке, кража бриллиантов, потерянные наследники,

героические собаки-спасатели, капелька секса и подозрение на философию.

Прекрасно. Я начну наугад. С того дня прошло чуть больше месяца (а кажется, что он был так давно!). Действие происходит зимой. Всегда зимой. Нора — подлинная королева зимы.

Место действия — город джута, джема и журналистики, родина комиксов про семейство Брун и ребят с Бэш-стрит^[12]. Здесь ходил в школу Уильям Уоллес^[13]. Здесь находится питомник, где бережно возвращают молодое пополнение для шотландской прессы. Иными словами — Данди!

Данди. Далекий-далекий город в волшебной северной стране, к которой я принадлежу по крови, но не по воспитанию. «Север» — этот волшебный дорожный указатель сулит лед и эскимосов, белых медведей и полярное сияние. Данди, город улиц с удивительными именами: Земляничный Откос, переулок Первых Лучей Зари, Пастуший Заем, Лужайка Магдалинина Двора, Смолзов проулок, улица Коричневого Констебля, Дорога Прелестного Склона.

Данди, построенный на застывшей магме и лаве давно погасшего вулкана, Данди с его ветхими домами из грязноватого песчаника, непостижимым акцентом жителей, отвратительной местной кухней и огромным небом над устьем реки. Прекрасный Данди, где великая река Тей расширяется и переходит в залив, неся с собой стаи лососей, сточные воды и атомы тех, кто нашел в воде свою смерть, — может, и Нориной сестры, красавицы Эффи: она утонула в день моего появления на свет, и река унесла ее по течению, как дохлую рыбу.

— Ну давай уже, — говорит Нора.

Chez Bob^[14]

Утро понедельника и мои сны в неурочный час расколол дверной звонок — он вопил пронзительно, предвещая смерть, трагедию или внезапное большое наследство. Но это оказалось не то, не другое и не третье (во всяком случае, пока), а просто Терри. Было лишь семь утра — она, по всей вероятности, не то что встала в такую рань, а, наоборот, еще не ложилась.

Терри, маленькая и худая, была одета, как всегда, на манер безумной викторианской гувернантки. На щеках у нее играла бледность трехдневного трупа, а на глазах, несмотря на мрак неосвещенной лестницы, были темные очки *Wayfarer Ray-Ban*.

Хотя я уже открыла дверь, Терри не отпустила кнопку звонка — словно в момент, когда она звонила, ее сковало трупное окоченение. Я силой убрала ее палец, чуть не сломав его. Терри протянула ко мне руку ладонью вверх и скомандовала с лицом, лишенным всякого выражения, как у наемного убийцы:

— Твой реферат по Джордж Элиот.

— Или что? Смерть?

— Иди в жопу, — кратко ответствовала она и закурила сигарету на манер злодейки в фильме нуар.

Я захлопнула дверь у нее перед носом и вернулась в постель, к теплему, расслабленному телу Боба, с которым жила в нищете и убожестве в городской трущобе на Пейтонс-лейн, на чердаке дома, где когда-то обитал несправедливо презираемый, но благородный сердцем шотландский поэт Уильям Топаз Макгонагалл. Боб перевернулся на другой бок и пробормотал какую-то чепуху, как обычно во сне («Леопард опоздает на поезд!», «Надо найти ту редиску» и так далее)^[15].

Боб (известный некоторым как Волшебный Боб — непонятно почему: он никогда не проявлял ни малейшей склонности к магии) был чуждым иллюзионизму уроженцем Эссекса. Он родился и вырос в Илфорде, хотя говорить старался (когда помнил об этом) с монотонным, неопределенно северным акцентом, чтобы пользоваться бóльшим авторитетом у дружков^[16].

Боб, как и я, был студентом в Университете Данди. Впрочем, он сам говорил, что на месте университетского начальства давно выгнал бы себя взашей. Он очень редко сдавал рефераты, считал вопросом чести никогда

не ходить на лекции, а вместо этого вел неспешную жизнь ночного зверя ленивца — курил травку, смотрел телевизор и слушал «цеппелинов» в наушниках.

Недавно Боб обнаружил, что в этом году оканчивает университет. Он уже дважды застревал на год на втором курсе — больше никому за всю историю университета это не удавалось — и почему-то очень долго полагал, что будет вечным студентом. Его заблуждение развеялось лишь недавно. Предполагалось, что Боб учится по двойной программе, на бакалавра по английскому языку и философии одновременно. Когда его спрашивали, какой диплом он собирается получить, он всегда отвечал: «Два бокала...вра!» — и приходил в восторг от собственного остроумия. Его чувство юмора было воспитано на «Шоу дебилов»^[17] и отточено группой «Мартышки»^[18]. Его кумиром был Микки Доленз — еще ранних времен, когда тот снимался в программе «Мальчик из цирка». Боб был совершенно незатейливой личностью. Кроме Доленза, он обожал комиксы про кота Фрица^[19]. Его абсолютно не интересовало все, что требовало хотя бы минутной концентрации внимания. Политикой он тоже не интересовался, хотя на полке у него стояли три ни разу не раскрытых тома «Капитала». Боб был не в состоянии объяснить, откуда они взялись, хотя смутно помнил, что в молодости, посмотрев «Если...», записался в секту радикальных марксистов^[20]. Он был также подвержен обычным навязчивым идеям и заблуждениям, характерным для мальчиков его возраста, — например, клингоны для него были не менее реальны, чем французы и немцы, и уж намного реальнее, скажем, люксембуржцев^[21].

В дверь позвонили снова, уже не так настойчиво, и за дверью снова обнаружилась Терри.

— Впусти меня, — слабо сказала она. — Я, кажется, что-то себе отморозила.

Терри — маленькая принцесса с американского Среднего Запада, чирлидерша, пошедшая по кривой дорожке. Может быть, там, на родине, у нее когда-то были пышущие здоровьем деревенские кузены (хотя я скорее поверила бы, что она вылупилась из яйца в гнезде доисторической птицы), но они все либо умерли, либо порвали с ней всякую связь. Отец Терри, топ-менеджер с заводов Форда, приехав ненадолго поработать в Британию, определил Терри в английскую квакерскую школу-пансион и легкомысленно оставил там, а сам вернулся в Мичиган.

Терри меняла национальность, как хамелеон — цвет: ее предками были то итальянцы, то евреи, бежавшие от погромов, то русские, то кто-то

откуда-то с Востока. Только я знала про обыденную смесь ирландских моряков, голландских молочников и бельгийских шахтеров, которые по странной генетической случайности породили девушку с внешностью экзотической гурии, загадочной одалиски из стихов По. Это была самая прекрасная дружба, это была самая злосчастная дружба^[22]. Мы заменили друг другу сестер, которых у нас никогда не было. Я жалела Терри, которая так явно не принадлежала ко всему остальному человечеству. Иногда мне казалось, что моя роль в ее жизни — быть посредницей меж нею и живыми, словно я — подручный вампира.

Терри снимала нору на Клеггорн-стрит, но не любила там бывать. Унылая квартира без горячей воды годилась разве лишь на то, чтобы держать там гроб, наполненный землей. В приступе активности (каковые с Терри случались очень редко) она выкрасила всю квартиру в лиловый цвет. Этот декор никак не помогал развеять ее собственный душевный мрак. Зато Терри, в отличие от меня, выработала четкий план на всю оставшуюся жизнь: она собиралась найти очень старого и очень богатого мужа и «затрахать его до смерти». Она не первая, кому такое приходило в голову, но я сомневалась, что в Данди найдется подходящий кандидат.

Я принялась шарить в темноте, ища свечку. На дворе стояла зима междоусобий, шахтерских забастовок и «трехдневных недель», а это значило, что света сегодня не будет^[23]. Умей я думать на шаг вперед (я боялась, что никогда этому не научусь), я бы давно уже купила фонарик. Еще я бы купила термос. И грелку. И батарейки. Интересно, сколько еще понадобится «трехдневных недель», чтобы цивилизация пришла в упадок? Впрочем, для одних людей этот момент наверняка наступит раньше, чем для других.

Из окна я видела залив, а за ним — Файф, где свет был. Дома Ньюпорта и Уормита были усажены бодрими огоньками, и люди — более организованные, чем мы, — деловито выходили на улицу, спеша начать новый день. Будь сейчас светло, нам открылся бы великолепный вид на железнодорожный мост с идущими по нему поездами — черное кружево, изогнутое ленивой дугой через Тей, который иногда серебрился, чаще — нет, а сейчас, в едва брезжущем свете зари, походил на текущую мимо полосу смолы.

Боб все еще крепко спал. В эти ночеподобные сонные дни он бодствовал еще меньше обычного.

— Бабочка забрала хлопья! — громко предупредил нас Боб, странствующий во сне.

— Никак не могу понять, что ты в нем нашла, — сказала Терри.

— Я тоже, — мрачно ответила я.

Меня точно привлекла не его внешность — с виду он ничем не выделялся из толпы: усы как у Сапаты, золотая серьга в ухе, сальные локоны «кавалера»^[24], спадающие на сутулые плечи. Похож он был, пожалуй, разве что на бродягу — это впечатление усиливалось из-за поношенных армейских ботинок и шинели военного летчика, в которых он обычно ходил.

Боб недавно открыл для себя смысл жизни, и это открытие, по-видимому, абсолютно никак не повлияло на его ежедневное существование.

Я познакомилась с Бобом в первую неделю своего пребывания в университете. Мне было уже целых восемнадцать лет. Мне казалось, что мое лицо начинает принимать особое библиотечное выражение, и я боялась, что останусь на всю жизнь одна и буду вечно блуждать по пустыне, уготованной старым девам. В то утро я твердо решила потерять невинность, и по чистой случайности Боб был первым, кто встретился мне после этого.

Мы познакомились, когда он меня переехал. Он был на велосипеде, а я — на мостовой; вероятно, из этого можно понять, кто виноват. Я сломала запястье (точнее, Боб мне его сломал), и восхитительное стечение обстоятельств — драма, кровь и кареглазый мужчина — убедило меня, что судьба сказала свое слово и я обязана прислушаться.

Боб сбил меня, потому что вильнул, объезжая собаку. Человек, готовый сбить женщину, чтобы спасти собаку, вошел в мою жизнь, пока я лежала на мостовой: он склонился надо мной, уставился на меня в изумлении, будто сроду не видел женщин, и произнес: «Вот же блин».

Собака вышла из этой переделки невредимой, хоть и слегка удивленной, и была возвращена слезоточащему хозяину. Боб поехал вместе со мной в «скорой помощи» в Королевскую больницу, и его пришлось держать — он рвался надыхаться веселящим газом.

Терри наконец сняла темные очки (после того, как споткнулась о ботинки Боба, неосторожно брошенные на пути). Сосуществование с Бобом имело массу недостатков, и не последним из них была его способность создавать неопишуемое количество самовоспроизводящегося хаоса, который постоянно грозил его поглотить.

Поскольку света не было и еды в доме — тоже, мы устроили воображаемый завтрак. Терри выбрала горячий шоколад и гренки с корицей, а я — «Домашний чай» из лавки Брэйтуэйта с хорошо

пропеченной белой булочкой от Катберта — снаружи хрустящая темная корка, внутри воздушный белый мякиш. Но мы остались голодными — словами ведь не наешься.

— Ну что ж, раз мы не спим в такую рань, то хотя бы успеем к Арчи на семинар, — сказала я без особого энтузиазма, но тут заметила, что Терри уснула.

Ей следует побережся — она как раз из тех людей, с пониженным метаболизмом, которых часто хоронят заживо в семейных склепах и стеклянных гробах. В некоторых аспектах (не во всех) Терри стала бы идеальной женой для Боба: они просто проспали бы всю свою супружескую жизнь. Рип ван Винкль и великая княжна Анестезия, потерянная сонная наследница династии Романовых.

Я слегка ущипнула Терри и сказала: «Ты же знаешь, нам нельзя...», но тут сонное колдовство одолело и меня.

Иногда мне кажется, что мы все, неведомо для себя, участвуем в клинических испытаниях препарата с действием, обратным действию спидов. Наверно, его можно было бы выпустить на рынок под названием «медляк»^[25]. Может, потому у меня и возникло ощущение, что за мной наблюдают: это замаскированный лаборант изучает воздействие медляка на ничего не подозревающую лабораторную мышку. Потому что я точно знала: за мной следят. («Ты же помнишь пословицу, — сказал однажды Боб, неудачно пытаясь меня успокоить, — если вы параноик, это еще не значит, что за вами не охотятся».)

Уже несколько дней я ощущала на себе взгляд невидимого наблюдателя. Чувствовала, что по моим следам неотступно и неслышно бегут ищейки. Я надеялась, что это лишь фантом чересчур развитого воображения, а не начало параноидального нервного срыва и галлюцинаций, которые приведут меня в запертую палату в местной психиатрической больнице, расположенной в деревне под названием Лифф. («Ешь больше колес», — посоветовал мне Шуг, приятель Боба.)

Я вздрогнула и проснулась. Моя голова неудобно лежала на краю Витгенштейнова «Трактата», и угол книги больно врезался мне в щеку^[26]. Терри поскуливала — опять во сне гоняет кроликов.

Я растолкала ее:

— Пойдем, а то опоздаем.

Недавно я твердо решила — понимая, что на последнем курсе давать себе такие обещания поздновато, — ходить на все положенные лекции,

коллоквиумы и семинары. Это была безнадежная попытка втереться в милость к преподавателям — как можно большему количеству преподавателей кафедры английского языка: я настолько выбилась из графика со всеми заданиями, что вряд ли меня даже допустят к итоговому экзамену, а уж вероятность того, что я его сдам, и вовсе стремится к нулю. Я не понимала, как это у меня получилось так отстать, особенно когда я изо всех сил старалась успевать к сроку.

Терри отстала еще больше, чем я (если такое вообще возможно). Реферат о Джордж Элиот («„Мидлмарч“ — сокровищница деталей, но как целое не особо интересен» — можно ли опровергнуть это критическое высказывание Генри Джеймса?) был лишь одним из многочисленных заданий, которые мы умудрились не выполнить.

Я собиралась будто на Северный полюс, напяливая на себя все, что под руку попадет, — шерстяные колготки, длинное вельветовое платье-сарафан, несколько бракованных мужских свитеров для гольфа, купленных на распродаже в магазине шерстяных изделий, шарф, перчатки, вязаную шапку и, наконец, старое суконное пальто, приобретенное за десять шиллингов в лавке старьевщика в Западном порту. Оно до сих пор сохраняло утешительный старушечий запах фиалковых пастилок и камфоры.

— Онтологическое доказательство! — загадочно выкрикнул Боб во сне. Наяву он даже под страхом смерти не смог бы сказать, что это означает.

Терри поморщилась, вернула на место темные очки и натянула черный берет — теперь она походила на безумную гувернантку, ушедшую в сельву к партизанам. Девушка-синоптик^[27].

— Вперед, — сказала она, и нас, как током, тряхнуло утренним холодом.

Воздух был хрусток от мороза, и дыхание вырывалось белыми клубами — словно пузыри с репликами героев в комиксе. Мы протащились по Пейтонс-лейн и свернули на Перт-роуд, и все это время невидимые бдительные глаза сверлили нам спину.

— Может, это Божье Око, — сказала Терри.

Я предположила, что у Бога, если он вообще существует (что маловероятно), найдутся дела поинтересней, чем следить за мной.

— А может, и нет, — сказала Терри. — Может, он такой... совсем обычный чувак. Кто знает?

Действительно — кто?

Искусство структуралистской критики

— Бу-бу-бу, бу-бу-бу, — бубнил Арчи. Во всяком случае, выходило что-то близкое к этому.

Дело происходило в десять минут двенадцатого на семинаре Арчи Маккью на третьем этаже пристройки к сооружению шестидесятих годов — взмывающей ввысь башне Роберта Мэтьюза. Она называлась Башней королевы, хотя было чрезвычайно маловероятно, что в этой башне когда-нибудь поселится какая-нибудь королева. Мрачная атмосфера была еще мрачней из-за отсутствия света. На окне, будто некий условный знак, горела свеча, воткнутая в бутылку из-под вина «Синяя монахиня». Отопление в университете не отключали, хотя никто не знал, как университетскому начальству удавалось этого добиться. Может, в печках жгли книги, а может (что гораздо вероятней), студентов. В комнате было жарко и душно, и я начала по одному стягивать с себя бракованные свитера для гольфа.

Арчи говорил. Когда Арчи говорит, его совершенно невозможно остановить, — пожалуй, его не остановит даже смерть: он будет что-то бормотать из-под крышки гроба, но в конце концов черви устанут от шума и выедят ему язык...

— Когда слова больше не стремятся к мимезису, они теряют свое место и связь друг с другом. Они сами по себе иллюстрируют истощение формы. Писатели, избегающие мимезиса, ищущие новых подходов к беллетристическому конструкту, называются дизруптивистами — они оспаривают то, что Роб-Грийе^[28] называл «осмысленностью мира».

Арчи сделал паузу.

— Есть комментарии по этому поводу? Кто-нибудь хочет высказаться?

Ответов не было. Никто из собравшихся понятия не имел, о чем говорит Арчи.

Пухлое тело Арчи стремилось вырваться из пут темно-зеленой полиэстеровой рубашки, у которой под мышками расплылись большие мокрые треугольники. Кроме рубашки, на Арчи были коричневые брюки и бежевый вязаный галстук, украшенный пятнами другого рода — возможно, от засохшего желтка всмятку или от заварного крема.

Он крутанулся в начальственном кресле с твидовой обивкой. Его кресло было гораздо удобней, чем у нас, — мы сидели на стульях с прикрепленными к ним маленькими столиками из пластика под дерево.

Казалось, эти подносики призваны удерживать нас на местах — нечто среднее между высоким детским стульчиком и смирительной рубахой. Сами стулья тоже были из какого-то пластика — жесткого, серого; судя по всему, университет питал к нему нездоровое пристрастие. На таком стуле при всем желании не высидишь спокойно больше десяти минут. Арчи же, напротив, был ничем не скован и мог крутиться и вращаться на своем начальственном троне во всех направлениях, разъезжая на колесиках, словно на аттракционе «Волшебные чашки».

— *Центральное место начинает занимать сам акт письма, так как автор больше не пытается опираться на некое априорное значение или истину. Жак Деррида^[29] еще сильнее подкрепляет эту идею тем, что...*

Арчи Маккью был пламенным марксистом и утверждал, что его отец работал на верфи в Глазго. На самом деле его вырастила мать-вдова, которая держала конфетную лавку в Ларгсе. Сейчас эта многострадальная женщина, по выражению Арчи, «поехала крышей», и потому ее недавно перевезли через реку в Ньюпорт-на-Тее, в дом престарелых под названием «Якорная стоянка»^[30], «с видом на воду».

— *Валери^[31] утверждает, что литература является своего рода расширением и применением определенных свойств языка и ничем другим быть не может...*

Арчи жил в большом доме на Виндзор-плейс с Филиппой, властной женой-англичанкой. Я это знала, поскольку оказалась последней в длинной череде нянек, перебивавших у Маккью. Филиппа и Арчи, которым было уже под пятьдесят, размножились (с перерывами) с самого конца войны. Четверо детей уже выпорхнули из гнезда — Криспин («Кембридж!»), Орсино («Оксфорд!»), Фрейя («Год во Франции!») и старший, загадочный Фердинанд («Соутонская тюрьма, к сожалению»). Дома остался только один ребенок, девятилетняя Мейзи («Маленькая ошибка!»).

— *...и в своей мультипличности и плюральности требует новой герменевтики...^[32]*

Число слушателей Арчи все время сокращалось. Сейчас нас было четверо — я, Терри, Андреа и Оливия. Андреа происходила из среднего класса и была родом откуда-то из Йоркшира, где окончила гимназию. Сегодня от нее пахло пачулями. Она была одета в летящее цветастое платье — сплошные пуговицы, бантики и сложные швы на корсаже. Казалось, его сшили для любительской постановки мюзикла «Оклахома!».

Андреа недавно перешла из лона Шотландской церкви в язычество и собиралась стать ведьмой. С этой целью она устроилась подмастерьем к

колдуну в Форфаре. Ничто не пугало меня так, как мысль об Андреа, у которой в руках магические силы. Поймите меня правильно, я ничего не имею против магов. Моя собственная мать — магиня... магесса... кажется, у этого слова нету женской формы. Может, пора мне уже изобретать собственные слова. Почему бы и нет? Откуда иначе взяться новым?

Андреа рассказывала, что решила стать знаменитой писательницей и для этого окончила вечерние курсы машинописи и стенографии. Курсы располагались на Юнион-стрит, и вел их человек, которого явно больше интересовали обтянутые свитером груди студенток, чем степень их владения скорописью Питмана. До сих пор Андреа выжимала из себя только жалкие рассказы про девушку по имени Антея, которая приехала из Норталлертона и изучает английскую литературу в университете. Самый интересный рассказ описывал странное столкновение сексуального характера между ее альтер эго Антеей и преподавателем в секретарском колледже. Я решила, что «Авантюра Антеи» — хорошее название для английского порнографического фильма: такого, в котором много намеков и мойщиков окон, но мало собственно секса.

Антея все время остро переживала из-за самых обыденных дел вроде посещения лекций, обнаруженных в доме пауков, покупки линованной бумаги с полями для конспектов. Лично я думаю, что читать о подробностях чужого быта — так же нудно, как слушать рассказы о чужих снах: «...а потом автопогрузчик превратился в огромную рыжую белку, и она раздавила голову моего отца, как орех...»^[33] Чрезвычайно интересно для самого сновидца, но утомительно для постороннего слушателя.

Сам Арчи, конечно, писал роман и раззвонил об этом всем. Его экспериментальный эпический труд уже достиг объема в семьсот страниц. По слухам (своими глазами роман, кажется, не видел никто), он представлял собой пронизанный ангстом^[34] запутанный лабиринт прозы, описывающий метафизический штурм-унд-дранг^[35] авторского «я»^[36]. Назывался роман «Расширение призмы Дж.».

— ...метод, который можно считать эмблематичным в отношении эссенциальной произвольности всех лингвистических десигнатов...

Оливия вежливо подавила зевок. Светловолосая, высокая и гибкая дочь врача из Эдинбурга, она окончила школу Святого Георгия для девочек. Способная и методичная студентка, Оливия каждый вечер переписывала свои конспекты и подчеркивала все важное чернилами трех разных цветов. Она явно была не на месте в Университете Данди — ей следовало пойти в Сент-Эндрюсский университет, Уорикский или даже Университет

Восточной Англии, но во время единых государственных экзаменов с ней приключилось «что-то вроде нервного срыва», и в результате она сдала на одни «Е» вместо «А»^[37].

Весь этот год Оливия встречалась с преподавателем с кафедры политологии. Его звали Роджер Оззер (а называли обычно Роджер-Чмоджер), и он вечно гнал за модой и старался отвисать со студентами. У него были жена Шейла и стайка мелких блондинистых дочек (совсем как у Геббельса, сказала Терри) в возрасте от почти нуля до девяти лет.

Секс между преподавателями и студентами в нашем университете не был редкостью, однако ректор его запрещал и смотрел на него косо. Роджер Оззер безумно боялся огласки, и по его настоянию они с Оливией вели себя как рыцари плаща и кинжала, выходя из зданий поодиночке и игнорируя друг друга на публике (а иногда, по словам Оливии, и наедине). Из любовниц Роджера Оззера вышли бы отличные тайные агенты.

Терри сидела рядом со мной, в соседнем стуле-капкане. Она уже впала в анабиоз — НАСА вполне могло бы использовать ее для освоения космоса. Послать ее в дальние уголки Вселенной, куда можно долететь лишь за несколько десятков лет, и она прибудет такой же свеженькой, как при старте. Хотя нет, лучше не надо, чтобы инопланетные цивилизации судили о землянах по Терри.

— *Деррида говорит, я цитирую,* — продолжал бубнить Арчи, — *«именно когда написанное умирает как десигнат, оно рождается как язык».* Вопросы, замечания?

Его слова на миг зависли в спертom воздухе, а потом запорхали по комнате, ища, куда бы приземлиться. Кевин, который в этот момент неохотно протискивался в дверь, ловко присел и увернулся от них.

— Спасибо, что выкроили время к нам присоединиться, — сказал Арчи, и Кевин покраснел и пробормотал что-то невнятное.

Из-за густого акцента юго-западных графств все, что он говорил, звучало либо неопределенно-пошлово, либо очень глупо. Как и многие другие студенты факультета гуманитарных и общественных наук, Кевин Райли попал в Университет Данди не за хорошие оценки, а трудами Объединенной приемной комиссии британских университетов — того ее отделения, которое пристраивало никому не нужных студентов. Ибо, к сожалению, больше ни один университет на нас не позарился.

Кевин был пухлый юноша с кожей цвета молочной сыворотки и огромным вороньим гнездом курчавых волос — английский вариант афро. На носу у него сидели маленькие круглые очки. Созвездие прыщей на подбородке он тщетно замазывал маскирующим карандашом фирмы

«Риммель» персикового цвета. Судя по всему, другие (более сильные) представители сильного пола в детстве не снисходили до игр с Кевином, и он рос в одиночестве, играя с конструкторами и электрической железной дорогой, перекладывая марки разных стран в кляссерах, стоя на продуваемом сквозняками перроне с фляжкой чая и линованным блокнотиком.

Но эти мальчишеско-аутичные развлечения сменила страсть к писательству, самый подходящий недуг для солипсиста. В некий момент своей мучительной юности Кевин создал себе альтернативную вселенную — нечто вроде подземного Средиземья в ином мире. Страна эта называлась Эдраконией. Оттуда была изгнана королева драконов Феуриллия (которая почему-то напоминала мне Нору). Весь сюжет можно было изложить в одной фразе: «Ибо Сумрак воистину падет на землю, и Зверь Гриддлбарт будет рыскать по ней, и драконы обратятся в бегство».

Кевин втиснул объемистое шмелиное тело в стул и попытался устроиться поудобнее. Отдельные фрагменты пухлой плоти выпирали по сторонам сиденья. Чтобы взбодриться, он вытащил мятый пакетик лимонных леденцов и пустил его по кругу. Андреа в ужасе отпрянула — она была из тех девушек, которые не считают пищу обязательной для существования и боятся всего, что калорийней клубничного йогурта.

Вопрос, который все это время неуверенно порхал в воздухе, наконец определился и презрел Кевина ради стройных прелестей Андреа, на которую и приземлился, как неприятное насекомое.

— Андреа? — подбодрил ее Арчи. — Деррида? — [Да, такую рифму не во всяком словаре рифм найдешь.] — Какие-нибудь соображения?

Соображений у Андреа, очевидно, не было никаких, поскольку она лишь многообещающе пожевала кончик перьевой ручки, приподняла подол своего наряда в стиле вестерн и медленно скрестила ноги. Андреа уже подробно распланировала всю свою будущую жизнь — она собиралась окончить университет, выйти замуж, ничего не покупать в рассрочку, воспитывать детей, стать знаменитой писательницей, выйти на пенсию и умереть. Она, кажется, понятия не имела, что жизнь нельзя разложить по порядку, словно карандаши в пенале; что все подвластно случаю и в любой момент может произойти нечто удивительное и неподконтрольное нам — оно изорвет наши карты и перемагнитит стрелку компаса: вот в нашу сторону направляется безумная женщина, поезд падает с моста, парень едет на велосипеде.

Арчи, все еще замороженный зрелищем коленок Андреа — бог знает, что еще она ему показала украдкой, — кажется, на миг потерял нить

рассуждений. Мы все ждали, пока он снова нашарит клубок в лабиринте. Ни у кого из участников семинара не было соображений решительно ни по какому поводу — в отличие от Арчи, у которого были соображения обо всем. Мы все обрадовались, когда он забубнил снова, избавляя нас от докучной необходимости думать самостоятельно:

— ...высказанное рядом критиков-структуралистов, что лишь в момент, когда написанное слово в литературе перестает указывать на «объективные» внешние данные, то есть на обозначаемое им в реальном мире, оно начинает существовать как язык внутри текста...

Оливия задумчиво жевала прядь своих длинных светлых волос, — впрочем, вряд ли она думала о чем-то из речей Арчи. Кевин, которого вид Оливии повергал в мучительный экстаз, агрессивно пялился на ее ступни — единственную часть ее тела, на которую он мог смотреть не краснея. Оливия одевалась, как обнищавшая средневековая принцесса, — сегодня на ней была жакетка из жатого бархата поверх поношенной атласной ночной сорочки и красные кожаные сапожки до колен (мечта фетишиста).

Оливия однажды мягко сказала Арчи, что препарировать книги, словно трупы, не стоит, поскольку потом не удастся привести их в прежний вид. «Вскройте жаворонка и все такое...»^[38] Арчи обдал ее презрением и заявил, что следующий, кто процитирует Эмили Дикинсон у него на семинаре, будет выведен на внутренний дворик и подвергнут прилюдной порке. («Сурово, но справедливо», — заметила Андреа.)

— Новая литература напоминает нам о том, — продолжал квакать Арчи, — что знакам языка достаточно относиться лишь к воображаемым конструктам — но, может быть, лишь к ним они и относятся, поскольку возможно, что в задачи литературы не входит осмысление окружающего мира...

Мы все были зацикленными на себе гедонистами — странными, перекошенными людьми, нечетко очерченными из-за недостатка твердых убеждений и мнений. Вероятно, высочайшим достижением для каждого из нас было поутру встать с кровати. Мы потеряли одного из участников группы — Безымянного Юношу, хрупкого и бледного мальчика из Вестер-Росса^[39]. Мы прозвали его так, потому что, как ни пытались, не могли запомнить его имени. Конечно, он не облегчал нам задачу, поскольку неизменно представлялся следующим образом: «Я никто, а ты кто?»^[40]

Я знала, что у него какое-то совсем обыкновенное имя — Питер или Пол, — но точнее вспомнить не могла. Будто его окутывало странное экзистенциальное проклятие. Словно какой-нибудь маг-недоучка

упражнялся с волшебной книгой («Сие есть весьма хорошее заклинание для исчезновения»). Интересно, думала я, что случается с человеком, которого нельзя назвать по имени? Он теряет свое «я»? Забывает, кто он?

Сперва это проявлялось лишь в некотором мерцании контуров, размытости, но скоро юноша стерся почти совсем — от него осталось только дуновение воздуха. Лишь изредка свет, падая под определенным углом, открывал взору эктоплазмическую форму, напоминающую полусваренный-полусырой белок яйца пашот. А вдруг, вспомнив имя мальчика, мы сможем наколдовать его обратно?

— Может, ему просто все осточертело и он уехал обратно в Вестер-Росс? — предположила Андреа, когда он исчез окончательно.

До исчезновения Безымянный Юноша неустанно трудился над рукописью (в самом деле написанной от руки, со множеством зачеркиваний и перечеркиваний), которая, как выяснилось, повествовала о захвате Земли пришельцами с планеты Тара-Зантия (или что-то в этом роде — какое-то характерно дилетантское название). Пришельцы ввели на Земле новый экономический строй, основанный на домашних кошках и собаках. Принцип был прост: чем больше у человека кошек и собак, тем он богаче. Породистые животные были чем-то вроде сверхвалюты, а подпольные фермы по разведению щенков — основой черного рынка.

Эта писательская лихорадка (воистину род недуга) была во многом спровоцирована прошлогодним нововведением, так называемой дипломной работой по писательскому мастерству: отныне студенты могли сдавать в качестве дипломной работы свои литературные творения. Арчи активно выступал «за», считая, что это выдвинет кафедру английского языка на передовые позиции, чего ей столь явно не хватало. Множество студентов с энтузиазмом записались на курс творческого мастерства — не потому, что хотели стать писателями, а потому, что в этом случае сдача диплома не сопровождалась экзаменом*. [\[41\]](#)

В то время Марта Сьюэлл еще не появилась, и занятия по писательскому мастерству вел Арчи. Он обозвал историю про таразантийцев «убогой херней», и Безымянный Юноша, стораю от стыда, выбежал из аудитории. Ему всегда было трудно занимать место в трех измерениях сразу, но именно с этого дня он начал истончаться и таять.

Арчи катался на кресле по комнате, как стеклышко по планшетке для спиритических сеансов, и внезапно остановился перед Кевином. Он посмотрел на Кевина мутным взглядом, словно пытаясь понять, где же видел его раньше, и вдруг задал непостижный уму вопрос о концепции

гегемонии по Грамши^[42]. Кевин ерзал на стуле, но не мог отвести глаз от семимильных сапог Оливии. В спертom воздухе аудитории он вспотел, и слой грима у него на подбородке приобрел странную консистенцию — со стороны это выглядело так, словно у него плавится и сползает кожа.

От Грамши Кевина спас старый профессор Кузенс, именно в этот миг забредший к нам в аудиторию. Он увидел Арчи и явно растерялся.

— Вы что-то ищете? — невежливо спросил Арчи и себе под нос добавил: — Например, собственные мозги?

Профессор Кузенс явно удивился еще больше.

— Не знаю, как я сюда попал, — засмеялся он. — Я искал туалет.

— И нашел, — пробормотала Терри, не открывая рта и даже не просыпаясь.

Профессор Кузенс — англичанин, дружелюбный и эксцентричный, — явно делал первые шаги по направлению к старческому маразму. Иногда он мыслил вполне ясно, иногда — нет, и различить у него (как и у любого другого сотрудника факультета) эти два состояния было порой нелегко. Университетский устав весьма ревностно охранял профессоров на постоянной ставке: чтобы потеснить такого преподавателя с рабочего места, нужно было дожидаться, пока пройдет три месяца после его смерти. Корона еще кое-как держалась на голове у профессора Кузенса, но преподавательский состав уже вел за нее (корону, не голову) кровопролитную войну. В шлакобетонных стенах постройки шестидесятих годов отдавались эхом махинации, интриги, заговоры и контрзаговоры — это бились претенденты на освобождающийся трон.

Неестественный отбор уже позаботился об устранении одного из главных претендентов. Склонность сотрудников кафедры английского языка к несчастным случаям вошла в легенду, и фаворит нынешней гонки — осанистый канадец по имени Кристофер Пайк, похожий на государственного мужа^[43], — вышел из игры, загадочным образом сверзившись с лестницы в Башне. Сейчас он лежал на сложном вытяжении в мужской палате ортопедического отделения Королевской больницы Данди, а кафедра английского языка наблюдала ожесточенные боевые действия между Арчи и двумя его основными конкурентами — доктором Херром и Мэгги Маккензи.

— Н-ну... — произнес профессор Кузенс, почесывая нос и поправляя очки, — н-ну... н-ну...

Его почти лысая голова была покрыта старческими пятнами; от волос осталась только бледная кромка, похожая на тонзуру монаха или на

призрачный атолл. Профессор напоминал мне старое животное — пожилую ломовую лошадь или страдающего артритом датского дога. Мне очень захотелось погладить его по веснушчатой лысине и нашарить в кармане яблоко или собачью галету.

Вдруг, завидев рядом со мной пустой стул, профессор прошаркал туда и сел, втиснувшись, как мешок костей, за маленький деревянный столик. Оттуда он благосклонно улыбнулся всем нам и поднял руку приветственным жестом папы римского.

— Продолжайте-продолжайте, — сказал он Арчи. — Я вам не помешаю.

Было очень заметно, что Арчи пытается понять, как реагировать на это странное явление. В конце концов он решил сделать вид, что ничего не происходит, и понесся дальше:

— *Утверждая себя как литературную работу, немиметический роман занимает положение, позволяющее опровергнуть как эстетику молчания, описанную Зонтаг^[44], так и предписание формальной регенерации Джона Барта^[45]. Какие будут соображения?*

— Я, во всяком случае, ничего не понял! — засмеялся профессор Кузенс.

Арчи пронзил его взглядом. Профессор Кузенс был специалистом по Шекспиру, и подход Арчи к литературе был для него несколько туманен. Как и для всех нас.

Мы безмолвно перекидывали новый вопрос друг другу по комнате, в которой становилось все жарче и душней. Каждый находил себе какое-нибудь занятие — я смотрела в окно с третьего этажа, словно как раз увидела там нечто безумно интересное (так оно и было, но об этом позже), Кевин пялился на ноги Оливии, складывая рот, похожий на раздутую ветром пышную розу, в немые рыбы знаки отчаяния, а сама Оливия изучала один за другим свои ногти. Что до Андреа — я сначала решила, что она читает заклинание, дабы отпугнуть Арчи, но потом поняла, что она всего лишь напевает под сурдинку песню Кросби, Стила, Нэша и Янга (что, впрочем, должно было подействовать точно так же). Терри, загадочная, как яйцо, хранила злое молчание — она явно находилась в некоем ином ментальном пространстве, куда нам, всем остальным, хода не было.

Открылась дверь, и вошел Шуг с фиолетовой бархатной сумкой, расшитой крохотными зеркальцами, через плечо. Одет он был эклектично — в джинсы, состоящие в основном из заплаток, черно-белую палестинскую куфию вместо шарфа и дубленку. Шуг, наш сосед по

подъезду на Пейтонс-лейн, утверждал, что купил дубленку — которая котировалась значительно выше грязных свалявшихся флисовых курток большинства студентов — в магазине «Амир Кабир» в центре Тегерана.

Шуг, стройный и мускулистый среди уродливых коротышек, любил считать себя воплощением крутизны. Он был одним из немногих уроженцев Данди в нашем храме науки, укомплектованном студентами, от которых отказались всевозможные университеты по всей Англии. Впервые я встретила Шуга, когда он шел по Нижней улице: рядом бобиком скакал Боб, а в руке Шуг держал на манер леденца копченую треску. «Арброатский дымок», — объяснил он мне прокуренным голосом. Я сначала решила, что он имеет в виду какие-то наркотики (впрочем, наркоманов многие сравнивают с рыбой, тухнущей с головы).

Он сел на свое обычное место — на пол, спиной к стене, лицом к Арчи. Арчи взглянул на часы и сказал:

— Могли бы и не беспокоиться, мистер Скоби.

Шуг приподнял бровь и мрачно ответил:

— Кому и знать, как не вам, Арчи.

Загадочный диалог — но в нем чувствовался эмоциональный накал, словно два оленя в период гона сцепились рогами.

— А вдруг вы что-нибудь интересненькое услышите, — сказал профессор Кузенс, ободрительно улыбаясь сначала Шугу, а потом никому в особенности. — Доктор Маккью знает много такого, чего не знает больше никто.

Шуг был старше остальных участников семинара. Его уже один раз выгнали из Колледжа искусств имени Дункана Джорданстоунского (до него считалось, что такое в принципе невозможно). После этого он успел потрудиться в нескольких местах — дорожным рабочим, кондуктором автобуса, даже на птицефабрике («Там делают птиц», — сказала Терри Бобу, и он ей поверил на целую минуту.) Кроме того, Шуг ездил в Индию и разные другие места «в поисках себя», хотя он явно не терялся. Вот если бы Боб куда-нибудь поехал и там нашел себя! Что же он найдет? Эссенцию Боба, очевидно.

Андреа при виде Шуга лишается остатков разума. (Влюбленная девица — ужасное зрелище.) Покинув Шотландскую церковь и ее нравственные устои, Андреа (увы, не она первая) втрескалась в Шуга и, кажется, находилась во власти ошибочного убеждения, что именно ради нее он исправится. Если она надеялась, что под ее крылышком он остепенится, ее ждало горькое разочарование.

Я сама однажды испытала неожиданный (но вполне приятный)

приступ сексуальной активности с Шугом — в закутках в подвале библиотеки, рядом с секцией периодических изданий. Мы уже дошли до жарких поцелуев, и вдруг виноватый голос Шуга вывел меня из экстаза: «Прости, красавица, ты же знаешь, я не могу тебя трахнуть — Боб мой кореш». Но все же я с нежностью вспоминала об этом случае каждый раз, когда шла за «Шекспировским кварталным вестником» или «Атлантическим ежемесячником».

— ...со ссылкой на Пруста, — героически вещал Арчи. — Вальтер Беньямин напоминает нам, что латинское слово «textum» означает «ткань»; затем он выдвигает предположение, что...

Аудитория погрузилась в состояние взвешенной *ennui*^[46]. У меня слипались глаза. Мне казалось, что я задыхаюсь в теплом смоге из слов. Я старалась не заснуть — мне жизненно важно быть у Арчи на хорошем счету, ведь я уже на несколько недель опаздывала с работой, которую должна была ему сдать. Это была обязательная преддипломная работа («Генри Джеймс — человек и лабиринт»^[47]) объемом не менее двадцати тысяч слов. Пока что я написала из них ровно сорок: «Трудности Джеймса в значительной степени объясняются его желанием одновременно овладеть предметной областью через тщательно организованный процесс беллетризации и в то же время создать правдивое подобие реальности. Автор никогда не может присутствовать явно, поскольку его вторжение в текст уничтожает тщательно сплетенную...»

Слова Арчи сливались в гул, звучащий у меня в мозгу в фоновом режиме, но никакой смысл из них уже не складывался:

— ...посредством придания регистра речи, бу, бу, инскрипция обладает основополагающим объектом, бу, бу, и в самом деле идет на этот смертельный риск, бу, бу, эмансипации смысла... в том, что касается любого актуального поля восприятия, бу, бу, от естественной диспозиции сложившейся ситуации, бу, бу, бу...

Я старалась не заснуть и с этой целью думала о Бобе. Точнее, о том, что я собираюсь от него уйти. Прошло три года с того дня, когда я впервые проснулась в его постели, усыпанной хлебными крошками, среди сбитых в клубок простыней. Я не знала, что делать дальше. Боб был совершенно пассивен, как игуана в спячке, и я не могла понять, каковы его дальнейшие планы. Когда я спросила, хочет ли он, чтобы я осталась, он хрюкнул. В ответ на вопрос, хочет ли он, чтобы я ушла, он опять хрюкнул. Я решила пойти на компромисс — уйти, но потом вернуться. Я выскользнула из объятий линючего бордового постельного белья, молча поморщилась от

боли в загипсованном запястье, направилась (не завтракая) в свою комнату в женском общежитии Валмерс-Холл, подобную монашеской келье, и уснула.

К Бобу я вернулась в шесть часов вечера. Он лежал ровно на том же месте. Из-за его появления на велосипеде я решила, что он ведет подвижный образ жизни. На самом деле велосипед он позаимствовал у кого-то, чтобы перевезти на нем выращенную дома траву.

Я сбросила одежду и снова залезла в постель. Боб перевернулся на другой бок, открыл глаза и произнес:

— Ух ты! А ты кто такая?

По совершенно непонятной причине после первой ночи с Бобом я к нему странным образом привязалась. Позднее я задавалась вопросом: уж не лишилась ли я свободы воли, словно моя личность сплавилась с (весьма ограниченной) личностью Боба? («Вроде слияния разумов?» — сказал тогда Боб, которого эта идея в кои-то веки сильно воодушевила.)

После истории с велосипедом я перебралась к Бобу — постепенно, книга за книгой, туфля за туфлей. К тому времени, когда он заметил, что я больше не ухожу домой, он уже свыкся с идеей моего присутствия и не удивлялся поутру, обнаружив меня рядом с собой в постели. Я подумала, что можно и уйти от него таким же образом. Изымать себя по частям до тех пор, пока расчлнять уже будет нечего и останутся только самые неосязаемые и загадочные компоненты (например, улыбка — да и она со временем растворится в воздухе)^[48]. И в конце концов на месте, где была я, не останется ничего. Это гораздо гуманней, чем взять и разом выйти в дверь. Одним куском. Или внезапно умереть.

— *...автономное произведение искусства ставит под вопрос...*

— Арчи, — мягко вмешался профессор Кузенс, — а вам не кажется, что вся литература представляет собой поиск идентичности? — Он широко развел руками. — Начиная с «Царя Эдипа», далее везде — все литературные произведения описывают странствия человека... включая прекрасный пол, конечно... — он нагнулся и похлопал меня по руке, — в поисках своего подлинного «я» и своего места во вселенной, во всем грандиозном миропорядке. В поисках смысла жизни. И Бога. Существует ли Он (или Она), и если да, то почему Он (или Она) бросает нас в холоде и одиночестве на этом шарике, что без конца крутится в черной бесконечности космоса, открытый суровым межзвездным ветрам? И что будет, когда мы доберемся до конца бесконечности? И какого он цвета? Вот вопрос. Что видим мы, стоя на площадке обозрения бесконечности?^[49]

Все сидели молча, уставясь на профессора Кузенса. Он улыбнулся, пожал плечами и сказал:

— Это я так, думаю вслух. Продолжайте, дорогой мой.

Арчи, не обращая на него внимания, поехал дальше:

— *Не только роль создателя литературного произведения, но и его взаимоотношения с этим произведением...*

— Простите, — обратился Кевин к профессору Кузенсу, — вы сказали «какого цвета она», то есть бесконечность, или «какого цвета он», то есть конец бесконечности?

— А вы думаете, есть разница? — живо отозвался профессор. — Это чрезвычайно интересно.

— Конец бесконечности? — удивилась Андреа.

— О, у всего есть конец, — ободряюще заверил ее профессор, — даже у бесконечности.

Я-то знала, что у бесконечности цвет придонного ила и дохлых тюленей, военных кораблей, затонувших вместе с экипажем, спитого чая утром в понедельник, штилей субботнего вечера и бухточек северо-восточного побережья в январе. Но я не стала ни с кем делиться.

— *...символизирует дистанцию между миром и явлениями, не говоря уже о...*

Но тут Арчи снова перебили — на сей раз постучали в дверь. Не дожидаясь ответа, вошла Марта Сьюэлл. Марту недавно назначили вести курс по писательскому мастерству. Через год после введения «дипломной работы по писательскому мастерству» Арчи объявил, что затея имела грандиозный успех, и убедил кафедру ради повышения престижа поручить преподавание курса «настоящему писателю». Марта, уроженка Бостона и типичная выпускница Амхерста^[50], была поэтессой сорока с лишним лет, о которой до того ни один человек на кафедре не слышал. Она писала синтаксически невнятные стихи, рисующие жизнь, полностью лишённую событий, с заголовками вроде «Абстракция ИЛИ [№ 3]» («...и твои волосы, размытые / дождем, наводят на мысль / о косвенности существования»), и только что выпустила новый сборник под названием «Сбор вишен в Вермонте», который всегда носила с собой, как паспорт, — может быть, на случай, если ее спросят, кто она такая.

Марта еще не оправилась от культурного шока — она ехала в Данди, ожидая увидеть романтическую Шотландию, с озерами и горами, вересковыми пустошами и водопадами. Время от времени она болезненно морщилась при встрече с очередным уродливым образчиком современной архитектуры, тупичком, освещенным газоразрядными лампами, или

заброшенным зданием джутовой фабрики с провалами выбитых окон. Ей перечисляли многочисленные положительные стороны Данди: роскошные парки, городская обсерватория, вид с потухшего вулкана Лоу, великолепные мосты, река Тей, богатая история, газеты, зацикленные исключительно на Данди, почти неестественное дружелюбие горожан в сочетании со склонностью к насилию и их приветливое равнодушие к чужим странностям (например, если тебе вздумается пройтись по улице в одних лишь домашних тапочках и с попугайчиком на голове, никто даже внимания не обратит). Но ее это не убедило.

Марта, высокая и худая, с сексапильностью трески, была большеного и носила туфли на плоской подошве, лучше всего подходящие для троп и дорог Новой Англии. Она казалась какой-то необыкновенно опрятной и холеной, словно каждое утро старательно чистила себя скребницей. Гладкие волосы (что-то среднее между светлыми и седыми, бесцветный цвет) были пострижены аккуратным каре и удерживались на месте черным бархатным обручем вроде Алисиного^[51].

В Шотландию с Мартой приехал ее муж, по имени Джей, преподаватель университета в Энн-Арбор и специалист по Уитмену, — он взял академический отпуск, чтобы последовать за женой. Сьюэллы тратили много времени (явно больше среднестатистического жителя Данди) на поездки в Эдинбург, где покупали кашемировые дорожные пледы из шотландки, кейтнесское стекло и редкие сорта виски и мечтали о том, чтобы снять дом в квартале Рэмси-Гарденз.

Марта и Джей принадлежали к числу тех, кто управляет странами и пишет законы, благополучно возвращается из полярных экспедиций и выживает в тропиках, изобретает хронометры и барометры, чинит одежду, штопает чулки и никогда не остается без молока и чистого белья. Эти люди ведут жизнь, которая мне не светит никогда, — особенно если я останусь с Бобом.

Сегодня на Марте были черные туфли на каблучке, серая фланелевая юбка и шерстяная накидка крысиного цвета, доходящая ей почти до пят. В руках Марта держала тяжелый, серьезный кожаный портфель. Она не принимала непосредственного участия в войнах за кафедральный трон, но, кажется, превратилась в трофейную фигуру, приз, который различные кандидаты желали заполучить и перетянуть на свою сторону.

— Вы заняты, — сказала она, обращаясь к Арчи.

Арчи опроверг этот самоочевидный факт, отправив студентов в небытие небрежным взмахом руки, словно все мы были плодом ее воображения. Андреа картинно изобразила тошноту.

— Вы ищете туалет? — участливо спросила я у Марты, но тут она заметила в углу профессора Кузенса, и тень растерянности омрачила ее гранитно-гладкий лоб.

— Он решил тут засесть, — сказал Арчи. У него это прозвучало так, словно профессор — участник студенческой сидячей забастовки протеста.

Профессор Кузенс так сильно подался вперед, что чуть не опрокинулся вместе со стулом. Он ткнул пальцем в сторону Марты.

— Напомните-ка мне, кто она такая, — громким шепотом обратился он ко мне.

Я пожала плечами:

— Какая-то женщина.

— А! — воскликнул профессор, будто мои слова абсолютно все проясняли. Он сложил руки на мягком стариковском животе, благосклонно кивнул Марте и сказал: — Садитесь, садитесь. — Он кивнул на стул рядом с Терри. — Кто знает, может, и вы чему-нибудь научитесь, — хохотнул он. — Я-то уж точно много нового узнал.

Марта взглянула на Арчи, ожидая указаний, но он лишь поднял брови, словно говоря, что он тут ни при чем. Марте ничего не оставалось делать — она неохотно вместила длинные, как у саранчи, конечности в стул, не сводя подозрительного взгляда с Терри.

Появление Марты было для меня ударом — я надеялась еще какое-то время от нее прятаться. Задание по курсу писательского мастерства, которое я ей задолжала, было еще одной обязательной преддипломной работой, которую я, судя по всему, собиралась провалить. Дополнительно усугубляло ситуацию то, что мое творение — роман «Мертвый сезон» — было детективом, то есть, по словам Марты, наименее респектабельным из всех литературных жанров («Ну почему?! Почему?! Почему?!»). Мне пришлось сделать вид, что в наше время любой детектив — постмодернистское произведение, но я видела, что Марту мои слова не убедили. Мои отношения с Мартой улучшились бы, сумей я предъявить ей побольше слов на бумаге, но пока что они существовали только у меня в голове. (О, насколько легче была бы жизнь бедных писателей, если бы им не нужно было ничего писать!) Пока что я могла предъявить только первую обрисовку персонажей и намек на завязку сюжета...

— Ну что ж, время и прилив никого не ждут, — громко сказала мадам Астарти, вздымая с кровати свое увесистое тело.

Торс мадам Астарти по форме плотно вошел бы в бочонок. На кухне из еды нашелся лишь полупустой пакет лежалого «пищеварительного» печенья в шоколаде. Мадам Астарти задумалась о том, есть ли ей смысл

садиться на диету. Она «была не в форме» еще с шестидесятых — потеряла форму до приезда в Моревилль и с тех пор никак не могла обрести ее вновь. Мадам Астарти вовсе не собиралась переезжать сюда; это было сиюминутным решением (иными словами, она вообще ничего не решала — все получилось само). Она приехала в Моревилль в 1964 году из Кливленда со своим тогдашним мужем Гордоном Маккинноном по дешевому железнодорожному билету с возвратом в тот же день. И она, и муж устали, и их эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Они затеяли долгую ссору, кульминация которой наступила в неприятный момент, когда их люлька зависла в самой высокой точке колеса обозрения; Гордон поведал жене о своей личной теории переселения душ, центральным догматом которой было неминуемое возвращение мадам Астарти на этот свет в виде чайки^[52]. В конце концов они перестали ссориться, и Гордон вернулся в Кливленд, а она осталась в Моревилле. Последние известия о Гордоне Маккинноне дошли до нее в 1968 году — он был в бегах, скрывался от Королевского общества защиты животных. Мадам Астарти понятия не имела, что с ним было потом. Может, он вообще уже умер — в этом промежуточном состоянии находились многие бывшие знакомые мадам Астарти. Может-быть-покойники, как она их называла про себя.

Мадам Астарти еще покурила, навела марафет — вновь столкнувшись с вечным вопросом: как красить глаза, если она ничего не видит без очков, — и наконец приготовилась к выходу из дому.

Зазвонил телефон, но, когда мадам Астарти взяла трубку, собеседник с решительным щелчком отключился. В трубке послышалась мертвая тишина. Нет, так не говорят. Тишина не слышится, она просто есть. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Таракан. Нет, кажется, не так. Иногда мадам Астарти приходило в голову, что, может быть, у нее наступает старческий маразм. Но ведь изнутри этого никак не понять.

Она тщательно заперла дверь, решив, что лишняя осторожность не помешает — хотя всю жизнь жила по прямо противоположному принципу.

— Пора идти, — сказала она, не обращаясь ни к кому в особенности, хотя...

Тут меня напугал профессор Кузенс: он вдруг наклонился ко мне, извлек из кармана мятную конфету и сунул мне в руку со словами «ты хорошая девочка», словно кто-то убеждал его в обратном.

Интересно, подумала я, действительно ли профессору столько лет, на сколько он выглядит? Я притягивала стариков как магнит — они слетались ко мне стайками на остановках и в магазинных очередях в отчаянном желании поболтать о погоде и автобусном расписании. Андреа боялась

стариков (наверно, подозревая, что сама когда-нибудь станет таковой, и пытаюсь избежать этой участи). По ее словам, каждый раз при виде младенца она думала о том, что когда-нибудь он станет стариком. Лично я предпочитаю при виде старика думать о том, что когда-то он был чьим-то ребеночком. Может, существует два типа людей (у одних стакан наполовину пустой, у других наполовину полный): одни прозревают бывшего младенца в человеческой развалине, а другие, депрессивные, смотрят на тугие щечки младенца и видят выжившую из ума старуху.

— Мудрую, — поправляет меня Нора. — Мудрую старуху.

У Арчи в глазах уже светился огонек безумия. Из-за жары и тесноты в аудитории он принимал все более растерзанный вид — ослабил галстук, расстегнул воротник, а мокрые пятна под мышками расползались по груди, сближаясь, как два океана, полные решимости найти соединяющий их пролив.

— ...или как переход от одной манифестации к другой, от денотата к десигнату...

— Арчи, извините, пожалуйста. — Профессор Кузенс махал рукой, чтобы привлечь внимание лектора.

— Да? — стоически спросил Арчи.

— Вы не могли бы вернуться немножко назад? — добродушно попросил профессор. — Я, кажется, теряю нить ваших рассуждений. Боюсь... — он окинул студентов заговорщической улыбкой, — боюсь, мне не тягаться с гениальным умом доктора Маккью...

Арчи волок свой стул по ковру, отталкиваясь ногами — передвигаясь на такой манер, он напоминал особо неуклюжего далека^[53], — но вдруг остановился перед профессором и начал делать какие-то странные дыхательные упражнения, вероятно, чтобы успокоиться, хотя со стороны казалось, что он пытается надуть самого себя, как шарик.

— Реализм, — терпеливо перебила Марта, спасая Арчи. Обращаясь к профессору Кузенсу, она произносила слова очень медленно и очень громко: — Доктор Маккью говорил о реализме.

— А! — Профессор Кузенс улыбнулся Марте. — Троллоп!

Арчи отъехал назад по бурому казенному ковролину, отступая, и рывкнул:

— *Валидность миметической формы в постиндустриальную эпоху уже неубедительна!* Верно или нет? Кто-нибудь? Есть соображения? Кевин?

Кевин мрачно помотал головой, глядя в стену.

— Эффи?

— Ну, я полагаю, что в наши дни, — я неловко ерзала на стуле, — наблюдается эпистемологический сдвиг в создании беллетристики, из-за которого правдоподобие второго порядка уже не работает при попытках создать трансцендентально связанное представление мира.

Я сама не понимала, что говорю, но для Арчи мои слова явно имели смысл.

— Это, по-видимому, подразумевает, что создание трансцендентально связанного представления мира является по-прежнему желательным, не так ли? У кого-нибудь есть соображения по этому поводу?

В дверь снова постучали.

— Тут прямо как на вокзале, — бодро сказал профессор Кузенс. — Не знаю, Арчи, как вы еще умудряетесь кого-нибудь чему-нибудь научить.

Арчи с сомнением посмотрел на него. Профессор Кузенс, конечно, уже направлялся на выход, но еще не весь вышел и пока обладал властью нанимать и увольнять сотрудников. Стук в дверь повторился.

— Войдите! — сварливо крикнул Арчи; пламя свечи заметалось и замерцало. — О, это вы, — сказал он, когда в аудиторию вошел...

— Нет, нет, хватит, — устало говорит Нора. — Уже и так слишком много народу.

Я сплю в глубине дома, в бывшей комнате для слуг, где пахнет плесенью и отсыревшей сажей. Тонкое пуховое одеяло с узором «огурцы» кажется мокрым на ощупь. Я выбрала эту комнату, потому что во всех спальнях побольше протекает крыша и кап-кап-капли падают в ведро — шотландская пытка водой. Я пыталась развести огонь в крохотном угловом камине с чугунной решеткой, но дымоход забит, — вероятно, тамдохлая птица.

На тумбочке у кровати до сих пор лежит карманная Библия в переплете из дешевой черной кожи — он пошел пузырями от сырости. Страницы испещрены временем, бумага тонкая, словно кожа старика. Это не семейная Библия — форзац подписан деловитым почерком служанки. Я представляю себе затюканную горничную отдыхающих Стюартов-Мюрреев — она просыпается утром под барабанную дробь дождя по крыше, смотрит в окошечко на тусклый серый полумрак и жалеет, что не устроилась к разумным людям, которые проводят отпуск в Довилле или на Капри.

Я не могу уснуть из-за чудовищных потусторонних воплей, издаваемых дикими котами. Прямо какие-то баньши в кошачьем облике. С самого моего приезда на остров они будят меня почти каждую ночь. Меня

высадил дружелюбный рыбак на своей лодчонке — он очень извинялся, что не может за мной вернуться, потому что ему «боязно» от странных звуков, наполняющих остров^[54]. Мне не удалось его убедить, что их издают всего лишь непоправимо испорченные сиамские кошки.

Я выздоравливаю после болезни. Меня свалил вирус, загадочная инфлюэнца, и теперь я слаба, как выводок котят. Я приехала сюда на поправку, хотя, к сожалению, остров моей матери, склонной к атавизмам, не предоставляет обычных удобств для выздоравливающего больного — теплых спален, мягких одеял, яиц всмятку, консервированного супа и прочего. Но я вынуждена терпеть и как-то выкручиваться — ведь, кроме Норы, у меня никого нет.

Саму Нору вынесло на остров пару лет назад в ее утлой лодчонке «Морская авантюра». Нора живет в «большом доме», как жертва кораблекрушения, выброшенная на берег. Дом в самом деле больше любого другого жилья на острове — разрушенных крестьянских хижин и избышек с провалившимися крышами. Остров усеян ими, и они постепенно разрушаются, растворяясь в пейзаже, словно развалины минойского дворца. Нора говорит, что дом построил ее прадедушка в прошлом веке, — она считает, что здесь отдыхали бесчисленные поколения Стюартов-Мюрреев, уходящие корнями в доисторический мрак.

Дом выглядит так, словно его бросили внезапно, спасаясь от какой-то неминуемо наступающей беды. Он стоит на склоне горы, который спускается к проливу, — дальше виден бескрайний Атлантический океан. Зимние ветра в этих местах бушуют так, что подхватывают гальку с пляжа и швыряют в стекла, а окна при этом дребезжат и трясутся, будто в дом ломятся призраки стосковавшихся по родине моряков.

Дом рушится прямо нам на голову. Когда-то это был настоящий господский дом с хорошо поставленным хозяйством. Сейчас осталась лишь каменная скорлупа. Крыша протекает так сильно, что шагу не ступишь, не споткнувшись о ведра, поставленные под течи. Подоконники, вырубленные из песчаника, подтаяли в соленом морском воздухе, половицы прогнили, а главную лестницу так изъел шашель, что ходить можно только по краю — иначе свалишься вниз, прямо на мозаичный пол холла первого этажа.

В доме тяжелые, побитые молью занавеси, холодные очаги, чьи решетки давно не знают огня, большие глубокие квадратные керамические раковины на кухне, огромная чугунная печь марки «Орел», стиральные доски «Стеклянная королева» и полный набор звонков для призывания давно ушедших слуг. Стены увешаны мрачными масляными полотнами,

которые остро нуждаются в чистке: нарисованных на них оленей, спаниелей, покрытых печеночными пятнами, и вересковые дали уже едва разглядишь. Есть даже одно растение в горшке, старая сухая пальма с бурыми, словно бумажными, листьями, обломок былой эры, — она умудрилась выжить в доме без воды и тепла.

Дом полон плесневеющих реликвий прежней, утонченной и роскошной, жизни — тут и подобные шатрам огромные шелковые зонтики, что гниют в вестибюле в больших китайских вазах, украшенных желтыми драконами, и шезлонги сложной конструкции с тентами и опорой для ног, чей зеленый брезент так истончился и побледнел, что не выдержит и веса полевой мыши. В шкафах, сундуках и сараях разлагаются галоши, зюйдвестки, прорезиненные плащи, древние охотничьи ружья, удочки и сачки. На распадающихся в прах туалетных столиках лежат щетки с эмалевой подложкой, в щетине которых еще торчат вычесанные волосы давно умерших людей.

Погреб, кажется, использовали в качестве хранилища все жители острова, и там можно найти целые залежи таинственных предметов — в нем лежат мотки сетей и бечевки, старые ящики для рыбы и верши для омаров, корзины для перевозки почтовых голубей, сморщенная семенная картошка и — вероятно, самый странный предмет — фигура с носа старого парусника. Она воплощает представление моряков о русалках: желтые волосы, голый торс. Наверно, когда-то она торчала под бушпритом какого-нибудь отважного корабля, выставив груди навстречу ветру и озирая безумными голубыми глазами все чудеса света — лед Балтийского моря, лондонский туман, бури у мыса Горн, мягкие желтые пески тихоокеанских пляжей и странные племена Бермудских островов.

Все обращается в прах у нас перед глазами. Ничто не избежит руки времени — ни города Междуречья, ни летний дом наших предков.

Нора готовит на ужин кашу из дробленого овса и кудрявую листовую капусту. Она живет, как крестьянка. Но, я полагаю, если поскрести любого человека, вылезет крестьянин.

— Нет, нет, нет! — Нора яростно колотит себя кулаком в грудь. — Мы все — короли и королевы.

— А теперь, — она зевает и, по-моему, немного переигрывает, — я пойду посплю. Продолжай без меня, не стесняйся.

Что пропустила Нора

...Ватсон Грант.

— Доктор Ватсон, я полагаю. — Профессор Кузенс расплылся в улыбке, словно чрезвычайно удачно пошутил.

— Входите-входите, не стесняйтесь, все остальные уже тут, — съязвил Арчи.

Ватсон Грант был одним из заведомо безнадежных претендентов на трон руководителя кафедры. Он специализировался по «шотландской культуре» — странный, старомодный предмет из страны пасторалей и белого вереска, ручейков, холмов и поросших травой склонов, где пригожие селяне пляшут стратспей и рилы, а Мойра Андерсон и Кеннет Маккеллар поют дуэтом, аккомпанируя им. Такую Шотландию Марта Сьюэлл оценила бы.

Грант Ватсон всегда ходил в пиджаках из гаррис-твида. Родом он был из какого-то далекого места, название которого то ли начиналось на «Инвер-», то ли кончалось на «-несс». Он был странно асексуален, как крот, несмотря на наличие жены и двоих детей где-то в Файфе. Он обожал походы по пересеченной местности и порой даже в университет являлся в громоздких кожаных туристских ботинках, на которых еще оставалась засохшая грязь с горы Манро, — словно в том, чтобы карабкаться в гору, когда это не обязательно, заключается некая добродетель.

Грант Ватсон, как обычно, имел испуганный вид, и профессор Кузенс еще подбавил ему нерешительности, добродушно замахав на него рукой и произнес с чрезвычайно нелепыми потугами на шотландский акцент:

— Оххх, — это прозвучало так, словно профессор пытается отхаркнуть мокроту, — уходзь, милы коллега.

Грант Ватсон застыл на пороге аудитории — ему не хотелось оставаться, но и уходить тоже не хотелось: он боялся, что присутствие профессора Кузенса означает благосклонность последнего к кандидатуре Арчи. Ватсон даже, кажется, слегка приплясывал на месте, но Арчи оборвал его танец словами:

— Туалет в другом конце коридора.

Тут зазвонил звонок, обозначающий конец часа, и спас Гранта от необходимости подыскивать ответ.

Арчи не обратил внимания на звонок и продолжал говорить, но его уже никто не слушал — все начали извиваться, выбираясь из жестких

пластиковых тисков. На туманную долю секунды мне показалось, что я вижу и зыбкие очертания Безымянного Мальчика — он поднимался с сиденья спиральной струйкой дыма. Я моргнула — и там уже ничего не было, кроме хлопьев сажи от догорающей на окне свечи.

Надо мной вдруг навис Арчи, и его тело, напоминающее раздутый дирижабль, загородило мне оставшиеся жалкие крупички света. Я была уверена, что он сейчас скажет что-нибудь про несданную работу, но он лишь нахмурился, глядя на мой корявый конспект, и спросил:

— Посидишь сегодня вечером с Мейзи?

Я вынужденно согласилась: запаздывающий «Человек и лабиринт» ставил меня в уязвимое положение. Хорошо, что Арчи пользуется моими услугами бебиситтера — лишь бы только не решил вместо этого брать с меня плату натурой.

Я помогла профессору Кузенсу выбраться из стула. К этому времени у всех присутствующих уже слегка поехала крыша, и они рванулись к дверям, словно пассажиры горящего самолета. Мне пришлось вцепиться в поношенный коричневый вельветовый пиджак профессора, чтобы его не унес прочь поток студентов, покидающих аудиторию со всей возможной скоростью.

Влачась за профессором по течению, я заметила Джея Сьюэлла, мужа Марты. Он был высокий, с тяжелой челюстью и копной серебристых волос, которые Марта считала «львиной гривой», — впрочем, на нее не польстился бы ни один здравомыслящий лев. Джей, обладающий манерами и осанкой южного плантатора, действительно происходил с американского Юга — этот факт, по-видимому, одновременно возбуждал Марту и ставил ее в неловкое положение с точки зрения идеологии.

Джей Сьюэлл поприветствовал профессора Кузенса, не обращая никакого внимания на студентов, словно они были низшей формой жизни. Жену он равнодушно чмокнул в щеку и сказал, что у него в машине Малыш, которого все утро тошнило.

— Ах, бедняжечка, — сказала Марта.

Мне очень хотелось узнать побольше о Малыше (кто это — ребенок? собака? друг? литературный персонаж?), но Джей захлопнул дверь, и мы с профессором Кузенсом остались вдвоем в сумрачном коридоре.

— Куда теперь? — бодро спросил он.

— Ну, мне надо идти писать реферат о Джордж Элиот, — сказала я. От одной мысли об этом я почувствовала себя мрачной тенью, обитающей в Аиде. — А вам — нет. Вы не студент и можете делать что хотите.

Я решила, что стоит ему об этом напомнить.

Профессор нахмурился и сказал:

— Только в рамках совокупности определенных социальных, физических и этических параметров.

Эта реплика была на удивление здоровой, и ее лишь самую малость испортило то, что профессор вдруг принялся отбивать чечетку.

— В юности я хотел пойти на сцену, — мрачно сказал он.

— Никогда не поздно, — неопределенно ответила я.

Конечно, это была ложь, — к сожалению, в жизни очень часто бывает слишком поздно.

Мы нащупывали путь в стигийском мраке коридора, передвигаясь под ручку, словно старомодная парочка. Профессор Кузенс был очень учтив — идя с женщинами, он всегда торопливо перебежал на внешнюю сторону тротуара (видимо, чтобы их не сбила внезапно понесшая лошадь кэбмена), уступал места, открывал двери и вообще относился к представительницам противоположного пола так, словно они из стекла или чего-то столь же хрупкого (что абсолютная правда, ведь мы сделаны из костей и плоти).

Его галантное присутствие меня сильно подбодрило — особенно потому, что сейчас у меня стояли дыбом волосы на затылке. Может, оттого, что Безымянный Юноша облетал дозором свое прежнее обиталище.

— О, за нами за всеми следят, — жизнерадостно сказал профессор Кузенс. — Мы просто этого не знаем.

Арчи, конечно, давно уже был убежден, что за ним следят службы особого назначения, хотя так и не объяснил почему. («Может, потому, что он сам такой особенный», — предположила Андреа в один из тех дней, когда ее мозги явно отказали.)

— О да, но ведь Арчи сумасшедший, — бодро сказал профессор Кузенс. — Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я.

— Откуда вы знаете, что я не в своем уме? — спросила я.

— Конечно не в своем, — ответил профессор. — Иначе как бы ты здесь оказалась?

Кабинет профессора Кузенса располагался в другом конце коридора, принадлежащего кафедре английского языка. Это и всегда было опасное место со множеством потайных ловушек, но оно стало еще опасней сейчас, когда обострилась борьба за престол. Пройти от одного конца коридора до другого было все равно что проехать на аттракционе «Поезд призраков» — все время уворачиваешься от злых духов, которые внезапно выскакивают из-за углов, пытаясь тебя напугать.

Сегодня, однако, все они куда-то делись. Дверь кабинета доктора Херра была плотно закрыта, а у Мэгги Маккензи, наоборот, широко

распахнута, словно подчеркивая, что владелице кабинета скрывать нечего. Хотя самой Мэгги в кабинете не было. Ватсон Грант, кажется, покинул здание. Но меня держал в плену профессор Кузенс, как старый мореход — свадебного гостя. Он принялся рассказывать длинную историю про свои юные дни в кембриджской докторантуре и какую-то девушку, которую он в незапамятные времена соблазнил на майском балу, и мы не видели, что к нам, раздвигая Сумрак, несется Мэгги Маккензи с перекошенным, как у фурии, лицом, — пока она не оказалась совсем рядом.

Ее бесформенные похоронные одеяния клубились на ходу, и на пол сыпались заколки-невидимки. У Мэгги Маккензи были длинные седые волосы стального цвета, и с утра она приходила, уложив и подколов их в одну из разнообразных неопределенно-викторианских причесок (косы, валики и тому подобное). Но к обеду волосы начинали выбиваться из пут, и к середине дня она уже напоминала древнюю воительницу, ведущую бриттов в бой, — царицу-воина, что желает страшно отомстить врагам.

— Доктор Маккензи! Мэгги! — Профессор Кузенс радушно закивал ей.

Она в ответ пронзила его взглядом. Мэгги Маккензи преподавала историю романа девятнадцатого века («Я научила женщин говорить») и таила злобу против самцов своего вида. Ожесточению поспособствовал ее бывший муж, также доктор Маккензи, о котором Мэгги никогда не говорила, так как, по ее словам, «есть вещи, которые бессилён описать язык».

— Кажется, вы задолжали мне реферат? — резко сказала она мне вместо приветствия и добавила: — Где ваша Джордж Элиот?

Как будто на свете было несколько Джордж Элиот и одна из них принадлежала мне.

— Я оставила его дома, — [или «ее»?] сказала я, беспомощно пожав плечами и как бы давая понять, что жизнь — очень странная вещь, над которой я совершенно не властна.

Доктор Херр внезапно распахнул дверь своего кабинета, словно пытаюсь застать кого-то врасплох. При виде нас троих он нахмурился — видно было, что ему хочется заставить нас переписать тысячу строк в наказание за то, что мы без дела околачиваемся на его территории. Доктор Херр специализировался на XVIII веке («1709–1821 — век разума или век рифмы?») и считал, что руководство кафедрой следует отдать ему, поскольку он единственный из всех сотрудников способен составить нормальное расписание. Вероятно, он был прав.

Доктор Херр был безбородый, высокий, худой и хилый. Из-за

анемичного вида казалось, что он слишком быстро вырос и его мускулы за ростом не поспели. Он представлял собой своеобразный англо-шотландский гибрид. Его отец происходил из того же рода, что и известные ветеринары по фамилии Херр, а мать — из менее благородной семьи кентских галантерейщиков. Когда брак распался, она вернулась в лоно семьи, взяв с собой юного доктора Херра. Так и вышло, что по крови он был уроженцем Эдинбурга, а по духу — Кента. Впрочем, это перекрестное (через границу) опыление не придало ему гибридной стойкости.

Правду сказать, по временам доктор Херр казался бóльшим англичанином, чем сами англичане. Он учился в небольшой частной школе где-то в домашних графствах, а затем поступил в Оксфорд, где помогал основать общество любителей настоящего эля. Он мог (с сочным мажорным акцентом) перечислить всех игроков, когда-либо входивших в сборную Англии по крикету. («Ну и задрот» — такой лаконичный вердикт вынес ему Боб.)

Мэгги Маккензи и доктор Херр смотрели друг на друга, будто готовясь к кулачному бою. Я подумала, что это неплохой способ решить, кто должен возглавить кафедру.

— Рукопашная схватка, — пробормотал профессор Кузенс мне на ухо. — Очень экономит время.

Доктор Херр попятился и обратил свою агрессию на меня.

— Вы опоздали с рефератом, — резко сказал он. — Я хочу получить его немедленно.

Доктор Херр был из тех ипохондриков, которые наслаждаются своей ипохондрией, — впрочем, он так страстно жаждал получить руководство кафедрой, что, кажется, в самом деле хворал из-за этого. Он уже забыл обо мне, охваченный внезапным желанием пощупать свой пульс.

— Наверно, мне лучше присесть, — прошептал он и снова удалился к себе в кабинет.

— Полный идиот, — сказала Мэгги Маккензи, а затем повернулась ко мне и гневно произнесла: — Я подожду до завтра. Чтобы к пяти часам ваш реферат по Джордж Элиот был у меня на столе.

Она угрожающе сдвинула кустистые брови, резко повернулась и утопала вдаль по коридору.

— Какая грозная женщина, — сказал профессор Кузенс, когда она уже не могла услышать.

Меня удивляло, что университетская группа борьбы за раскрепощение женщин не записала Мэгги Маккензи в свои ряды — особенно теперь, когда группа вошла в новую, воинственную фазу. Раньше это был тихий

приют для студенток, любящих за чашкой кофе пожаловаться на бойфрендов, но недавно власть в группе захватила девушка по имени Шерон, отличница с факультета политологии, круглолицая, в совиных очках. Она пылала решимостью обучить нас тонкостям диалектического материализма, пока жива (судя по всему, Шерон должна была скончаться намного раньше, чем сама того ожидала).

— Ну что ж... — произнес профессор Кузенс, когда мы наконец извилистыми путями пришли к дверям его кабинета. — Я, пожалуй, прилягу поспать. А вы?

Я не могла понять — то ли он приглашает меня поспать вместе с ним, то ли просто интересуется моими планами. Как бы там ни было, я грустно покачала головой и сказала:

— Я пойду домой, мне нужно работать.

— Передавайте привет этому своему приятелю.

— Бобу?

— Значит, Бобу.

Тут профессор узрел Джоан, секретаршу кафедры, — женщину средних лет с большим бюстом. Джоан обожала мохер, так что я все время боролась с желанием прикорнуть на ее пушистой груди. Профессор ударился в затейливую пантомиму, изображая, что пьет из чашки. Джоан со вздохом долготерпеливой страдальницы нырнула в шкаф, где хранился чайник. На случай чрезвычайных ситуаций (вроде той, в которой мы сейчас находились) она держала у себя в закромах и небольшой примус (вот так случаются чудовищные пожары).

— Мне нужно регулярно подкрепляться, — со смехом сказал профессор. — Меня, видите ли, пытаются убить.

— Что? — переспросила я, думая, что ослышалась.

Но он уже закрыл дверь, хотя с той стороны все еще доносилось отчетливое хихиканье.

В подвале, где располагался студенческий совет, попирались всевозможные законы противопожарной безопасности. Там было необычно людно, воздух густ от конденсата, и мерцающие свечи на столах придавали всему помещению некую подземную мрачность, особенно когда их свет падал на картины в стиле Брейгеля, по неизвестной причине висящие на стенах.

Представьте себе нечто среднее между пещерной стоянкой каменного века и бомбоубежищем времен войны, и вы узнаете, как выглядело помещение студсовета. Сейчас университет строил для него новое здание

— сплошное стекло от пола до потолка и открытые пространства, — но я подозревала, что стоит туда въехать студсовету — и новостройку немедленно заполнит та же зловонная атмосфера, а ковры пропитаются пивом и пеплом.

Помещение делилось на две части: в одном располагалось нечто вроде кафе самообслуживания, а в другом — бар, где сейчас шумная группа игроков в регби — по всей вероятности, химерический союз студентов с медицинского и инженерного факультетов — пропускала кружечку-десятью. Регбисты вели себя так, словно был вечер пятницы, а не обеденный перерыв понедельника, — они залпом осушали пинтовые кружки крепкого и горланили примитивные песни о причудливых сексуальных актах, которых наверняка никогда не совершали и, скорее всего, не понимали даже, в чем они заключаются.

Я нашла Терри — она забилась в угол у стола, усиленно курила и старалась игнорировать Робина, который уже прорвал периметр оборонных сооружений ее личного пространства. Личное пространство Терри по площади было примерно равно острову Малл и потому требовало усиленной защиты.

Робин походил на Роя Вуда из группы *Wizzard* с некоторой примесью Распутина позднего периода, если можно представить себе Распутина в бордовых клешах и футболке самодельного крашения под батик, всех цветов радуги. Он демонстративно читал «Игру в бисер». Робин умел повергать окружающих в смертную скуку. Его творческая работа для Марты представляла собой одноактную пьесу под названием «Пожизненный срок» (по его словам, «постбеккеттианскую»), в которой недовольные жизнью студенты сидели на упаковочных ящиках, разбросанных по сцене, и говорили, не заканчивая фраз, о том, как скучна жизнь. На мой взгляд, эта пьеса была реалистична до такой степени, что уже не могла называться искусством.

Андреа деликатно ела яблоко сорта «голден-делишес», снимая кожуру и отрезая аккуратные дольки, и брезгливо морщилась, глядя на сидящего напротив Кевина, который засовывал в рот огромный форфарский пирожок с мясом. Жирные чешуйки слоеного теста липли к его пухлым губам. Дожевав, он страдальчески вздохнул и сказал:

— Двух всегда мало, правда?

Кевина возмущало, что в кафе не подают горячей еды.

Крупная девушка по имени Кара садилась за стол по соседству — это зрелище завораживало. Кара была нагружена подносом еды, тяжелым рюкзаком, тканой узорчатой греческой сумкой через плечо и, наконец,

пухлым младенцем, который был примотан платком у нее за спиной.

Кара жила с другими студентами (в том числе Робинот) в старом фермерском доме, который назывался Вестер-Балниддри, в дебрях сельской части графства Ангус. Они держали коз и кур и притворялись, что полностью себя обеспечивают всем необходимым. Но в случае глобальной катастрофы на них лучше было не рассчитывать — они не смогли бы выжить без доступа к благам цивилизации. Например, любое действие, для которого требовались инструменты, повергало их в панику. Если бы техническую эволюцию доверили обитателям Балниддри, человечество до сих пор хранило бы свои вещи в гамаках, подвешенных к деревьям.

Кара наконец уселась и принялась жадно поглощать большую длинную булку, битком набитую тертым сыром и кресс-салатом. Стиль одежды Кары можно было бы определить как «крестьянский». Сегодня на ней была индийская хлопковая юбка, тяжелые рабочие ботинки и огромный волосатый свитер, связанный, похоже, при помощи колышков от палатки. Голова повязана какой-то тряпкой на манер платка русских деревенских баб. Кожа — смуглая, словно ее натерли соком грецкого ореха.

Кара была родом из Кента, хотя походила на цыганку. После университета она собиралась окончить учительские курсы и спикировать на учеников начальных школ, прикрывшись невинным псевдонимом «мисс Джонс». Младенец, чье происхождение было едва ли не туманной моего, носил имя Протей. Кара таскала его с собой всюду, к большому расстройству преподавательского состава, обнаружившего, что не существует правил, запрещающих приносить младенцев на лекции и семинары.

Робину наконец надоело притворяться, что он читает «Игру в бисер», и он достал пачку гигантских листов папиросной бумаги и принялся набивать косяк под столом. Недавно он решил стать буддистом и с тех пор наводил на всех еще более смертельную скуку.

— В чем смысл жизни? Счаст-Лифф ли ты? — произнес Робин и глупо засмеялся, отчего у него затряслись плечи, как у собаки в мультфильме; почему-то все студенты Данди находили эту шутку уморительной.

— Как аукнется, так и откликнется, а? — сказал Шуг, садясь рядом с Робинот.

Андреа заискивающе улыбнулась ему, но Шуга больше интересовал холодный круглый пирог (на языке жителей Данди — «перох»), который он в данный момент ел.

За всю жизнь Нора дала мне ровно два совета, оба — на вокзале в Ньюкасле, когда я впервые в жизни садилась на поезд, идущий в Данди:

1. Берегись людей с голубыми глазами.
2. Не питайся пирогами.

Я пыталась как могла следовать этой материнской мудрости, несмотря на ее неудовлетворительную стихотворную форму. Ведь я не могу больше рассчитывать ни на какие родительские советы.

— Так вот, я решил стать вегетарианцем, — сказал Робин, замороженно разглядывая бледные жирные внутренности пирога, поедаемого Шугом.

Протей заревел, и Кара выпутала его из рукотворного кокона. Под платком Протей был завернут в засаленное белое термоодеяльце, что придавало ему сходство с гигантским опарышем. Он гневно замахал кулачками, но Кара порылась у себя за пазухой, достала грудь и прицепила его к ней. Кевин побагровел от ужаса и принялся упорно разглядывать что-то чрезвычайно интересное на потолке, но тут увидел за соседним столиком Оливию и перевел взгляд на ее красные сапожки.

Оливия сидела с ребятами с факультета социальных работников, которые ее не замечали. Она читала «Горменгаст», очень медленно и внимательно, как читают те, кто обедает в ресторане в одиночку. Она прижала руку к щеке, открыв тонкое запястье с золотым браслетом. Несколько месяцев назад, в момент откровенности, наступивший в буфетной очереди, Оливия сказала мне, что браслет принадлежал ее матери.

— Она умерла? — осведомилась я небрежно, как подобает полусироте (вы ведь уже заметили, что мой отец вообще не появляется в моей собственной истории).

Да, сказала Оливия, умерла — покончила с собой, отравилась газом, и, что особенно неприятно, выбрала для этого ее, Оливии, десятый день рождения.

Андреа вдруг нырнула под стол, чтобы спрятаться от Шерон. Шерон — та самая, педантичная и внушающая страх девица, что захватила власть в группе борьбы за раскрепощение женщин, — жила с Андреа в одной квартире. Это была одна из тех студенческих квартир, жильцы которых в начале учебного года друг друга не знают, а к концу года — не любят. Это была также одна из тех квартир, где каждый жилец закупает продукты на себя, поэтому в небольшом холодильнике стояли в числе прочего пять пакетов молока (надписанных владельцами). Еще в этой квартире постоянно спорили о том, кто взял чье масло и кто поживился чужими кукурузными хлопьями. Шерон уже дошла до того, что помечала уровень на своей бутылочке томатного соуса и взвешивала свои куски маргарина.

Она сразу увидела Андреа и тут же направилась к ней. На Шерон была обтягивающая водолазка-«лапша», которая подчеркивала ее небольшую, ничем не стесненную грудь со странно выпуклыми сосками. На ходу грудь гипнотически подпрыгивала.

— Она думает, что я съела у нее треугольник плавленого сыра, — хлюпнула носом Андреа. — Как будто я себе такое позволяю. В нем миллион калорий.

К счастью для Андреа, Шерон отвлеклась на пьяного регбиста, во всеуслышание заявлявшего, что он совершил немыслимые непристойности, и притом самым неестественным образом.

Я заметила, что Оливия неотрывно смотрит на Протея, словно пытаясь решить в уме особо заковыристую логическую задачу. Оливия, как и Боб, собиралась получить двойной диплом по английскому языку и философии. В отличие от Боба, она шла на диплом первой степени. Ее так заорожил вид Протея, что измученный Кевин рискнул поднять взгляд к ее коленям. В руках он сжимал фрагмент «Хроник Эдраконии», которые перевалили уже на четвертый том (мало чем отличавшийся от первых трех).

— Леди Агаруиту, — тихо произнес он, обращаясь ко мне (ибо по неизвестной причине уже давно назначил меня в слушатели), — заточил в башню...

— Какую леди? — перебила Кара, подняв взгляд от какой-то тряпки навозного цвета, которую она извлекла из рюкзака и принялась собирать, невзирая на сосущего младенца.

— А-га-ру-иту, — сердито произнес по слогам Кевин и покраснел, потому что образ Агаруиты был списан с Оливии; конечно, Оливия наверняка не была крестницей королевы драконов, но иногда в самом деле походила на узницу, которую заточил в башню «коварный лорд Лебарон, известный также как Драконобойца».

Протей с чпоканьем отсоединился от груди Кары и рассеянно поглядел на потолок, словно пытаясь что-то вспомнить. Кара воспользовалась моментом, чтобы еще раз нырнуть в рюкзак, и на сей раз достала несколько бесформенных свечек тусклых пластилиновых тонов. Некоторые из них были утыканы разной мелочовкой — видимо, в качестве украшения: бобами, чечевицей, мелкой галькой, иногда — листьями. Большинство свечек выглядело так, словно их формовали в жестянках из-под кошачьей еды. Эти свечи были ответом балниддрийской коммуны на текущую чрезвычайную ситуацию.

— Нам пришлось поднять цены, потому что спрос большой, — сказала Кара.

— Спекулянты-капиталисты, наживаетесь на народной беде, — сказал Шуг.

Я купила у Кары свечку — она мне была очень нужна. Свечка была тяжелая, вполне сгодилась бы проломить кому-нибудь голову.

— А потом сжечь улику, — сказал Кевин. — Гениально.

Оливия не видела Роджера Озера — он стоял в дверях и украдкой жестикулировал, пытаясь привлечь ее внимание незаметно для всех остальных.

Регбисты у стойки бара вдруг взревели с новой силой — один из них влез на стол и начал медленный, неаппетитный стриптиз. Тут внезапно дали свет, отчего все собравшиеся дернулись и сжались, как ночные звери, вдруг попавшие в лучи фар на дороге. Инженеры помчались к музыкальному автомату, чтобы врубить «Maggie May», и уровень шума в подвале поднялся еще на пару делений.

Оливия наконец заметила Роджера и слегка нахмурилась, сказав идеальное лицо. Но тут же улыбнулась ему, выскользнула в дверь и последовала за ним на небольшом расстоянии.

Регбисты к этому времени выдышали весь воздух в подвале, и я решила, что лучше уйти, пока люди не начали умирать.

— Я пошла, — сказала я Терри.

Она вышла за мной, сказав, что хочет прогуляться по Хауффу. Хауфф был любимым кладбищем Терри, хотя, когда она была в соответствующем настроении (то есть всегда), ей сошло бы любое. Другие вязали, читали или ходили в горные походы, а Терри увлекалась изучением кладбищ. Она исследовала топографию городов мертвых — Хауфф, Балгей, Восточный некрополь. Смерти не обязательно было являться в дом Терри — та сама ходила к ней регулярно.

Выходя из студсовета, мы миновали коротенькую непримечательную девушку по имени Дженис Рэнд. Дженис тоже ходила на курс творческого мастерства к Марте и писала коротенькие непримечательные стишки, больше всего похожие на водянистые англиканские гимны. Сейчас она поставила в студсовете стол, на котором разложила плохо напечатанные листовки на синей бумаге. Сверху был прикреплен кнопками самодельный плакат, гласивший: «Не забывайте — старики».

От Дженис пахло благочестием и дегтярным мылом. Она недавно обратилась в религию — ее охмурило студенческое христианское братство, адепты которого рыскали по коридорам общежитских корпусов — Арли, Белмонта и Валмерса — в поисках подходящих кандидатов для обращения (неуверенных в себе, одиноких, брошенных и тех, кому вера нужна была

для заполнения пустот на месте личности).

Студенты-христиане творили добрые дела, навещая пожилых и прикованных к дому людей. Дженис пыталась завербовать новых добровольцев.

— Не забывайте — старики... что? — спросила я из любопытства. — Сражались на войне? Знают больше вас? Одиноки?

Дженис скривилась.

— Не «что», — презрительно ответила она. — Просто «не забывайте». Вообще.

Мы направились к выходу, и Дженис завопила нам вслед:

— Иисус может вас спасти!

Впрочем, это прозвучало несколько неуверенно, словно ей казалось, что вот нас-то Иисус, может быть, спасти и не захочет.

— Иисус, Сын Божий! — добавила Дженис на случай, если мы вдруг не знаем. И, не сдаваясь, продолжала: — Он уже приходил нас спасти. И еще раз придет. Может, даже уже пришел.

Тут донесся порыв холодного ветра, входная дверь с грохотом распахнулась, и мы подскочили — особенно Дженис, которая точно поверила на долю секунды, что в помещение студсовета Университета Данди явился Христос. Надо немедленно предупредить Его о том, что здесь не подают горячей пищи! Но это оказался не Он — разве что Он умудрился прийти в образе неопрятного студента из Общества социалистов с ящиком только что отпечатанных листовок — маленьких, розовых, а не голубых, как у Дженис.

— Потому что голубой — цвет неба? — спросила я у нее, но она лишь злобно оскалилась.

Мальчик из Общества социалистов сунул одну листовку мне в руки. На ней было написано: «Остановить войну!» Он попытался дать листовку и Дженис, но Дженис не соглашалась ее брать, если он в обмен не возьмет листовку у нее. Когда мы выходили, они все еще стояли, агрессивно тыча друг в друга листовками.

Нора, которая деликатно храпела у остывшей и подернутой пеплом решетки кухонного очага, просыпается и зевает.

— Я что-нибудь пропустила? — спрашивает она.

— Некоторое количество страха и ненависти, каплю паранойи, много акров скуки, леди Агаруиту в башне. Кучу новых персонажей — теперь тебе придется кое-как наверстывать на ходу.

— А драконов не было?

— Пока нет.

У Норы цвет глаз переменчив, как у моря. Сегодня они — мутно-карие, как лужицы на скалах, потому что дует упорный юго-западный ветер, загоняя чаек вглубь суши. На утесах ветер такой сильный, что иногда мы не по своей воле перемещаемся спиной вперед.

В этом соленом воздухе я странным образом чувствую себя как дома. Я в своей стихии.

— Море у тебя в крови, — говорит Нора. — Оно зовет тебя.

Неужели у Стюартов-Мюрреев — невезучих сухопутных крыс, которые пахали холмистую землю Пертшира, — течет в жилах соленая, бродяжья кровь моряков?

— Совсем наоборот, — говорит Нора.

Ибо, судя по всему, Стюартов-Мюрреев обуревала загадочная тяга к воде, но они совершенно не умели на ней держаться. По словам Норы, один Стюарт-Мюррей утонул в ходе битвы при Трафальгаре, один — на «Мэри Роуз», один пошел ко дну с «Титаником» на пути в Америку, один — с «Лузитанией» на обратном пути в Европу, и был еще один, давно забытый, Стюарт-Мюррей, который, как говорили, утопил в устье реки Форт сокровище короля, хотя что это был за король и что за сокровище, уже не узнать.

Меня удивляет, что Нора рискует выходить в море на своей скорлупке «Морская авантюра». Но, судя по всему, Стюартам-Мюрреям, чтобы утонуть в море, не нужна даже лодка: один из Нориных дядьев, как полагали, погиб в великой и ужасной катастрофе при обрушении моста через Тей — он пролез зайцем в поезд в Уормите, на последней станции перед мостом, под влиянием алкоголя и юношеской страсти к приключениям. А поскольку билета он не покупал, то и в списках погибших не значился.

— Море не только у тебя в крови, — говорит Нора. — Оно у всех в крови. Почему она соленая, как ты думаешь?

Нора смотрит на море через огромный бинокль времен Первой мировой, который притащила с собой. Она говорит, что бинокль раньше принадлежал ее брату. Брату? Она никогда не упоминала никакого брата.

— О да, — небрежно говорит она, — у меня была куча братьев и сестер.

— Воображаемых?

— Настоящих, — отвечает она и принимается считать на пальцах. Дуглас, Торкил, Мердо, Гонория, Элпет... и это только те, что умерли еще

до ее рождения. По-видимому, Стюарты-Мюррей — исключительно неудачливая семья.

— Это еще что, — мрачно говорит она в ответ на мое замечание. — Это ничто по сравнению с тем, что случилось позже.

Меж Эдинбургом и Данди есть города

У меня есть глиняная грелка. Я заворачиваю ее в старый свитер и по ночам прижимаю к себе в тщетной попытке согреться. Очень трудно спать, когда тьма столь всеобъемлюща — ее лишь изредка пронзает крупница звездного света или слабый лунный луч.

Я вспоминаю бесчисленные ночи своего детства, когда Нора оставляла меня одну и шла в какой-нибудь очередной паб или отель, куда ее взяли работать на сезон. Я прямо вижу ее тогдашнюю и чую запах ее дешевого одеколона «Ландыш». Она целует меня на ночь: буйные волосы уложены высоко, как мороженое в рожке, что продается на курортной набережной, а фигура подчеркнута откровенным нарядом барменши или, наоборот, скрыта суровым одеянием официантки. Помню как сейчас — она склоняется ко мне и шепчет на ухо, просит быть хорошей девочкой: не вылезать из кровати, не играть со спичками, не давиться конфетами и поднимать крик, если на меня вдруг нападет страшный незнакомец, маньяк-душитель или насильник, влезший через окно спальни. Нора всегда боялась худшего.

— По опыту, — мрачно говорит она.

Мы дрейфовали вдоль побережья — прилив приносил нас и уносил, словно плáвник, и все наше время делилось на приезды и отъезды (или отъезды и приезды, смотря как посмотреть). Я с детства разбиралась в пляжных павильонах, зимних садах и мини-полях для гольфа. Может, мне и не так уж хорошо давалось спряжение иностранных глаголов и тонкости из жизни дробей, зато я всегда назубок знала таблицу приливов. Таланты Норы (пианино, французский язык, шотландские народные танцы) не годились для серьезной работы, зато она всегда могла устроиться в очередной паб «Отдых моряка» или кафе «Орлиное гнездо».

Нора обычно жила там же, где работала, поэтому «домом» был какой-нибудь холодный чердак гостиницы или щелястая комнатка над баром, где в наш сон просачивались запахи общепита и прогорклого пива, смешиваясь с ароматом мокрого (стиранного вручную) белья, сохнущего в опасной близости к бойлеру. Мы перебивались чужими обедками — солеными орешками, оливками и коктейльными вишнями из рюмочных и баров, — и остатками ресторанной еды, вроде ошметков свадебного трайфла со дна посуды и заветренных канапе, оставшихся после ужинов с танцами. И бесконечная рыба с жареной картошкой, в уксусном аромате спешки, когда

Нора торопилась на работу.

Неудивительно, что, куда бы мы ни приехали, я искала подруг из более обширных семей с более традиционным составом. Эти девочки жили в обычных домах (полуотдельных, постройки тридцатых годов, с участком приличных размеров). Их матери не работали, а сидели дома, как положено искони. Их отцы (бухгалтер, бакалейщик) были на месте. Еще у них были по меньшей мере одна сестра или брат, бабушка, пес, одна-две тети. Жизнь этих семей проходила за кипячением чайников, спусканием воды в унитазах, ответами на телефонные звонки (*ad infinitum, ad nauseam*)^[55].

Но вечно повторялось одно и то же — стоило лишь очередной семье привыкнуть к моему постоянному приветливому, угодливому присутствию, как Нора вновь срывалась с места. И вот мы уже трясемся в автобусе, переезжая в очередной приморский городок — с виду копия предыдущего. Можно подумать, что мы от кого-то убегали. Разумеется, так оно и было.

Я просыпаюсь среди ночи с ощущением, что не помню, кто я. Нормально ли это? Почти наверняка нет. Дикая сиамская кошка дает кошачий концерт, — должно быть, от их маниакальных завываний бегут мурашки по хребту у всех позвоночных на острове, живых и мертвых. Может быть, кошки заняты приумножением своего кровосмесительного стада.

— Дьяволово отродье, — бодро говорит Нора наутро, мешая водянистую овсянку для завтрака древней деревянной палкой-мешалкой. Затем, вываливая порцию каши в стоящую передо мной миску: — Ну давай дальше. Что было потом?

Едва слышный вызывающий вопль «Иисус спасет вас!» еще летел нам в спину, а мы вяло плелись по Нижней улице. Пронизывающий ветер тащил по улице мусор, песок и изредка — розовое пятнышко листовки. Мелкий дождь шотландских нагорий — словно облако водяной пыли из опрыскивателя для растений — падал не в той метеорологической зоне, для которой был предназначен.

Терри хотела зайти в аптеку в «Моргановской башне» за бутылкой коллис-брауновской микстуры, намереваясь выпарить ее на плите (заляпав при этом все кругом) и повергнуть себя в еще более глубокую летаргию. Я же собиралась в университетский книжный магазин за методическим пособием к «Мидлмарчу».

В этот момент на тротуаре через дорогу внезапно образовалась собака (они это умеют!). Заметив, что мы на нее смотрим, она изобразила на морде

дружелюбие и потрусил к нам, словно через поле, а не через проезжую часть. В этот самый миг «форд-картина» 1963 года вылетел (насколько «форд-картина» способен вылететь, конечно) из-за угла, неотвратно направляясь именно туда, где находилась собака. Увидев это, Терри рванулась на дорогу, чтобы спасти пса.

В этот момент нарративное предопределение (страшная сила) взяло управление на себя. Сценарий «машина — собака — девушка» (бегущая трусцой собака, стремительная машина, глупая девушка) мог кончиться только слезами; «картина» вильнула в последний момент, огибая Терри, но не могла объехать собаку. Я закрыла глаза...

...и когда открыла их снова, машина стояла, а Терри сидела на краю тротуара, и голова собаки лежала у нее на коленях. Терри была в целом не слишком привязана к роду человеческому, но, как ни странно, любила животных, особенно собак: ее практически вырастил семейный пес (большой доберман по кличке Макс).

Пес, который сейчас недвижно покоился у нее в объятиях, — большая желтая дворняга — цветом шкуры напоминал старого затрепанного плюшевого медведя или полудохлого верблюда. Человек, готовый сбить собаку, чтобы спасти женщину, вылез из машины и потопал к этой кинологической «Пьете», на ходу оглядев бампер. Он оказался мужчиной плотного сложения — вроде вышибалы на дешевой дискотеке. Тыльные стороны его рук покрывала густая шерсть: казалось, что под мятым костюмом у него надет другой, маскарадный костюм шимпанзе. Водитель неловко наклонился, чтобы поближе разглядеть собаку, и штанины задрались, обнажив чудовищно волосатые лодыжки. Дешевая материя костюма — цвета молочного шоколада — туго обтянула мясистые бедра.

— У меня нет времени! — произнес он. — Чертова собака! Смотреть надо, куда бежишь! — И добавил чрезвычайно раздраженно: — Я опаздываю! Уже опоздал!

Собака тем временем не реагировала на внешние раздражители — она лежала так неподвижно и безжизненно, что вполне могла бы быть искусно сделанным чучелом, выставленным на потеху толпе, которая уже начала собираться. Терри стала делать псу искусственное дыхание, с необычным для нее упорством вдувая жизнь ему в пасть, явно унаследованную от овчарки.

— О боже... — сказал у меня за спиной дрожащий голос. — Могу я чем-нибудь помочь?

Голос принадлежал профессору Кузенсу, который размахивал большим

зонтиком с ручкой в форме утиной головы. Этому человеку явно грозило стать карикатурой на самого себя.

Скрипя суставами, он наклонился к собаке и стал как мог способствовать ее оживлению, почесывая ей пузо, покрытое жесткой шерстью и розовое, как сахарная глазурь на торте. Зеваки перешептывались, серьезно обсуждая наилучшие способы воскрешениядохлого пса. Их рекомендации варьировались от «дать ему вкусняшку» до «дать ему взбучку».

Однако вампирское дыхание Терри, попав в легкие собаки, по-видимому, сотворило чудеса. Желтый пес медленно возвращался к жизни, начиная с дальнего конца, то есть с хвоста, похожего на хвост гигантской крысы. Хвост начал медленно и тяжело биться об асфальт. Затем пес вытянул задние ноги, сгибая и разгибая ненормально длинные пальцы, оканчивающиеся большими, как у ящера, когтями. Наконец пес тихо вздохнул, открыл глаза, поднял голову и огляделся. Кажется, его приятно удивило количество прохожих, заинтересованных его самочувствием. Он энергичней заколотил хвостом, и зрители разом заплодировали такому Лазареву воскрешению. Пес поднялся на ноги — нетвердо, как новорожденный теленок антилопы гну. Мне показалось, что он сейчас поклонится публике, но я ошиблась.

Терри глядела на пса подозрительно.

— У него, наверно, шок, — сказала она. Маленькое бледное личико осунулось от беспокойства. — Все равно надо отвезти его к ветеринару.

— Шутишь! — воскликнул водитель «кортины». — Я уже полчаса как должен быть в другом месте.

Терри зашипела, как злобный чайник, обнажив острые зубки. Пес — скорее в удивлении, чем в шоке, — терпеливо ждал, пока противоборствующие стороны решат его судьбу. Наконец сдался водитель «кортины»:

— Ладно, садитесь, только быстро, я очень сильно опаздываю.

Он принялся торопливо запихивать нас всех в машину.

Машина, которая явно не видывала лучших дней, была ржаво-белая (больше ржавчины, чем белизны). Я влезла на заднее сиденье, за мной последовали Терри и пес, который кое-как забрался в салон и настоял, чтобы его посадили между нами. Профессор Кузенс бодро уселся впереди; похоже было, что машина для него — чрезвычайно новое и интересное изобретение.

— Поедем кататься! Как весело! — воскликнул он и протянул руку водителю. — Профессор Кузенс, рад встрече. А вы?

Водитель «кортины» ответил неохотно, словно все, что он говорил, могло быть впоследствии использовано против него:

— Чик. Чик Петри.

— Зовите меня Гавриилом, — заулыбался и закивал профессор Кузенс.

— Но ведь вас вовсе не так зовут?

Меня очень удивила внезапная мутация имен профессора, которого обычно звали Эдвард Невилл. Но он только бодро улыбнулся и сказал:

— Почему бы и нет?

Чик подхватил:

— Да, что в имени тебе моем и все такое, а, проф?

— Совершенно верно! — просиял улыбкой профессор. — Вижу, мы с вами понимаем друг друга.

— Профессор, э? Мое-то детство прошло в людях. Жизнь — вот мои университеты.

— И я уверен, что это был весьма разносторонний и глубокий курс обучения! — воскликнул профессор Кузенс.

— Да уж, я кой на чем собаку съел, — мрачно заметил Чик.

Терри зажала псу уши ладошками. Чик завел мотор, и салон машины тут же стал наполняться странным запахом — сладковатым, но тухлым, вроде гниющей клубники и разлагающейся дохлой крысы. Но не успели мы прокомментировать эту атаку на наши обонятельные органы, как Чик съехал с тротуара, тряхнув нас всех, и влился в поток не глядя — какофония автомобильных гудков полетела нам вслед по Нижней улице.

Профессор сказал, что ветеринар есть в верхнем конце Южной Тей-стрит, и неопределенно махнул рукой себе за спину, но не успел он произнести эти слова, как мы уже проехали поворот и все быстрее неслись по круговой развязке, что на Ангус-роуд. Ощущение было как на аттракционе «Автодром». Несколько секунд — и мы уже с ревом приближаемся к автомобильному мосту. Терри закричала, что мы едем не в ту сторону, и Чик крикнул в ответ:

— Для вас, может, и не в ту, а я еду, куда мне надо!

Он не остановился даже, чтобы заплатить за проезд по мосту, — с привычной сноровкой притормозил у будки, на ходу сунул деньги сборщику и вылетел на длинный прямой отрезок моста. Я подумала, что мы попали в руки маньяка. Терри наклонилась вперед и ткнула Чика острым пальцем в шею.

— А к ветеринару?

— С этой псиной все в порядке, — буркнул Чик, взглянув на пса в зеркало заднего вида.

И правда, пес, теперь само здоровье и бодрость, сидел между нами и живо интересовался происходящим, как заправский «водитель с заднего сиденья». Но запах в машине усилился — зловоние росло с каждой минутой, что мы проводили в пути.

— Что это? — спросил профессор Кузенс.

— Что «это»?

— Чем это пахнет?

Чик втянул полную грудь воздуха, будто наслаждаясь озоном на морском берегу.

— Виндалу, — сказал он. Подумал пару секунд и добавил: — И кошка.

— Кошка? — с тревогой отозвалась я.

— Без паники, — сказал Чик, — онадохлая.

— Мы не хотим с вами ехать, — мрачно заявила ему Терри.

— Похищение? — весело воскликнул профессор Кузенс. — Как интересно! Потом будет что рассказать.

Терри вцепилась всей пятерней в грязно-желтую шерсть. Лицо у нее мало-помалу зеленело.

— Это преступление, знаете ли, — не отставала она. — Захватывать людей против их воли. За это сажают.

Чик презрительно фыркнул и сказал, что по-настоящему серьезные преступники, которые кого-нибудь убили, покалечили и так далее, не в тюрьме сидят, а гуляют на свободе — в Бразилии, Аргентине «...или даже в Файфе». В его словах звучала горечь — видимо, что-то личное.

— Это меня не интересует, — не отставала Терри. — Выпустите нас.

— Как хочешь, — пожал плечами Чик, — валяй.

С этими словами он просунул руку назад и открыл заднюю дверцу, при этом временно потеряв управление машиной.

— Маньяк чокнутый! — огрызнулась Терри и укусила его за руку. (Именно так происходят аварии.)

Казалось, Чика это нисколько не задело — у него был вид человека, привычного к частым словесным и физическим оскорблениям. Он только снова прибавил скорость и ласково похлопал по приборной панели:

— Старая добрая «единичка», стандартная комплектация, тысяча двести кубиков. Делает до семидесяти шести миль в час.

Мы доехали до конца моста.

— Королевство Файфское! — провозгласил профессор, словно мы въезжали в некую волшебную страну.

— Царство хюхтер-тюхтеров, — фыркнул Чик.

— Сент-Эндрюсский университет, моя альма-матер! — мечтательно

произнес профессор.

— А мне казалось, вы говорили, что учились в Кембридже, — удивилась я.

Лишь несколько часов назад он с упоением рассказывал мне про майские балы, плоскодонки, привратников и прочие приметы быта учащейся молодежи, неслыханные в Данди.

— Говорил? — переспросил он.

— Мы не едем в университет, — торопливо встрял Чик. — Я вам не такси. И я, черт побери, опаздываю.

— Куда? — спросила я.

— На наружку. — Последнее слово прозвучало с отчетливой неприязнью.

— Наружку? — повторила я.

— Да, наружное наблюдение. За людьми.

— Я знаю, что значит «наружка». Просто вы как-то не похожи на человека, который за кем-то следит.

Он вытащил из внутреннего кармана визитную карточку и протянул мне. Плохо напечатанная засаленная карточка гласила: «Бюро частных расследований „Премьер“! Выполним любые задания, не спрашивая лишнего». Надо же, кто бы мог подумать! Оказывается, Чик — частный детектив.

— Частный сыщик, — задумчиво произнес профессор Кузенс.

Чик не обратил на него внимания и нервно поглядел на часы:

— Я ее упущу, блин.

— За кем же вы наблюдаете? — спросил профессор.

— За одной бабой. Ревнивый муж, все дела. — Он закурил сигарету (устрашающее зрелище на скорости, с которой мы неслись). — Муж, конечно, псих. Как обычно.

— Значит, вам не зазорно делать такую работу? — спросил профессор. — Я имею в виду — с этической точки зрения.

— Зазорно? — эхом отозвался Чик.

Профессор засмеялся:

— Чем больше повторяешь слово, тем странней оно звучит, правда? «Зазорно» — однокоренное с «позор», что в старину означало просто «зрелище». Например, «невежества губительный позор».

— Потрясающе, Гавриил, — сказал Чик настолько невыразительным тоном, что я не могла понять, сарказм это или он говорит серьезно.

Я подалась вперед, чтобы обратиться к Чики с вопросом, и окунулась в аромат тела мужчины средних лет — «Олд спайс», пот и выдохшееся

крепкое пиво. Я не могла не отметить, что от профессора Кузенса едва заметно пахнет розовым маслом.

— Вы за мной следите? — спросила я у Чика.

Он удивленно поднял брови, уподобив свой лоб резиновой гармошке, и презрительно сказал:

— С какой стати я буду за тобой следить?

— Бедная девочка думает, что за ней следят, — услужливо разъяснил профессор Кузенс.

Чик окинул меня оценивающим взглядом в зеркало заднего вида и спросил:

— В самом деле?

— Нет, я это просто придумала, — сказала я, потому что мне очень не хотелось верить в обратное.

— Бедный Кристофер — доктор Пайк — тоже думал, что за ним следят, — вздохнул профессор Кузенс. — И вот видите, что с ним случилось.

— А что с ним случилось? — спросил Чик чуть погодя, когда стало ясно, что профессор не собирается продолжать.

— Несчастный случай, совсем как с нашим общим другом. — Профессор указал на пса, который наострил ухо, показывая, что знает: мы говорим о нем.

— И вы подозреваете, что это был не случай? — спросил Чик.

Профессор засмеялся:

— О, в этом я не сомневаюсь! Сотрудники моей кафедры известны своей предрасположенностью к несчастным случаям. Какой день ни возьми, половина их окажется в больнице. Скоро в университете вообще никого не останется.

— Профессор Кузенс думает, что его хотят убить, — сказала я Чик.

— Вы просто отличная парочка, — саркастически заметил Чик. — Один думает, что его хотят убить, а другая — что за ней следят. А уж принцесса-несмеяна на заднем сиденье... Вы ведь знаете эту присказку?

Последние слова были обращены к профессору.

— Нет, какую?

— Даже если вы параноик — это не значит, что за вами не охотятся.

— Частный сыщик, — задумчиво произнес профессор Кузенс. — «Жил в Данди один частный сыщик, / Твердил он: „Смотри на часы, Чик“...»

— А это далеко? — спросила себе под нос Терри. — То место, куда мы

едем?

— Да уж недалеко, — загадочно отозвался Чик.

Наконец мы прибыли на место — может быть, в Купар, но я не обращала внимания на дорожные указатели. Во всяком случае, это место было очень похоже на Купар. В Файфе светились окна домов — жители жгли драгоценное электричество в лампах дневного света, пытаясь разогнать зимний послеобеденный Сумрак. Чик остановил машину на приятной улочке, обсаженной деревьями и застроенной отдельными и полуотдельными пригородными виллами. Он заглушил мотор, откинулся на сиденье и закурил очередную сигарету.

— Так что, Чик, — профессор Кузенс потер руки в предвкушении, — это засада? Что теперь? Вы просто будете сидеть тут и следить за дверью, а если эта женщина выйдет, то поедете за ней?

— Что-то вроде этого.

— А откуда вы знаете, что не упустили ее? — спросила Терри. Поскольку мы уже не ехали, она немного ожила.

— Ниоткуда, — буркнул Чик.

— А разве вам не полагается термос с горячим бульоном? — спросила я. — И кроссворды, и записи классической музыки?

— А фотоаппарат? — живо спросил профессор Кузенс. — А бинокль? А блокнот? А газета, чтобы за ней спрятаться?

Чик извлек из кармана «Беговые новости» и помахал перед носом у профессора:

— Знаете, Гавриил, все совсем не так. Это вы кино пересмотрели.

— Напротив, Чик, — печально возразил профессор, — я слишком мало в своей жизни смотрел кино.

Прошло несколько минут созерцательного молчания, и Чик сказал:

— Вообще-то, я всяких странностей навиделся на этой работе, Гавриил. Хоть роман пиши.

— Я уверен, что вы могли бы написать роман, — отозвался профессор Кузенс с (совершенно излишним, на мой взгляд) энтузиазмом.

— Говорят, у каждого человека внутри сидит роман, а? — сказал Чик, слегка оттаяв.

— Вот и пусть себе сидит там, внутри, — огрызнулась Терри.

Чик в ответ сказал что-то нелестное про студентов. Выходило, что он не для того платит налоги, чтобы мы могли дни напролет бездельничать, вступая в беспорядочные половые связи и употребляя наркотики.

— Не думайте, что я вам не благодарна, — отрезала Терри, и Чик

отрезал в ответ:

— Ну и пойдя засунь голову в шкаф!

В машине было слишком тесно для ссор — из присутствующих это понимал по крайней мере пес: он вдруг испустил гигантский моржовый вздох скуки, покрутился на месте в тщетной попытке расчистить пространство между мной и Терри, тяжело плюхнулся на сиденье и закрыл глаза.

— Он, случайно, не умер? — спросила Терри с беспокойством и осторожно потыкала пса пальцем.

Пес открыл один глаз и задумчиво взглянул на нее.

— Сидите уже тихо! — раздраженно сказал Чик. — Вы привлекаете внимание.

— Чик, вы женаты? — спросил профессор через некоторое время, желая поддержать разговор.

— А вам какое дело? — оскалился Чик.

— Я просто спросил.

— Я свободен как ветер, — небрежно сказал Чик.

— О, как и все мы, — засмеялся профессор.

После паузы Чик произнес:

— Чертова баба, чертова Мойра, чертова стерва! Все забрала — дом, мебель, детей. Хотя их-то не жалко, сраных сопляков.

Мне вспомнился доктор Херр — его бывшую жену тоже звали Мойра. Уроженка Абердина, ученый-химик с нечеловеческой выдержкой. Она как-то умудрилась пробудить в себе толику человеческих чувств — ровно столько, чтобы хватило подать на развод. Это наверняка единственное, что могло быть общего между Чиком и Херром.

Чик с выразительным вздохом отложил «Беговые новости», потушил сигарету, откинулся назад и закрыл глаза со словами: «Не давайте мне заснуть».

Он мне кого-то напоминал, и я пыталась понять, кого же.

— Ты смотришь на меня, — сказал он, не открывая глаз.

— Я просто пытаюсь понять, кого вы мне напоминаете.

— Я один такой, — сказал он. — Господь разбил форму, в которой меня отливали.

Пошел дождь. Тяжелые капли барабанили по крыше машины.

— Боже, какая погода! Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, — прокомментировал профессор.

Пес заинтересованно повел ушами, но не удосужился проснуться. Интересно, как подобные погодные явления влияли на экономику Тара-

Зантии?

Струи бежали по ветровому стеклу, и мы уже не видели улицу. Терри спросила Чика, почему он не включит дворники. Почти не меняя позы, Чик подался вперед и нажал на кнопку. Дворники заскрипели и ожили. Они медленно поползли по стеклу, издавая чудовищный звук — словно кто-то скреб ногтями по грифельной доске.

— Вот поэтому, — сказал Чик, выключил дворники и снова закрыл глаза. — А теперь как насчет держать рот на замке и глядеть на дом, не отрывая глаз?

— Какая ужасная мысль, — пробормотал профессор Кузенс.

Воздух в машине был влажный и плохо сочетался как с запахом псины, так и с исходной ядовитой вонью, которая к этому времени трансформировалась в аромат гниющей шерсти, плесени и грибов. Я подумала — хорошо, что у Чика машина не отапливается, а то в ней непременно зародились бы новые формы жизни. Но все же было дико холодно, и я радовалась соседству большой, теплой, вонючей собачьей туши.

— У тебя, часом, нету смешного покурить? — вдруг спросил меня Чик.

— Нет, извините.

— Жаль.

— Можно поиграть, — с надеждой предложил профессор Кузенс.

— Поиграть? — подозрительно повторил Чик. — Как?

— А как нет? — ответил профессор, неожиданно демонстрируя знание местных языковых оборотов.

— В покер, что ли?

— Нет, Чик, я думал скорее об игре в слова. Например, в пары — когда берешь одно слово и делаешь из него другое. Превращаешь «слона» в «муху».

Все непонимающе смотрели на него.

— Ну вот, например, можно превратить «миг» в «час»: миг — маг — май — чай — час. Видите? Теперь вы попробуйте — «пса» в «кота».

Пес испуганно поднял голову. Терри стала гладить его, чтобы он опять заснул. Профессора Кузенса очень удивило, что мы не можем понять сути игры в пары.

— Эту игру, между прочим, изобрел Льюис Кэрролл, — сказал он с заметной грустью.

— Это ведь он был любитель маленьких девочек? — спросил Чик.

— Я поеду в Алит афишировать антисанитарный алкоголизм, —

сказал профессор.

Чик с опаской взглянул на него:

— Мы не едем в Алит.

Профессор засмеялся:

— Нет-нет, это еще одна игра. Нужно назвать город, куда едешь, и то, что там будешь делать, — все на одну и ту же букву алфавита. Например: «Я поеду в Блэргаури брить блеющих баранов».

Профессор сделал еще одну попытку:

— Я поеду в Купар квасить кочанную капусту.

— А давайте лучше мы все поедem в Данди, — пробормотала Терри.

— И что мы там будем делать? — Профессор улыбнулся, ожидая ответа.

Тут все — кроме профессора и пса — утратили выдержку, и ситуация вышла из-под контроля, особенно когда Чик предложил Терри поехать в Вестеркерк и сделать там нечто непечатное с высушенной выдрой.

Воцарилась тишина, но минут через десять Терри сказала:

— Я есть хочу.

— А я бы не отказался посетить комнатку для мальчиков, — подхватил профессор Кузенс.

— Мальчиков? — повторил Чик, искоса взглянув на него.

— И еще здесь ужасно неудобно сидеть, — пожаловалась Терри.

Мне пришло в голову, что, наверно, я сейчас испытываю полную гамму ощущений, характерных для семейной вылазки на машине. Судя по всему, мимо меня прошло очень много аспектов жизни нормальной семьи. Только вместо нормальной семьи — матери, отца, сестры, бабушки и золотистого ретривера в «воксхолл-викторе» — мне подсунули эту странную пеструю компанию, которую не роднит ни кровь, ни любовь.

— Здесь нет ничего съестного? — с надеждой спросил профессор, открыл бардачок и стал вытаскивать оттуда разнообразные предметы: колоду потрепанных игральных карт, на которых красовались крупные женщины разной степени раздетости («Потрясающе интересно», — пробормотал профессор), пару наручников, бумажный пакет сплюснутых пирожных — «папоротниковых корзиночек» из пекарни Гудфеллоу и Стивена, моток бельевой веревки, большой кухонный нож и полицейское удостоверение с фотографией, на которой был Чик — только менее мясистый и менее лысый.

— Только не спрашивайте, как мне удалось его заначить, — сказал Чик.

— Как вам удалось его заначить? — немедленно спросила Терри.

— Иди нафиг. — Чик запихал все обратно в бардачок, кроме пирожных, которые разделил между сидящими в машине.

— Так, значит, Чик, вы служили в полиции? — спросил профессор Кузенс, а затем обернулся к нам, ухмыльнулся и сказал: — «Легавый», верно? — будто мы нуждались в переводе.

По словам Чика, не самого надежного из рассказчиков, он был детективом-инспектором до некоего недоразумения, которое случилось на отпуске в Лансароте и из-за которого он попал в беду.

— Если бы стерва не разевала пасть, все бы обошлось, — сказал Чик.

«Стерва», как выяснилось, жила сейчас в Эрроле, в новом доме — этот дом служил любовным гнездышком ей и ее новому «хахалю», который, как утверждал Чик, находился у нее на содержании, а с девяти до пяти оценивал потери для страховой компании. Чик злобно отрапортовал, что у содержанца густая шевелюра и новенький ярко-желтый «Форд-капри 3000» и он считает себя пупом земли. Стерва, содержанец и сраные сопляки вступили в заговор с целью погубить и разорить его, Чика.

— Собачья жизнь у вас, Чик, — сказал профессор Кузенс и сочувственно похлопал Чика по волосатой руке.

Чик отдернул руку и невнятно буркнул что-то про голубеньких. Я не могла не заметить, что у Чика брови почти срослись на переносице — верный признак волка-оборотня. Во всяком случае, так говорила мне Нора.

— Толкните меня, если глаз за что-нибудь зацепится, — сказал Чик.

Профессора передернуло, а Чик, кажется, тут же уснул. Скоро и сам профессор захрапел на переднем сиденье. Взглянув на Терри, я увидела, что она впала в свою обычную нарколепсию. Я развлекалась, наблюдая за чинной пригородной жизнью — матери толкали коляски, старушки подметали дорожки перед домом. Через полчаса из дома, за которым мы должны были следить, вышла женщина. В ней не было ничего от блудницы Иезавели, — наоборот, она выглядела, если можно так выразиться, замечательно обыкновенной. Лет тридцати, с короткими каштановыми волосами, в неприметном плаще. В руке она держала обычную сумку, с какими ходят в магазин. Казалось, она собирается по хозяйственным делам, а вовсе не к любовнику на тайную встречу. Она поздоровалась с другой женщиной, выгуливающей лабрадора, а потом села в «хиллмен-имп», припаркованный у бордюра, и уехала. Я не стала будить Чика. Решила, что эта женщина имеет право ездить куда надо без помех со стороны совершенно незнакомых людей. (Впрочем, разве бывают частично незнакомые люди?)

Чик вдруг хрюкнул, посмотрел на часы и сказал:

— Ну хватит. Пора ужинать. Фиш-энд-чипс, а?

И тут я поняла, кого он мне напоминает. Как Призрак Грядущего Рождества, Чик был вылитый Боб — каким он будет в этом возрасте.

Чик завел мотор, и Терри приняла неловкую позу манекена для аварийных испытаний. Мы остановились у первой же лавочки, где продавали рыбу с жареной картошкой, и профессор сказал:

— Позвольте мне заплатить! Я так прекрасно провел время!

— Очень любезно с вашей стороны, Гавриил, — сказал Чик, преисполняясь дружелюбия при виде чужого бумажника. — В таком случае возьмите мне двойную рыбу.

— Это в противоположность... очень одинокой рыбе? — туманно переспросил профессор.

— Ха, ха, ха, блин, — сказал Чик и засунул в рот маринованное яйцо целиком.

Я думала, что мы теперь поедem домой, но Чик, не доезжая моста, вдруг свернул в Ньюпорт-на-Тее и остановился на какой-то улице напротив подъездной дорожки к дому. Дорожка изгибалась и скрывалась в лавровых зарослях. Через некоторое время с нее выехала машина — тот же самый «хиллмен-имп», с той же непримечательной женщиной за рулем. Может быть, Чик задействовал нечто вроде шестого чувства, вместо того чтобы просто следовать за объектом. Женщина уехала в направлении Уормита, а на дорожке появилась из-за кустов еще одна машина — медленно движущийся катафалк, нагруженный гробом. За ним ехала одинокая легковушка. При виде катафалка Терри заметно повеселела.

— Кто-нибудь знакомый? — сочувственно спросил профессор Кузенс, кивнув на катафалк.

— Не близко, — равнодушно ответил Чик.

Мы двинулись прочь — медленно, будто следуя за катафалком, — и я заметила вывеску у самого начала дорожки: «Якорная стоянка. Дом вдали от дома. Резиденция для пожилых людей».

Я сообщила профессору Кузенсу, что здесь живет мать Арчи Маккью.

— Правда? Вот уж не подумал бы, что у него есть мать, — отозвался он.

Перед круговой развязкой у въезда на мост я увидела на обочине голосующую фигуру в капюшоне.

— У нас нет места, — запротестовала Терри, когда Чик притормозил.

Автостопщик, скрытый капюшоном, подбежал к задней двери «картины». Он был похож на зловещую фигуру из городских баек —

однажды водитель подобрал автостопщика, а тот убил всех, кто был в машине, а потом поехал дальше с полным багажником трупов, а потом подобрал красивую девушку, которая голосовала на дороге, потому что ее бросил парень, а ей надо было добраться до дому, и т. д. и т. п. Меня удивило, что из Чика так неожиданно забил фонтан «молока сердечных чувств», но, может быть, он узнал юную и невинную версию себя, ибо это оказался не кто иной, как...

— Боб! — воскликнула я.

— Засуньте его в багажник, — торопливо сказала Терри, но было поздно.

Боб уже втискивался рядом со мной — к особенному возмущению пса, который понимал, что в «кортину» столько народу не влезет. Когда мы наконец расселись, пес оказался у Терри на коленях, — возможно, лучше было бы наоборот, так как он несколько превосходил ее размерами.

— Что ты тут вообще делаешь? — спросила я у Боба.

— Я у тебя то же самое могу спросить, — неинформативно ответил он.

Оказалось, что он ехал в Балниддри поотвисать с Робинем, сел не на тот автобус и вместо Балниддри оказался в неведомых дебрях Файфа.

— Сбой транспортера, — объяснил он, ныряя глубоко в карман пальто и извлекая оттуда шоколадный батончик.

Мы уже почти пересекли мост. Под нами текла река Тей цвета мокрого грифеля. Данди все приближался. Профессор Кузенс удовлетворенно вздохнул и сказал:

— Вот это денек выдался.

— Он еще не кончился, — поправил Чик.

Катафалк оказался на месте гораздо раньше нас, так как Чик явно не знал понятия «кратчайший путь» и по прибытии в Данди отклонялся от курса еще несколько раз. Он заезжал в лавчонки букмекеров, в «Золотую сковороду» за пиццей, жаренной во фритюре, и так далее. Наконец «картина» остановилась, въехав двумя колесами на тротуар, у бара «Феникс», недалеко от того места, где сбила пса. Профессор Кузенс взглянул на вывеску, гласящую «Испей, чтобы преодолеть ума смятенье» (очень маловероятная перспектива, на мой взгляд), и задумчиво сказал Чику на своем странном шотландском:

— Пойдем изопьем расстанную, а?

Но Чик уже выскочил из машины, перебежал Нижнюю улицу и взлетел по ступенькам к дверям католической церкви.

— Куда он делся? — пробормотал профессор, взглядываясь в залитое

дождем стекло.

— В церковь. Кажется, он пошел в церковь, — осмелилась предположить я.

— А я бы его не принял за верующего, — вслух размышлял профессор, — хотя он весьма склонен к философии, а?

У церкви стоял катафалк. Конечно, они все с виду одинаковые, но мне показалось — тот самый, от «Якорной стоянки».

— Похоже, он пошел на похороны, — сказала я.

Через десять минут Терри произнесла:

— Как ты думаешь, может, с ним что-нибудь случилось? Не то чтобы меня это волновало, но все же.

— Кто он такой вообще? — спросил Боб; как обычно, его любопытство сработало с большим замедлением.

— Филер, — со смаком произнес профессор.

— А?

— Частный сыщик, — объяснила я.

— Ух ты.

Далее вышел несвязный разговор, в ходе которого Боб случайно проболтался, что изучает английский в университете (до определенной степени). Профессор Кузенс очень удивился, так как никогда раньше не встречал Боба.

— Ну, я вроде как... подпольно учусь, — сказал Боб, но это ничего не прояснило.

Прошло еще десять минут, и мы с Терри решили пойти посмотреть, куда делся Чик.

Церковь напоминала ТАРДИС — внутри она была гораздо больше, чем снаружи. Ее наполняли шумы, идущие неизвестно откуда, — отдающиеся эхом шаги и тихий кашель, словно по всему зданию за перегородками и в криптах прятались люди. Гроб виднелся в другом конце прохода размером со взлетную полосу аэропорта. Скорбящих было мало — они стратегически рассредоточились по океану скамей и все повернулись посмотреть на нас, когда мы вошли. Мы сели поближе к выходу, и Терри слегка подтолкнула меня локтем, выражая восторг по поводу того, что мы попали в такое замечательное место.

Электричества не дали, и церковь освещалась множеством свеч. Покойницу отпевал старый и грузный священник — черная ряса в пятнах обтягивала большой живот, откормленный трудами экономки. Заупокойная служба была сложной, загадочной и имела как-то мало отношения к

собственно покойнице, которую, как выяснилось, звали Сенга.

Я заметила на женской стороне церкви Дженис Рэнд. Она была с подругой из христианского общества — непривлекательной девушкой с зачатками алопеции и в очках с толстой оправой. По виду подруги сразу становилось ясно, что она провела всю юность в молодежном кружке при церкви, играя в настольный теннис и брэнча благочестивые песни на акустической гитаре. Дженис держала в руках дамскую сумку, похоже принадлежавшую еще ее матери, с полуоблупившейся наклейкой, изображающей спасательную шляпку.

Впереди, ближе к алтарю, сидели кучкой старухи — вероятно, подруги Сенги. Некоторые сжимали в руках хозяйственные сумки, словно забежали в церковь между делом по дороге из магазина.

В воздухе висело осязаемое мрачное облако, — казалось, оно исходит от гроба. Может быть, когда умирают несчастливые люди, они испускают некое подобие депрессивной ауры, вроде болотного газа? Интересно, подумала я, что происходит с молекулами, составляющими тела мертвецов. Может, они сидят в засаде и ждут, пока их вдохнет какой-нибудь прохожий? Я закрыла рот и нос рукой, наподобие хирургической маски, чтобы не вдохнуть часть Сенги.

Отпевание как-то само собой сошло на нет, и скорбящие с шорохом и шарканьем выбрались с мест, оставив гроб на произвол судьбы. Дженис Рэнд прошла мимо, никак не показывая, что мы знакомы. Тут включили электричество. В резком свете ламп церковь выглядела не так красиво.

— Что вы здесь делаете? — воскликнул Чик, увидев нас, а потом посмотрел на часы и сказал: — Черт! Неужто уже столько времени!

Он тут же возвел очи горé и испросил прощения за сквернословие. Торопливо перекрестился и ринулся вон из церкви.

Удивленные таким внезапным бегством, мы пошли за ним не сразу. Оказавшись наконец снаружи, мы увидели, что Боб и профессор Кузнец извергнуты из «кортины», а сама она уже отчаливает от тротуара, нахально втираясь меж других машин. Сонная морда пса мелькнула за задним стеклом. Я была почти уверена, что он сейчас прощально помашет лапой, но вместо этого он зевнул, развернув огромную пасть с удивительно волчьими зубами.

— Я пошел, — сказал Боб и исчез, прежде чем я успела сказать, что пойду с ним.

— Я тоже, — сказала Терри и торопливо направилась в ту сторону, где исчезла «картина» с четвероногим заложником превратностей фортуны.

Мы с профессором остались на тротуаре. Стояли, как люди,

выгнанные с вечеринки и не знающие, куда себя деть.

— Ну что ж, я полагаю, веселье на сегодня кончилось, — сказал профессор с явной печалью.

Я пошла с ним до университета. Он шел по тропинке, ведущей к Башне, — сутулый, кривоногий, — а я провожала его взглядом. Он был таким хрупким и древним, что мне казалось: ему не под силу совладать с ураганами, вечно буйствующими у подножия Башни. Он никак не мог открыть огромную дверь, пока наконец университетский дворник, сжалившись над ним, не распахнул ее мощным рывком.

Я поплелась домой — ледяной ветер из глубин космоса дул мне в спину, а за моим плечом всю дорогу тащилась тень. («Мы ведаем, что нас ищут, и верим, что нас обрящут», — изрек однажды Арчи. Цитата звучала по-библейски, но Оливия сказала, что это на самом деле из романа Сола Беллоу «Между небом и землей».)

Chez Bob

Я с трудом пробралась в квартиру на Пейтонс-лейн. Коридор загромождали разнообразные временно хранящиеся там предметы: четыре шины от «Райли 1,5-седан» 1957 года (все, что осталось от катастрофической попытки Боба стать автовладельцем, — это длинная история, которую незачем рассказывать); лампа в стиле ар-деко, которую нам так и не удалось починить; чучело императорского пингвина — Боб не удержался и купил его, зайдя как-то в аукционный зал на Уорд-роуд, но в конце концов мы сослали чучело в коридор из-за испускаемого им странного запаха смерти и плохо переваренной рыбы.

Вопреки моим стараниям квартира оставалась чудовищно грязной. В ней воняло карри и курительными палочками со странной ноткой асафетиды. Боб никогда не вытирал пыль и не прибирался («Нет смысла бороться с энтропией») и, казалось, притягивал к себе всевозможный мусор, как ходячий мусорный контейнер.

Важной частью моей мечты об уходе от Боба был мысленный образ места, где я буду жить без него, — незахламленное белое пространство, в котором нет ничего, кроме меня. Может быть, кофейный столик. Ваза с зелеными яблоками без единого изъяна. Из колонок поет Джони Митчелл. Белый ковер.

Ибо все это время я ожидала, что Боб изменится — станет энергичней и интересней нынешнего. То есть превратится в другого человека. Очень медленно — мучительно медленно — до меня дошло, что этого никогда не будет. Вначале Боб мне нравился, потому что был Бобом (бог знает почему). Теперь он мне не нравился — по той же самой причине. Я жила с человеком, главным хобби которого была игра на воображаемой гитаре и который совершенно искренне намеревался стать таймлордом, когда вырастет.

— Эй, — сказал Боб при виде меня.

На нем была фуфайка, связанная его матерью, — видно, когда мать вязала, она представляла себе идеального Боба, несколько больше натуральной величины. Еще на нем были прямые джинсы, которые я превратила в гигантские клеша, вставив клинья из старой фланелевой простыни цвета антисептической мази.

Он лежал, распростершись на полу, и с трогательной нежностью созерцал фотографию девочки в центре таблицы для настройки телевизора.

Лучи кинескопа были так же необходимы Бобу, как другим людям — кислород. Боб утверждал, что из-за «трехдневной недели» у него страдает обмен веществ. Маленький портативный черно-белый телевизор Боб купил на единственный в жизни летний заработок — деньги, которые заплатили ему за пересчет деревьев в Кэмпердауне для городского паркового управления. На самом деле он и не думал пересчитывать каждое дерево по очереди, а просто бросал взгляд на рожицу и решал: «Похоже, их тут штук двадцать». Нетрудно догадаться, что он, как правило, был весьма далек от истины.

— Где ты была? — спросил Боб.

— С тобой. Ты что, не помнишь?

— Нет.

Боб доедал двухдневные остатки бирьяни из ресторана «Лахор» на Перт-роуд. Курица в этом бирьяни с анатомической точки зрения неприятно походила на кошку. Боб не имел никакого понятия о сбалансированной диете. Когда мы только познакомились, он питался «рыбными ужинами» из кафе «Глубокое море», слабо разнообразя их жестянками собачьей еды («Почему же нет?») и банками холодного детского питания. Последнее, на взгляд Боба, было самым разумным вариантом — ни готовки, ни грязной посуды, всех забот — выбрать между «Бараниной с овощами» и «Грушей с заварным кремом» (или взять и то и другое). Боб говорил, что это питание зря тратят на детей. Его жизнь омрачало лишь то, что «Хайнц» не выпускает рыбу с жареной картошкой в таких же баночках.

Мне не сразу удалось перевести его на более традиционную студенческую пищу — сосиски с жареной картошкой, яичницу и фасоль в томате, жареный мясной фарш с чем угодно, рыбный пирог. Последняя концепция неизвестно почему сильно удивила Боба. Он повторял: «Ух ты, РЫБНЫЙ пирог», пока я не попросила его перестать. Один раз я взяла его с собой в «Бетти Уайт» на Хай-стрит, и у него никак не укладывалось в голове, что в одном и том же магазине могут продаваться и рыба, и овощи. «Это... неестественно!» — сказал он. Впрочем, разведение рыбы на фермах он считал еще более неестественным.

А что будет, если я не уйду от Боба? Что, если наш черепаший забег в сторону любви и верности окончится у алтаря? Что будет, если я займу пустоту в форме жены, зияющую рядом с Бобом? Молодая жена. Мы купим стандартный домик постройки «Барратта» для молодой семьи — с сантехникой цвета авокадо и кожаным гостиным гарнитуром из трех предметов. Если у нас родится дочь (вот странная идея!), мы назовем ее

Апатией. Хотя нашим редким и скучным упражнениям в миссионерской позиции, кажется, недоставало страсти, чтобы породить на свет нечто настоящее и долговечное — ребенка. Даже по имени Апатия. К тому же Боб скорее станет сверяться с мистером Споком, чем с доктором Споком, и ему нельзя даже газонокосилку доверить, а не то что коляску с ребенком.

Я всей душой надеялась, что Боб — лишь репетиция, нечто вроде пробных отношений, как бывает пробный экзамен. Подготовка к настоящему. Потому что я всячески пыталась представить Боба в настоящей жизни, но видела его только в позе тюленя на кожаном диване — вот он смотрит «Джеканори», зажав в руке огромный косяк.

— Тебе только что звонили, — сказал он, рассыпая по ковру холодные желтые рисовые зерна.

— Кто?

— Не знаю. Какая-то женщина.

— Моя мать?

— Вроде нет.

Конечно нет. Что это мне в голову пришло. У Норы нет телефона. У нее и электричества-то нету.

— Она была... какая-то странная.

— Странная? В смысле, странно говорила?

— Так точно, капитан.

Мне никогда никто не звонил. Телефон у нас был только потому, что за него платили отец и мать Боба — Боб-старший и Сильвия: они хотели, чтобы у Сильвии была возможность время от времени напоминать Бобу, что ему нужно помыться и что не стоит есть на завтрак «Ангельский восторг».

По виду Боба ни за что нельзя было догадаться о том, что где-то в Эссексе у него есть более чем вмняемая семья. Он сам обычно отрицал этот факт, потому что она была апофеозом мещанского приличия. Меня странным образом привлекала семья Боба — Боб-старший, Сильвия, сестра Боба Черри и резвая лабрадорша Сэди: они жили той самой банальной, нудной, рутинной жизнью, о которой я всегда мечтала, ели жареную курицу, меняли постельное белье, по воскресеньям совершали скучные вылазки на семейной машине, ходили по ковролину с ворсом из натуральной шерсти, ездили отдыхать в Испанию, принимали гостей, наливая им напитки из бутылок, стоящих в баре. Для меня семья Боба была самой привлекательной его чертой.

Почти каждые каникулы мы проводили у них — в убаюкивающей атмосфере их дома в Илфорде, бесконечно более нормального, чем Норин

ветхий островной особняк. Боб во время этих визитов вел себя как обычно — спал большую часть дня, а потом весь вечер и часть ночи околачивался по дому, ожидая, чтобы родители ушли спать; после этого он забивал косяк и смотрел конкурс бальных танцев по телевизору.

Боб спал в своей прежней комнате — Сильвия очень старалась, но так и не смогла изгнать оттуда запах Боба-подростка: дурманящую смесь грязных носков, немытой крайней плоти, ночных поллюций и пронесенного контрабандой пива. Комната была по-прежнему оклеена обоями с рисунком на футбольную тему, и ее все так же украшали старые машинки Боба и мягкие игрушки гротескно-искаженной формы, любовно связанные для него Сильвией.

Меня же отправляли в ссылку в гостевую спальню — чтобы предотвратить «эскапады», как выражался Боб-старший. «Охота была», — выразился по этому поводу Боб-младший. Интерьер гостевой комнаты был несколько стерильным, но вполне милым, с разбухшими розами на обоях, вязаным тряпчонным ковриком на полу, свежескрашенными в цвет магнолии деревянными деталями и тонкими занавесками в цветочек, пропускавшими оранжевый свет газоразрядных уличных фонарей. Я проводила там долгие часы, поглощая по очереди все предоставленные гостям печатные материалы (старые выпуски «Нэшнл джиогрэфик», затрепанная Агаты Кристи, «Ридерс дайджест») и прислушиваясь к звукам хорошо поставленного хозяйства. Я не могла не думать о том, насколько счастливее было бы мое детство, будь моей матерью Сильвия. В сущности, я бы выросла совсем другим человеком. Вместо этого я в самые важные для развития характера годы подвергалась воздействию Норы, ее безалаберных привычек, ее философии *laissez-faire*^[56] («Ну, если не хочешь идти в школу, так и не ходи»).

— Я учила тебя пользоваться свободой воли, — обиженно говорит Нора.

Удивительно, что я получила хоть какое-то образование. Я кое-как продралась сквозь старшие классы приморских школ — последним пунктом нашего анабазиса стал городок Уитли-Бэй. Лишь посадив меня на поезд на вокзале в Ньюкасле, Нора уволилась из заштатной гостиницы и уехала к себе на родину, в летний дом Стюартов-Мюрреев.

— И что же сказала эта загадочная женщина? — спросила я у Боба.

Он пожал плечами:

— Ничего.

— Ну что-то она должна была сказать. Нельзя же сказать ничего.

— Она сказала: «Можно поговорить с Эвфимией?» — подчеркнул

терпеливо произнес Боб.

— А ты что ответил?

— Что здесь таких нет, конечно.

Боб страшно изумился, когда я объяснила ему, что Эффи — это уменьшительное от имени Эвфимия. «Ну, как Боб — от Роберта, понимаешь?» Он, кажется, обиделся, что я не сказала ему об этом раньше. И это человек, который первые несколько недель нашей связи думал, что меня зовут Ф. И., словно я некое сокращенно именуемое учреждение или завуалированная непристойность.

Никто никогда не называл меня Эвфимией. Никто, никогда в жизни. Кто же может знать меня под этим именем? Разумеется, только человек из моего стертого прошлого. Память Норы была подобна самой истории — неполная, склонная к ошибкам и забвению, — но ведь наверняка на свете есть и другие люди, которые помнят. Лучшая подруга, кузина, школьная учительница.

Позвонили в дверь. Это оказался Шуг. Он просочился в квартиру, уселся на диван и утонул в комиксе про Человека-паука.

— Я ненадолго, — пробормотал он, — мне надо бежать, у меня сегодня много дел, много встреч.

— Угу, а мне надо в сортир, — ответил Боб, словно в этом ответе был какой-то смысл.

Шугу, в отличие от Боба, всегда предстояли какие-то дела и встречи. Он вечно исчезал, отправляясь в загадочные поездки, выполняя таинственные поручения. То в Уитфилд «повидать кой-кого», то в деревню «прочистить мозги» (обычно с обратным результатом), то на юг на какой-нибудь музыкальный фестиваль. Во всяком случае, он так говорил. Как-то раз он повстречался мне в городе, одетый (как ни странно) в форму армейского резервиста, а другой раз я увидела, как он качает на качелях на Лужайке Магдалинина Двора ребенка лет двух или трех. Может, он вел двойную жизнь. Наверно, лучше предупредить Андреа, пока она не вляпалась в историю с двоеженством. Впрочем, зато в этом случае ей будет о чем писать.

— Мне надо работать над рефератом, — сказала я и ушла в спальню, поскольку было очевидно, что в присутствии Боба с Шугом мне покоя не видать.

В спальне было холодно, как в холодильнике, и мне пришлось надеть перчатки, которые мешали попадать по клавишам. Я печатала на древнем маленьком ундервуде с кривой буквой «т», из-за которой все напечатанное казалось шутивным и удивленным, хотя на самом деле это почти всегда

было не так. Мне, хоть умри, нужно было успеть к сроку. Марта хотела получить первый вариант «Мертвого сезона» к ближайшей пятнице, «а не то...». Я печатала с трудом, одним пальцем.

Мадам Астарти шла по набережной к своей палатке. Море сегодня утром было синим и бескрайним, так что не скажешь, где граница между ним и небом. Словно стоишь на краю бесконечности.

— Добрутро, Рита, — сказал рыбник по имени Фрэнк, пока мадам Астарти отпирала киоск.

Ларек Фрэнка был произведением искусства — селедки, выложенные в елочку, и колеса из трески с мутными рыбьими глазами. Сегодня на прилавке царил большой серебристый лосось с долькой лимона во рту и гирляндой петрушки вокруг шеи. Большинство людей называли мадам Астарти Ритой — ее это всегда удивляло, потому что на самом деле ее звали вовсе не так.

Киоск мадам Астарти стоял на самом бойком месте, между рыбным ларьком и бомбой. «Бомба» была торпедой времен Второй мировой войны, вделанной в бетон, с табличкой, перечисляющей погибших на войне жителей Моревилля. Торпеду, конечно, разрядили, но время от времени, сидя у себя в киоске в двух шагах от смертоносной груды металла, мадам Астарти задумывалась: в самом ли деле бомба умолкла навеки? Мертвая тишина.

— Слыхали про труп-то? — бодро спросил Фрэнк.

Из другой комнаты доносилась громкая невнятная музыка. Похоже на *Deep Purple*, но могла быть вообще любая группа с барабанщиком. Я слышала, как Боб и Шуг постепенно погружаются в травяные грезы. В своем фантазийном будущем они совместно владели процветающим предприятием по сбыту легких наркотиков и там целыми днями обсуждали тонкости приключений Удивительных братьев-придурков. Они декламировали друг другу нечто вроде наркоманской мантры: «Красный ливанский, синие точки, пакистанский черный, марокканский ноль-ноль, ТГК». Чтобы заглушить их, я надела теплые наушники, сделанные, увы, из кроличьего меха.

— О чем задумались, мадам Астарти? — сказал ей в ухо шелковистый голос.

Она слегка взвизгнула и подскочила.

— Вы меня до смерти напугали! — Она потерла трепещущее сердце

(точнее, место, где оно, по ее мнению, находилось, — на самом деле там располагалось левое легкое).

Лу Макарони засмеялся и приподнял шляпу (кажется, такая шляпа называется «федора», но мадам Астарти не была в этом уверена).

Лу Макарони заменял Моревиллю мафию. Конечно, он был не настоящий мафиози, но большинство горожан разницы не видело. Семья Макарони основала империю кафе-мороженох («Лучшие шарики на всем севере!»), полностью вытеснив конкурентов со всего северо-восточного побережья (или «Йоркширской Ривьеры» — на этом названии настаивал Вик Леггат, глава местного совета), а затем расширила свою деятельность, включив в нее залы игровых автоматов, лавочки по продаже рыбы с жареной картошкой и вообще все, что может дать прибыль.

— Слыхали? — спросил Лу Макарони. — В море нашли тело. Какой-то женщины.

Он явно был расположен остаться и поболтать, но мадам Астарти это пугало.

— Хорошо, ну что ж, мне пора, — сказала она, взясь с висячим замком, на который запирала свою будку. — Много дел, много встреч — сами знаете, как это бывает.

— О да, — засмеялся Лу. — Я и сам забегался, как последняя собака. «Бедная собака», — подумала мадам Астарти.

Наверно, я заснула, потому что в следующий миг меня разбудил звонок телефона. Похоже, в квартире больше никого не было. Я кое-как перебралась через остатки бирьяни с кошатиной, раскиданные по полу. Подняв трубку, я услышала пустоту — сосредоточенное отсутствие звука, должно быть таящее в себе несказанные слова и незадаанные вопросы. Потом раздался щелчок — на том конце повесили трубку, — и наступила мертвая тишина.

Я нашла записку от Боба. Кривым крупным почерком первоклассника он сообщал, что они с Шугом пошли на концерт Джона Мартина в «Новой столовой» университета. Телефон снова зазвонил. На этот раз я мгновенно схватила трубку. У меня в ухе загремел повелительный голос Филиппы Маккью, напоминая мне, что сегодня я должна сидеть с ее дочерью.

— Ты ведь не забыла?

— Нет, — вздохнула я, — не забыла.

Конечно забыла.

Что-то жирное в утесах

Море у мыса похоже на прокисшее желтое пиво, а солнце — анемичное, водянистое — мучительно ползет по ежедневной дуге через белую небесную кашу.

Я взяла бинокль покойного Дугласа и люблюсь видами с утесов, хотя смотреть тут не на что — разве на тюленей, которые буровят воду пролива. Черные головы прыгают на воде, как резиновые мячики. Время от времени далеко-далеко по мутному облаку воды и неба, которое в этих местах сходит за горизонт, скользит мимо корабль, словно сценический эффект в театре — картонный силуэт тянут через сцену на веревке, на фоне раскрашенного задника. Может, мы находимся на *insula ex machina*^[57], в искусственном месте, вовсе не принадлежащем к реальному миру? И его цель — служить фоном, задником для историй, которые мы должны поведать?

Мне кажется, я чего-то жду, но сама не могу понять чего. У меня такое ощущение, что я ждала всю жизнь. Ждала, чтобы меня кто-нибудь нашел — дед, что признает меня родней; дух отца, что явится и поведаст свою историю. Мое свидетельство о рождении, выданное в Обане (Нора безмятежно признается, что это фальшивка), сообщает, что отец «неизвестен». Аноним, который умудрился выскользнуть из памяти Норы. Человек, оставивший у нее столь изгладимое впечатление, что она даже имени его не запомнила. В детстве, когда я спрашивала, она говорила, что его звали Джимми, иногда — что Джек, а порой даже — Эрни. Вероятно, сошел бы и Том, Дик или Гарри.

— Это мог быть кто угодно, — упрямо говорит она.

— Но кем-то он должен быть!

Мертвые иногда забывают живых, а вот живые редко забывают мертвых. Однако в случае с моим отцом это не так. Половина меня отсутствует напрочь — следов моего отца не раскопает ни один криминалист. А раз так, я могу фантазировать невозбранно. Но, к несчастью, даже воображаемый отец покидает меня — то на борту корабля, то за рулем машины, то высунувшись из окна вагона (лицо скрыто дымом из трубы паровоза).

По одной случайной давней оговорке Норы я поняла: она росла и воспитывалась в совершенно иных условиях, нежели наше безденежное бродячее существование в «Орлиных гнездах» и «Приютах моряка». Мне

пришло в голову, что, может быть, я — плод тайной страсти. Может, Нору обрюхатил какой-нибудь злодей, случайный бродяга, конюх в конюшнях или цыган в лесу. И тогда разгневанный отец выставил ее из семейной усадьбы — пусть живет как хочет. Я представляла себе, как ее вышвырнули на холод, на свежесвыпавший снег, и захлопнули дверь, и она рождает меня, свою незаконную дочь, в какой-нибудь ветхой хижине.

— Это так было? — спрашиваю я в очередной, бесчисленный раз.

Нора задумчиво смотрит на меня.

— Не совсем, — говорит она.

Я мечтаю о том, что в один прекрасный день отец Норы, простив и раскаявшись, найдет меня и признает внучкой и наследницей. И вернет мне мое законное место в мире, где люди живут на одном месте, по ночам спят в собственных кроватях и избегают ненужных странствий. Конечно, жизнь состоит из странствий — нужных и ненужных, но, как мне кажется, ненужных все-таки больше.

Я жду, чтобы Нора подарила мне меня — рассказала о том, чего нет в моей памяти, о том, что было, прежде чем началась я сама.

— Ты можешь, например, начать с Дугласа, — подталкиваю ее я.

— С кого?

— С твоего брата.

Но она уже ушла — широкими шагами удаляется по утесам, в сторону дома.

Сегодня меня завербовали в няньки потому, что Филиппа и Арчи должны были идти на званый ужин к ректору университета. Прибыв в дом на Виндзор-плейс, я обнаружила Арчи на кухне — он торопливо заправлялся на случай, если у ректора не хватит еды и питья: глотал, не разогрев, «пастуший пирог», откопанный в недрах холодильника, и отчаянно булькал опивками выдохшегося бордо (памятка о «французском» семейном ужине) прямо из горла.

— Политика! — сказал он мне. — Тонкая игра! Мэгги Маккензи, между прочим, не пригласили. И мистера Парикма-Херра тоже. А этот Грант Ватсон, или как его там... эта лошадка даже на старт не выйдет.

— А как же профессор?

— Профессор... Кто?

Арчи дожевал «пастуший пирог», снова нырнул в холодильник и наконец выудил тарелку с остатками жареной курицы и брюссельской капусты. Работая нянькой у Маккью, я никогда не ела ничего из холодильника: он был полон загадочных объектов, причем некоторые я

знала в лицо, поскольку они жили там уже как минимум года два. Молочные продукты смердели. Странные жизнеформы кишели и размножались в широкогорлых банках. Филиппа, выпускница Гертона и преподаватель кафедры философии на полставки, вела хозяйство спустя рукава, и дом у нее зарос грязью.

Филиппа, тоже недавно укушенная мухой творчества, писала собственный роман — о любви доктора и медсестры («Палаты страсти»), героиня которого носила не очень правдоподобное имя Флик. Филиппа намеревалась отправить роман в издательство «Миллз и Бун». На кухне стоял огромный деревенский стол, который явно служил Филиппе рабочим местом, — он был завален бумагами, рефератами на проверку и учебниками. На всех бумагах виднелся неожиданно каллиграфический, как подобает философу, почерк Филиппы — в особенности на большой пачке листов в узкую линейку. Их окружала лихорадочная аура, — видимо, это и был тот самый роман.

Отдельные строки бросились мне в глаза — «...волосы цвета спелой пшеницы... глаза словно капли из бездонных глубин океана...» — и выпали дождем на пружинящий виниловый пол. В кухню прилепал Герцог, пес Маккью, ротвейлер. Его тяжелое тело в форме бочонка состояло из мышц и плотного жира. Герцог был сложен как профессиональный борец и проводил свои дни, умирая от скуки. Он помотал массивной головой, словно его донимал клещ в ухе, и еще несколько романтических словечек сорвались со страницы и рассыпались, как нить жемчужин.

Герцог понюхал пол, ища чего-нибудь съедобного (словами ведь не наешься): пол кухни всегда был покрыт напластованиями еды. Сегодня там обнаружилось сырое яйцо — кто-то уронил его и не удосужился за собой подтереть. Герцог слизнул яйцо одним движением языка, ловко обогнув скорлупу, тяжело сел, словно у него вдруг подломились задние лапы, и стал пускать слюни, глядя на куриную ножку, которую сейчас по-троглодитски глодал Арчи.

В общий хаос этого дома вносили свою лепту и животные. Это были, в порядке убывания размера, после Герцога: увесистая кошка Гонерилья; голландская крольчиха Доротейя; морская свинка Браммуэлл; и наконец, хомяк по имени Макпушкин. Макпушкины сменялись раз в два-три месяца: старого съедала Гонерилья, либо на него наступала Филиппа, либо на него садился Герцог (или то же в любой другой комбинации). Иные Макпушкины попросту собирали пожитки в защечные мешки и смывались, исчезая в недрах дома, так что теперь за обшивкой стен и под половицами

жило племя диких хомяков, ведя партизанскую войну с родом Маккью.

Очередной Макпушкин сейчас спал в гнезде из резаной газеты в клетке, что стояла в углу кухни. Клетка была водружена на шаткое основание: жестянку из-под набора шоколадных конфет «праздничного» размера (с архивом неразобранных магазинных чеков за пять лет) и «Страх и трепет» Кьеркегора.

В кухню скользнула Гонерилья и обвилась, подобно толстому мотку шерсти, у меня вокруг ног. Она была некрасивая, черно-белая (белый мех с годами обрел цвет мочи, как у старого белого медведя), из пасти у нее воняло дохлой рыбой, и к тому же она не отличалась опрятностью (видимо, переняла кое-какие привычки от хозяйки). Эта кошка не любила никого, но в особенности — Криспина, после прискорбного инцидента в его последний приезд (в инциденте фигурировали марка ЛСД и жестянка «киттикета»).

Арчи поставил тарелку в раковину, уже заваленную грязной посудой, подгорелыми противнями и жаропрочными стеклянными формами, покрытыми неаппетитным налетом от многих лет кулинарной деятельности Маккью. У раковины, на тусклой сушильной доске из нержавеющей стали, лежал огромный сырой лосось, будто ждущий патологоанатома.

— У нас будет вечеринка, — сказал Арчи довольно мрачно, указывая на лосося.

Лосось, судя по всему, не был любителем вечеринок: серебряные чешуйки, похожие на вечернее платье из ламе, сверкали в свете кухонных ламп, но мертвый глаз был тускл и недвижим. Из лосося на сушильную доску вытекала кровь. Кошка изо всех сил притворялась, что не видит рыбу.

— Да! — завопила вдруг Филиппа из коридора. — Эффи пусть тоже приходит.

Через несколько секунд она возникла в дверном проеме кухни с огромной банкой собачьих консервов в руках. От Филиппы слабо пахло лярдом. Увидев свою еду, Герцог тут же переключил мокрые изъяснения верности с одного из хозяев на другого и начал раболепно припадать к большим ступням Филиппы, словно слюнявый сфинкс.

— Тебе полезно будет пригласить на вечеринку нескольких студентов, — сказала Филиппа, обращаясь к мужу.

— Почему? — с сомнением спросил он.

— Потому что популярность у студентов пойдет тебе в плюс, — раздраженно объяснила она.

— Да? — Арчи, кажется, стал сомневаться еще сильнее.

— И приведи с собой кого-нибудь, — повелительно сказала мне Филиппа.

Из нее вышла бы хорошая леди Макбет: уж ее-то не смутили бы такие мелочи, как одно-два пятна крови.

Телосложением Филиппа очень напоминала Герцога, с той только разницей, что была одета — в нечто среднее между кафтаном и халатом. Она не удосужилась как следует застегнуться и демонстрировала мятый, растянутый лифчик, а также значительную часть мятой, дряблой груди. Халат доходил до середины икр, открывая небритые ноги — голые, несмотря на холодную погоду. Твердо стоящие на земле ступни были обуты в красные кожаные тапочки, словно сбежавшие от кого-то из Гриммов. Эффектные волосы барсучьей расцветки — черные, с ярко-белой прядью по всей длине — она сегодня заплела в косу, на манер индейской скво.

С Филиппой было тяжело общаться — она постоянно вгоняла собеседников в краску упоминаниями о менструациях, тампонах, губках и осмотрах у гинеколога; ее разговоры на эту тему звучали как инструкция по техническому уходу за автомобилем. Она служила столпом университетской группы борьбы за раскрепощение женщин и вечно призывала нас обследовать собственные гениталии с помощью ручного зеркала и не брить волосы на теле.

— Так... — сказала Филиппа, вместе с Арчи направляясь на выход; мы с разнообразными животными потащились за ней. — Эффи, если проголодаешься — еда в холодильнике, Мейзи сладостей не давать, заставь ее делать уроки, и чтобы никакого телевизора, только «Мир завтрашнего дня» — он расширяет кругозор, но потом пусть она сразу ложится. Если вдруг что случится, телефон ректора на столе.

Выговорившись наконец, Филиппа закуталась в огромное пончо в мексиканском стиле. Она по-прежнему сжимала в руках банку с собачьим кормом, и я подумала — уж не собирается ли она взять ее с собой на вечеринку вместо бутылки вина. Или просто хочет довести Герцога до безумия — о его душевном состоянии следовало судить не по застывшему на морде выражению смертельной собачьей скуки, но по количеству источаемых слюней.

Арчи тем временем любовался собой в зеркале в прихожей, приглаживая волосы и поправляя безвкусный галстук-селедку. Несмотря на сходство с крупным морским млекопитающим, Арчи считал, что нравится женщинам. И в самом деле нравился — непостижимо для меня. («Может, ты не женщина?» — предположила Андреа.)

— Конечно, я не признаю мещанской чепухи вроде вечеринок, — сказал Арчи, обращаясь ко мне через глубины зеркала, — это лишь средство достижения цели. — Наконец он привел себя в удовлетворительное состояние. — Так, я пошел. Не позволяй сама-знаешь-кому ездить тебе по мозгам.

— Кому?

— Ну ты знаешь, — сказала Филиппа. — Старой кобыле.

Во всяком случае, так это прозвучало. Уже на полпути от дома к проезжей части она вдруг повернулась, крикнула: «Лови!» — и броском снизу швырнула мне собачьи консервы. Филиппа когда-то была капитаном крикетной команды Челтнемского женского колледжа. В каком-то смысле она им и осталась.

Мейзи в гостиной смотрела старую серию «Монти Пайтона». Я извлекла из сумки «Фрут энд нат», разломала пополам и поделилась с Мейзи. Шоколадка содержала в себе продукты из нескольких пищевых групп и не была осквернена контактом с кухней Маккью.

— Спасибо, — сказала Мейзи, засовывая в рот почти сразу весь кусок.

Девятилетняя Мейзи, самая нормальная из всех Маккью (во всяком случае, в некоторых отношениях), была некрасивая, с прямыми волосами, тонкими руками и ногами и математическим складом ума. Мне показывали фотографии свежеснесенной Мейзи в перегретой атмосфере родильного отделения Королевской больницы Данди. Мейзи лежала в прозрачном кувезе, напоминающем пластмассовый контейнер для пищевых продуктов, только без крышки. Она походила на маленькую тушку млекопитающего, освежеванную, если не считать клочка мышинных волос на голове. Даже шести часов от роду она уже казалась необъяснимо старой.

Полное имя Мейзи было Мейзи Офелия. По-моему, не стоит называть детей именами людей, которые плохо кончили. Даже если эти люди — литературные персонажи. Это ничего хорошего не предвещает бедняжкам. На свете слишком много Тэсс, Джудов, Кларисс и Корделий. Если уж приспичило назвать ребенка в честь книжного героя, выбирайте хотя бы героя со счастливой судьбой. Конечно, это правда, что таких найти гораздо сложнее. (Мейзи предложила имена Крыс и Крот.)

— Тебе уроки задали? — спросила я.

— Не-а, — ответила она, не отрывая глаз от телевизора.

— А мне — да, — мрачно сказала я и вынула из сумки томик Джордж Элиот.

Я начала писать — очень медленно: «Мнение Джеймса о том, что

„Мидлмарч“ неинтересен как целое, опровергается даже при поверхностном чтении романа. Напряженность фраз, работа характеров, тщательное тематическое структурирование, сбалансированность, иллюзия автогенеза не могут не впечатлить читателя. Параллельность событий и моральных последствий...» Видимо, тут я уснула, потому что в следующий миг меня внезапно пробудил дикий вопль. Я не сразу поняла, что его издал телевизор, а не кто-либо из разнообразных обитателей дома.

Мейзи ушла с головой в просмотр какого-то черно-белого фильма ужасов. Кричала героиня — высокая блондинка с волосами, уложенными идеальной «улиткой». Как выяснилось, ее звали Ирма. Она поняла (отнюдь не сразу), что харчевней, где она остановилась на ночь, управляет вампир. Хотя название должно было навести ее на некоторые мысли: «Замок Влада» — это все-таки совсем не то, что «Прибой» или «Сосновая роща».

— Она ужасно тупая, — восхищенно сказала Мейзи.

Я попыталась изменить позу. Мне было жутко неудобно: на моих ступнях всей тушей устроился Герцог, а на коленях у меня, свернувшись, как злое нэцке, лежала Гонерилья. Мало того: с одного боку в меня впивалось костлявое тело Мейзи, а с другого — крепко спала совершенно незнакомая старуха, неловко свесив голову мне на плечо.

Кожа старухи имела текстуру и цвет маршмеллоу, а волосы ее при плохом освещении (в доме Маккью оно всегда было плохое) напоминали пук слегка подгнившей сахарной ваты. Даже во сне она не переставала сжимать в руках вязальные спицы, с которых свисало что-то странное и бесформенное — будто паутина работы упоротого паука. Она спала так мирно, что жаль было ее будить.

— Мейзи! — шепнула я.

— А?

— С нами сидит какая-то старуха.

Мейзи оторвала глаза от телевизора, перегнулась через меня посмотреть и сказала:

— Это же бабушка.

— Бабушка?

— Папина мама.

(Это почему-то прозвучало очень сложно.)

Но ведь она должна быть в Ньюпорте-на-Тее, в «Якорной стоянке», любоваться видом на воду?

— Она сбежала, — объяснила Мейзи.

Поглядев повнимательней на миссис Маккью, я поняла, что где-то ее видела. Кажется, она была сегодня днем в кучке скорбящих на похоронах

Сенги, хотя Андреа считает, что все старухи похожи друг на друга. Миссис Маккью проснулась и автоматически начала вязать. Через некоторое время она остановилась, вздохнула, поглядела на меня воспаленными глазками с желтыми белками и сказала:

— Чайку хочется, умираю просто.

Она, кажется, принадлежала к желтушной части спектра — белки глаз у нее были цвета обертки «Милки бар», а лошадиные зубы напоминали пустые костяшки «Скрэббла».

Мне показалось неприличным оставить ее просьбу без ответа. Я сгрузила Герцога со своих ног — нелегкая работа, — согнала Гонерилью с колен как можно нежней (чтобы избежать ее укусов) и наконец выбралась из тесного ущелья, образованного телами Мейзи и вдовствующей миссис Маккью. Они тут же сдвинулись, занимая освобожденное мной место.

Пока закипал чайник, я пошла в туалет...

— В одной и той же фразе? — протестует Нора. — Ты с самого начала только и говоришь что о телефонах, да кипящих чайниках, да звонках в дверь, да туалетах.

Не обращай на нее внимания, она сегодня не в духе. Она просто тянет время, не хочет сама рассказывать.

...Мой путь пролегал мимо незанятой спальни, где Арчи устроил себе кабинет. Из спальни доносился странный звук, тихое «прп-прп», словно там храпел котенок. Обуреваемая любопытством, я заглянула внутрь.

Это оказался юноша — точнее, молодой мужчина. Он лежал на кровати неподвижно, как труп. Весьма достойный представитель своего пола — правильной формы и размера, без каких-либо портящих его черт или уродующих пятен. Только шрам (весьма красивый его) на левой скуле, словно тигр осторожно провел когтем. Если бы не храп, можно было бы подумать, что юноша мертв.

Я ломала голову, кто это (как было бы удобно, если бы людей снабжали этикетками). Волосы у него были темные, кожа белая, ресницы длинные, а губы — которые, несомненно, сам Купидон изваял в форме своего лука, чуть влажные от сна — манили к поцелуям. Но я не поддавалась искушению, так как это значило бы искать неприятностей (вместо того, чтобы сидеть спокойно и ждать, пока они сами меня найдут).

Он лежал на застеленной кровати поверх покрывала. Ступни его были обнажены, но все остальное тело одето — в «ливайсы», старый свитер и потрепанную кожаную косуху (она указывала на более сложный и интересный характер, чем армейская шинель Боба или дубленка Шуга). Я осмотрела его уши (чистые, похожие на ракушки), ногти (грязные,

обкусанные), слабый приливной след грязи на шее, масло, ввевшееся в руки, как у механика. Его дыхание чуть заметно отдавало марихуаной.

Пахло от него именно так, как должен пахнуть платоновский идеал мужчины. По сравнению с улитками, ракушками и зелеными лягушками, составляющими биодинамику Боба, этот парень, похоже, состоял исключительно из ингредиентов на основе тестостерона: кожаных сидений автомобиля, острейших опасных бритв, веревок, узлов и пут, соли, грязи и крови. Он был весь... другой.

Интересно, подумала я, какого цвета глаза под этими роскошными сонными веками. Конечно, почему я знаю — может, он косой или еще хуже того — голубоглазый. Я подумала, не поднять ли одно из коматозных век силой, но решила, что не стоит. Можно ли определить характер по внешности? Выглядел он просто потрясающе, но мог принадлежать к любой из сотни разновидностей мужчин, с которыми лучше не связываться. Например, он мог оказаться университетским преподавателем. А может, он вор, который влез в окно, вдруг устал посреди кражи и прилег отдохнуть. Случаются ведь и еще менее вероятные вещи.

Окно было широко распахнуто — температура в комнате близилась к нулю. Ноги неизвестного уже посинели и стали ледяными на ощупь — словно холодная плоть трупа, а не конечности теплого, дышащего тела. Я торопливо прикрыла незнакомца одеялом. Он спал на спине, раскинув руки и ноги, как дохлая морская звезда. Правда, у него было меньше ног. (Или рук, или что там бывает у морской звезды.) По его виду непохоже было, что у него невинная встреча с Оле-Лукойе. Скорее казалось, что он застрял в царстве Угомона без карты и компаса и не может вернуться. Я решила посидеть с ним чуть-чуть, посторожить его, но, к сожалению, вид спящего мужчины, даже красивого, в конце концов надоедает, и я скоро отвлеклась на толстую пачку исписанных листов, торчащую из-под кровати.

Края многих страниц были изгрызены какими-то мелкими животными, — видно, клан Макпушкиных постарался. Судя по титульной странице, это было не что иное, как великий роман Арчи «Расширение призмы Дж.».

— Ну что ж, — сказала я спящему, — не вижу большой беды в том, чтобы просто взглянуть.

Как известно, каждый произносящий эти слова рано или поздно о них жалеет (Пандора, любопытная Варвара, Лотова жена, все жены Синей Бороды и огромное количество других людей).

«Расширение призмы Дж.» оказалось романом без сюжета и четко очерченных персонажей (и, конечно, без картинок). Даже простейшие

детали вязли в напластованиях синтаксиса. Читать прозу Арчи было все равно что искать смысл в клее. Насколько я могла понять, Дж., упомянутый в названии романа, преподавал в университете — учреждении, по сложности не уступающем Борхесову лабиринту. У самого Дж. не было сколько-нибудь постоянного характера: он складывался из многих слоев малопонятных метафор и отчужденных реплик в сторону. Я продралась через лес слов на первых страницах. Сначала мне показалось, что Дж. едет на трамвае по какому-то городу Центральной Европы, но чуть позже до меня дошло, что на самом деле он совершает некий извращенный акт с болонкой своей любовницы. Меня слегка подташнивало, — может, слова Арчи ядовиты? Может быть, заглянув под кровать, я обнаружу там мертвых маленьких зверушек?

Несмотря на обилие слов, в романе вроде бы ничего не происходило, хотя через некоторое время одолевающая Дж. паранойя начала создавать нечто вроде миражного сюжета: словно что-то должно было случиться с минуты на минуту, но никак не случалось. Типичный абзац (они на самом деле очень мало отличались друг от друга) выглядел так:

Дж. ощутил тончайшую неуверенность, пытаясь понять, в какой из сумрачных проходов удалился его предполагаемый мучитель. Он позволил своему воображению на краткий миг заглянуть в эту тьму, и пусть будет что будет, но отпрянул от внезапно открывшегося ему зрелища — не отчаяния и безумия, как он ожидал, но летаргии и нервного истощения, царивших там. Теперь он в полной мере осознал, до какого чудовищного ужаса довели его все эти игры разума, и принялся размышлять...

И так далее и тому подобное. Неудивительно, что юноша на кровати спал так крепко — ведь все это время он вдыхал навевающие сон слова Арчи. Внезапный порыв ветра приподнял занавески, окатил комнату холодом, взъерошил рукопись страниц Арчи, и несколько штук поднялись в воздух, как осенние листья. Я подскочила и принялась гоняться за ними по комнате. Мне удалось поймать все, кроме одной — она безмятежно выплыла из окна, как бесптичье крыло.

Я попыталась снова собрать рукопись в правильном порядке, но страницы, как назло, были не пронумерованы, и я никак не могла понять, что за чем идет. Текст в этом никак не помогал. Я просмотрела по диагонали страницу, которую держала в руках, и обнаружила, что на ней героя подстерегает насильственная смерть. Он стоял наверху лестницы, прислонившись к перилам, а они вдруг подались, и он полетел вниз, в темные глубины лестничного пролета...

Он падал, падал в темные глубины неизвестной и непознаваемой

пропасти, в провал своего собственного воображения, который поднимался ему навстречу — обнять, сдавить, придушить, и темнота объяла его, обозначила его границы, приглушила чувства и, наконец, загасила даже слабейшие проблески сознания и размышления...

Я истолковала это в том смысле, что он умер. Я не знала, куда сунуть этот лист — с Арчи станется убить главного героя на пятидесятой странице. В конце концов я сложила листы как попало и засунула до упора под кровать.

Еще один порыв ледяного ветра. Тело на кровати вздрогнуло. Я поплотнее укутала его одеялом и закрыла окно...

— Гораздо разумней было бы сделать это с самого начала.

Уж кто бы говорил о разумных поступках, только не Нора. В этот момент она сама стоит на камне, который со всех сторон облизывают волны наступающего прилива, — словно пытается повелевать морем.

Из окна был виден мост — по нему как раз ехал поезд. Яркий фонарь паровоза отмечал его движение от темных, неосвещенных берегов Файфа над еще более черной водой, словно он шел как вестник из иного мира. Я задернула занавески.

К тому времени, как я вернулась на кухню, чайник почти весь выкипел, и мне пришлось начинать приготовление чая с самого начала...

Нора картинно изображает скуку.

...под пристальным взглядом нынешнего Макпушкина, который стоял на задних лапках, сжимая прутья клетки крохотными розовыми ладошками. Щеки у него оттопыривались, набитые едой, а вид был необычно бодрый, словно хомяк замыслил большой побег. Я заметила, что у лосося, ранее совершенно целого и не оскверненного ничем (за исключением смерти), теперь выгрызен большой кусок из бока. По-хорошему надо бы положить его в холодильник — еще один день, до вечеринки, он точно не протянет. Я прямо видела микробов, которые радостно готовились пировать на его серебристых боках. Отвернувшись от лосося, я заметила за столом еще одну старуху. Они что, делением размножаются?

Эта старуха при виде меня слегка вскрикнула и схватилась за грудь.

— Ох, как ты мя напужала, — сказала она.

Старуха была маленькая, как ореховая соня, и почти идеально шарообразной формы, — пожалуй, ее можно было бы докатить с одного края кухни на другой. Она кое-как встала со стула, опираясь на ходунок, и представилась: «Миссис Макбет». Я предположила, что она подруга миссис Маккью, вместе с ней совершившая побег из «Якорной стоянки».

За миссис Макбет плелась собака — старый жирный вестхайленд-

терьер. Кажется, она передвигалась с таким же трудом, как ее хозяйка. Шкура собаки от старости приняла изжелта-белый цвет, а вокруг рта словно проржавела. Зубы были такие же желтые, как у миссис Маккью. Вообще собака была на нее как-то странно похожа. Пожилые глазки — один карий, другой с бельмом — уставились на меня с безропотным смирением.

— Ее звать Джанет, — сказала миссис Макбет. — В «Якорной стоянке» животных нельзя, но не могла ж я ее бросить, свою подружечку, после стольких лет.

Она вздохнула, и Джанет, кажется, тоже вздохнула — у нее внутри засипело, как в мехах крохотного аккордеона.

— Так вы ее прячете? — спросила я, воображая, как сложно прятать собачку.

— Ага, и чего только нам не приходится делать, — согласилась миссис Макбет. — Какушки, конечно, хуже всего.

Парочка увязалась за мной в гостиную. Миссис Макбет настояла на том, чтобы нести коробку пирожных, несмотря на ходунки. Старая собака тащила за ней. Герцог при виде пожилой терьерши сделал над собой усилие, встал из позы дохлого пса, в которой медитировал на полу, и с нелепым энтузиазмом обнюхал бедную Джанет под хвостом.

— А кто это у вас в свободной спальне? — спросила я у Мейзи.

— Фердинанд.

— Фердинанд? Твой брат Фердинанд? Я думала, он в тюрьме.

— Его выпустили досрочно за хорошее поведение, — ответила Мейзи, не отрывая глаз от телевизора, где показывали теперь что-то вроде чемпионата по керлингу.

— Ирма сбежала из «Замка Влада» и уехала домой, — услужливо сообщила мне миссис Маккью. — Фердинанд на самом деле хороший мальчик.

Она ласково закивала, как уличная торговка сладостями. Пожилая собачка тяжело плюхнулась на бок и немедленно заснула, дыша со странным скрипом.

Миссис Маккью, хмурясь, разглядывала внутреннюю сторону своей чайной чашки. У ее ног стояла большая мешковатая сумка из чего-то вроде плащевки. С виду похоже было, что там лежит дохлое животное среднего размера — возможно, гиена. Но когда миссис Маккью перевернула сумку, из нее вывалилось все, что только можно себе вообразить, кроме разве что гиены. В конце концов миссис Маккью нашла искомое — носовой платочек, крохотный, кружевной, расшитый лиловыми колокольчиками, —

и яростно протерла им чашку.

— Жуть что за неряха эта женщина, всюду-то у ней грязь, — сказала она, обращаясь к миссис Макбет, которая слегка вздрогнула и отозвалась непонятно-загадочно:

— Дар.

— Я чайная душа, страсть просто, — призналась миссис Маккью, нетвердой рукой разливая чай из тяжелого коричневого чайника.

— А я-то, — согласилась миссис Макбет.

— А почему Фердинанд сидел в тюрьме, если он такой хороший мальчик? — не отставала я.

Миссис Маккью пожала плечами:

— Кто знает? Вот славный чаек вышел! — Последние слова были обращены к миссис Макбет. Миссис Маккью умудрялась одновременно пить чай, вязать и читать газету.

— Его приняли за другого человека, — сказала Мейзи с полным ртом кекса.

Миссис Маккью снова полезла в свою сумку из плащевки и достала большой пакет печенья в глазури. Оно оказалось размякшим, но мы все равно стали его есть. Затем она достала пачку сигарет «Плейерс № 6» и пустила ее по кругу.

— Я курю только ради купонов, — сказала она, выбивая из пачки сигарету для миссис Макбет.

— Не откажусь, — сказала миссис Макбет, и обе закурили.

Мейзи подчеркнуто закашлялась. Миссис Маккью снова нырнула в сумку, выудила пакетик леденцов от кашля и вручила внучке.

— Чего там только нет! Разве что кухонной раковины, — сказала миссис Макбет, одобрительно кивая на сумку.

Стоило мне сесть, как Гонерилья тут же снова прыгнула мне на колени и принялась месить когтями мою грудь. Она была необычайно увесиста. Попадись она таразантйцам, они, пожалуй, поместили бы ее на хранение в банковский сейф. Только мы уселись поудобней, и тут внезапно (как же еще?) раздался звонок в дверь. Это вроде бы заурядное событие мгновенно спровоцировало хаос — Герцог с лаем помчался к двери, по дороге наступив на Джанет, опрокинув кувшин с молоком и напугав Гонерилью, которая, спасаясь от страшной угрозы, рванулась с моих коленей на колени матери Арчи, которая, в свою очередь, пискнула от ужаса и упустила целый ряд петель на своей бесформенной паутине. Хорошо еще, что в доме не было младенца, а то он непременно проснулся бы и обеспечил традиционный финал этой цепочки событий.

После такого тарарама я несколько обиделась, когда за дверью никого не оказалось. Улица была тиха и пустынна — даже Безымянного Юноши на ней не наблюдалось, лишь выли ветры и рушился ледяной дождь.

Стоило мне сесть, как в дверь опять позвонили. Какая докука.

— Я пойду, — настояла миссис Макбет, титаническим усилием извлекла себя из кресла и вместе с ходунками потащилась к двери.

Обратно она прихрамала в обществе совершенно промокшего Кевина — его волосы, похожие на стог сена, сникли и слиплись. С обеда он успел вырастить огромный прыщ посреди лба, гневно алеющий, похожий на метку индийской касты.

— Что ты тут делаешь? — спросил он вместо приветствия.

— Смотрю за ребенком, — сказала я.

Строго говоря, это не было правдой, так как я весь вечер смотрела куда угодно, но только не за ребенком. Кевин последовал за мной в гостиную и сел — ему явно было не по себе в присутствии такого количества женщин на разных стадиях жизни. Он уставился на ступни миссис Маккью, обутые в боты «прощай, молодость» с прочными молниями. Миссис Маккью глянула на собственные ноги, стараясь понять, что в них может быть интересного.

— Вот это пупырь у тебя, сынок! — восхищенно сказала миссис Маккью.

— Спасибо, — ответил, не поняв, Кевин.

Чтобы скрыть замешательство, он высморкался, трубным звуком напугав и без того расстроенную кошку, а затем тяжело уложил свои акры плоти в кресло (вот так гибнут ни в чем не повинные хомячки). Мейзи вытянула шею, чтобы разглядеть детали игры в керлинг на экране телевизора, теперь частично скрытом тушей Кевина.

— Я пришел поговорить с доктором Маккью, — сказал Кевин, разглядывая содержимое своего носового платка.

— Его нет.

— Я вижу.

Как и абсолютно все, кого я знала, Кевин хотел выпросить отсрочку для своей дипломной работы (посвященной, разумеется, «Властелину колец»).

— Я слишком много времени проводил в Эдраконии, — сказал Кевин. При одном звуке этого имени по его лицу прошла мечтательная тень. — Драконы собирают силы для того, чтобы противостоять мятежу.

— Драконы? — эхом отозвалась миссис Макбет, испуганно оглядев комнату.

— Не бойтесь, их только Кевин видит, — успокоила ее я.

Кевин в это время ел горстями глазированное печенье — такое бездумное пожирание пищи наверняка расстроило бы Андреа.

— Слушай, объясни мне кое-что, — сказала я. Эдракония меня интересовала, что было непонятно и неприятно мне самой. — Я не могу понять. Драконы — они плохие или хорошие?

— Ну, понимаешь, — начал серьезно объяснять он, — с исторической точки зрения у драконов Эдраконии есть собственная система этики. Но не следует забывать, конечно, что эта школа моральной философии основана на природе драконов, и обычные смертные — вот как ты, например, — не смогли бы распознать в ней концепции «добра» и «зла», которые для драконов...

— Спасибо, Кевин, хватит.

Когда Кевин сообщил миссис Маккью и миссис Макбет, что он «писатель», они почему-то пришли в восторг и стали просить его почитать что-нибудь. Кевин всегда носил свои произведения с собой, словно бумажные талисманы.

— Ну... — с сомнением произнес он, — я сейчас на середине главы, и это четвертая книга в серии. Не знаю, будет ли вам понятно, что происходит.

— Не важно, — сказала миссис Макбет. — Начало, середина, конец — какая разница?

У Арчи на семинаре она точно получила бы хорошую оценку.

— Ты расскажи нам кратенько, — уговаривала миссис Маккью. — Ну, знаешь — действующие лица, сюжет в двух словах, и мы живо разберемся.

— А там есть мораль? — спросила миссис Макбет.

— Ну, во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти, — сказала я.

Кевин колебался.

— Ты просто начни с начала, — улещивала его миссис Маккью.

— И продолжай, пока не дойдешь до конца. Как дойдешь — кончай! — добавила миссис Макбет.

Ознакомив нас с кратким содержанием предыдущих серий («Ибо Сумрак воистину падет на землю, и Зверь Гриддлбарт будет рыскать по ней, и драконы обратятся в бегство»), Кевин уселся поудобней и принялся читать зловецким голосом (впрочем, эффект был не столь разителен из-за его акцента, наводящего на мысль о деревенской сметане):

— Герцог Тар-Винт из Малкарона вскочил на своего верного боевого коня Демаала и укрепился духом, ибо ему предстояло долгое путешествие.

Его верный оруженосец Ларт ехал рядом на косматом буром пони — этих пони разводили в Галинфских горах, и они воистину славились тем, что никогда не спотыкались на крутой тропе.

— А горы — хорошее место, чтобы разводить пони? — задумчиво спросила миссис Маккью.

— Тех, что не спотыкаются на крутой тропе, — безусловно, — раздраженно ответил Кевин. — Можно продолжать?

— Да-да, сынок.

— Ларт помог своему хозяину Тар-Винту облачиться в бронзовые доспехи, ибо они на протяжении поколений передавались владельцами Малкарона от отца к сыну...

— А так разве говорят? — поинтересовалась Мейзи, хотя я могла бы поклясться, что она вовсе не слушала, всецело погружившись в ночную учебную передачу по валлийскому языку. Она безмолвно, одними губами повторяла непригодные и непонятные слова.

— Не знаю, — нетерпеливо ответил Кевин. — Мыслями Тар-Винт был в великом дворце Калисферон, с леди Агаруитой, ибо он тайно обручился с ней, несмотря на противодействие ее матери леди Тамарин...

— Ага... как? — переспросила миссис Макбет.

— Агаруита. А-га-ру-и-та!

Интересно, подумала я, сколько времени Кевин тратит, изобретая эти нелепые имена. Наверно, много. (А с другой стороны, может быть, всего ничего.)

— Милорд! — крикнул, задыхаясь, торопливо подскакавший всадник. Тар-Винт узнал лорда Вега, чьи земли простирались от реки Волорон до провинций Селентан и Джгадрил. Лорд Вега заломил бархатную шапочку с единственным пером и прищпорил коня...

— «Заломил», — повторила миссис Маккью, — вот странное словечко, а?

— Оно звучит... исторически, — сказала миссис Макбет. — Нынче такое слово не часто услышишь.

— Это потому, что мужчины перестали носить шляпы. Вот раньше у шляп даже имена были — трильби, федора... — объяснила миссис Маккью, обращаясь к Мейзи.

— ...хомбург, — подхватила миссис Макбет, — «пирожок».

— «Пирожок»? — с сомнением повторил Кевин.

— Да-да, — подтвердила миссис Маккью. — Борсалино, котелок, а летом — канотье.

— Заломил, — мечтательно повторила миссис Макбет. — Заломил,

заломил, заломил. Чем больше повторяешь, тем более по-дурацки оно звучит.

— Хорошая вышла бы кличка для собаки — Заломай, — сказала миссис Маккью, глядя на Джанет, которая шумно спала у ног миссис Макбет.

— Позвольте, я все-таки... И пришпорил коня, направляясь...

Я задремала. Мне гораздо больше нравилось, когда Кевин писал о драконах.

Когда я проснулась, его уже не было.

— Вот придурок, — сказала Мейзи.

— Да, малой с присвистом, — согласилась миссис Маккью.

Я завела невинную светскую беседу («Так вы всегда жили в Ларгсе, миссис Маккью?»), и матушка Арчи пошарила в лоскутной памяти и пустилась рассказывать историю своей жизни — судя по всему, не особенно примечательную: разбитое сердце, утраченное дитя, смерть, предательство, одиночество, страх. Конечно, она излагала сокращенную версию, иначе нам пришлось бы ее слушать в течение семидесяти с хвостиком лет. Наконец она встала на приколе в «Якорной стоянке», и мы вместе с ней.

Очень скоро и миссис Макбет принялась повествовать о своем жизненном пути — она была прядильщицей джута на фабрике на Денс-роуд, и когда первый раз собралась выйти замуж, жених оставил ее «прямо у алтаря». Почему это у всех, кроме меня, жизнь такая интересная и насыщенная?

— Не будь в этом так уверена, — говорит Нора.

Когда миссис Макбет входила в церковь в полном великолепии свадебного наряда, под руку с отцом, ее жених уже плыл в Канаду на корабле вместе с другими эмигрантами. Миссис Макбет грустно покачала головой и сказала, что так и не оправилась от этого коварства.

— Хотя я утешаюсь тем, что он уж давно помёр, — сказала она, задумчиво разглядывая печенье в глазури. — А я вышла за мистера Макбета, и мы были очень счастливы вместе.

«Мистер Макбет». Как странно это звучало — словно сам кавдорский тан решил оставить честолубивые устремления, поселился в пригороде и начал зарабатывать себе стаж для пенсии.

— Все это как будто вчера было, — печально закончила она.

— Да, в душе ведь не стареешь, — сказала миссис Маккью. — В душе мы все маводеньки.

— А сколько вам лет в душе? — спросила Мейзи.

— Двадцать один, — сказала миссис Маккью.

— Двадцать пять, — сказала миссис Макбет.

— Лично мне — не меньше сотни, — говорит Нора.

Но относитесь с пониманием к моей матери — она прожила очень странную жизнь.

Судя по всему, стоит старухам начать, и их уже не остановишь, — наверно, к старости у человека накапливается большой запас тем для разговора (целая жизнь, в сущности). Через некоторое время я отключилась, и убаюкивающие голоса старух словно скользили у меня над головой. Я толком не слушала, что они говорят. Они обсуждали обитателей «Якорной стоянки» — мисс Андерсон («сварливая бабуся»), миссис Робертсон («славная бабуся») и Билли («бедняжечка»). Оказалось, что многие из этих людей страдают весьма странными навязчивыми идеями. Мисс Андерсон, например, страшно боялась, что ее похоронят заживо, а Билли был уверен, что его мертвое тело украдут в неизвестных, но неблагоприятных целях. Саму миссис Макбет, как выяснилось, волновало, что никто не проверит, действительно ли тело в гробу принадлежит ей, и вместо нее похоронят другого (я бы решила, что это хорошо, а не плохо).

— Примут за другого человека, — сказала она.

Какие-то мрачные настроения царили в доме с видом на воду. По словам миссис Маккью, там кто-то убивал стариков.

— То есть они не от старости умирают? — уточнила я.

— Нет, — небрежно сказала миссис Маккью, опасно размахивая спицами. — Я точно знаю, что меня хотят убить.

— О да, — бодро отозвалась миссис Макбет. — Меня тоже.

Я вспомнила, что сегодня утром (каким бесконечно долгим оказался этот день!) профессор сказал мне те же самые слова.

— Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не охотятся, — сказала я, обращаясь к миссис Маккью; она ответила встревоженным взглядом.

— Кто же пытается тебя убить, как ты думаешь? — Мейзи наконец нашла тему, которая для нее была интересней телевизора. — Папа?

Миссис Маккью засмеялась.

— У твоего отца кишка тонка для этого, — нежно сказала она.

— Поглядеть только, что случилось с бедняжкой Сенгой, — горестно покачала головой миссис Макбет.

— Лицо как вязальный крючок, но бабка-то была безвредная, — согласилась миссис Маккью.

— Вы правда думаете, что ее убили? — Голос Мейзи дрожал — так захватила ее эта тема.

Но в критический момент нас прервали (естественно): в замке входной двери повернулся ключ, вызвав обычную какофонию лая, шипения и упущенных петель. Миссис Маккью склонила голову набок (Джанет сделала ровно то же самое) и сказала: «Это они», так что я на миг решила, будто за ней пришли воображаемые убийцы, и лишь потом взяла себя в руки и поняла, что это Арчи и Филиппа вернулись от ректора.

Герцог потопал их встречать, а Мейзи вихрем взлетела на второй этаж к себе в комнату и нырнула под одеяло, всячески изображая девочку, которая спит уже несколько часов, вообще не смотрела телевизор, не ела никаких сладостей и сделала все уроки. Мы же приняли позы участников игры в шарады, изображающих слово «трудолюбие»: я схватила ручку с бумагой и нахмурила лоб, миссис Маккью прибавила пару петель к своему загадочному вязанью, а миссис Макбет извлекла откуда-то желтую тряпочку для пыли и принялась тереть лампу, что стояла на столике рядом с ее креслом.

Филиппа сразу пошла наверх, а Арчи — глаза у него остекленели от выпитого — с трудом пробрался через дверь в гостиную.

— Приятно видеть, что ты наконец взялась за работу, — сказал он мне. Потом нахмурился и обратился к матери: — Ты все еще здесь? Последний автобус уже ушел, между прочим.

— Ах, сынок, — ласково сказала миссис Маккью.

Со второго этажа, стуча красными тапочками, спустилась Филиппа.

— Спит как младенец, — объявила она.

— Кто? — Арчи слегка встревожился — возможно предположив, что Филиппа, забежав наверх, родила очередного Маккью.

— Фердинанд, — сказала Филиппа специальным тоном, которым обычно разговаривала с людьми, не способными постигнуть логику сложных предикатов.

— Ну, как старушка себя вела? — спросила Филиппа у меня, словно миссис Маккью не присутствовала в помещении. — И ее подружка, — добавила она, с сомнением взглянув на миссис Макбет.

Миссис Макбет плюнула на тряпку и принялась тереть лампу с такой силой, словно хотела вызвать джинна.

— Мне пора домой, — торопливо сказала я.

Мне очень хотелось узнать побольше про красивого уголовника, спящего наверху, но я понимала, что для одного дня впечатлений явно хватит.

— Приходи нас повидать, — сказала миссис Маккью. Миссис Макбет энергично закивала, и миссис Маккью выразительно добавила: — В темнице.

— «Якорная стоянка» — очень хорошее место, — сказала мне Филиппа. — О нем очень хорошо отзывался Грант... или Ватсон... или как его... — подружка нашей старушки приходится ему тещей.

— Ну да, засранцу-то, — добродушно согласилась миссис Макбет.

Миссис Маккью и миссис Макбет казались чересчур бодрыми для того, чтобы засовывать их в дом престарелых, но Филиппа, словно прочитав мои мысли (чудовищная перспектива), сказала:

— Ты знаешь, они вовсе не такие бодрые, как кажется. С ними вечно что-то случается. Наша старушка постоянно падает и ломает себе что-нибудь. Мы и решили поселить ее там, где за ней будут приглядывать, пока она совсем не развалилась.

— Вот спасибо, — сказала миссис Маккью.

Миссис Макбет и миссис Маккью махали мне из дверей гостиной. Миссис Макбет после некоторых усилий взгромоздила Джанет к себе на руки и теперь махала ее лапой, словно кукольник рукой марионетки. Арчи дошел до двери вместе со мной, заняв почти всю ширину коридора, так что мне пришлось протискиваться мимо. Обычно он выбирал именно коридор в качестве плацдарма для обязательных авансов в сторону любой студентки, забредшей к нему в дом. Сегодня он тянул руки не слишком активно, и я легко увернулась (вероятно, это объяснялось большим количеством красного вина, которое он за ночь перекачал к себе в кровеносную систему).

Я с большим облегчением выскочила на улицу, несмотря на то что теперь там шел мерзкий мокрый снег, плавно переходящий в ледяную крупу. На Перт-роуд не было ни души, но я жила лишь в паре минут ходьбы отсюда и утешала себя тем, что, по крайней мере, электричество дали. Но тут все фонари на улице разом потухли. Меня охватило дурное предчувствие. По спине побежали мурашки, а душа наполнилась ощущением неминуемой беды, словно сейчас на меня бросятся некие злобные твари — призраки, привидения, маньяки и убийцы с топором. Я ускорила шаг.

Навстречу шла женщина — со сложенным зонтиком в руках, в красном зимнем пальто, у которого темнота украла почти всякий цвет. В женщине было одновременно что-то очень знакомое и что-то чужое, как будто она мне кого-то напоминала. И еще в ней было что-то странное —

чуть неровная походка, перекошенное лицо. Подойдя поближе, она окликнула меня и спросила, сколько времени. Она была так близко, что я учуяла запах джина у нее изо рта — его почти заглушали бьющие в нос духи.

Мои зловещие предчувствия усилились настолько, что я пробежала мимо, не глядя женщине в лицо, — только пробормотала, что у меня нет часов. Я пугливо обернулась, но женщина исчезла. У меня за спиной мелькнул отблеск — я подумала о Безымянном Юноше, но потом поняла, что это была машина с потушенными фарами, которая очень медленно, чуть приотстав, ехала за мной. Я снова ускорила шаг и до поворота на Пейтонс-лейн добралась уже бегом. Машина не стала сворачивать за мной в переулок. Я на миг задержалась у входной двери и увидела, как машина медленно проехала дальше по Перт-роуд. Я заметила, что силуэтом она удивительно походила на «картину».

Мне казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Я взбежала по неосвященной каменной лестнице на свой этаж. Темнота на лестничных площадках казалась гуще, словно там рыскали тени призраков. Пахло жареной едой и чем-то сладким, навязчивым. Вероятно, именно так себя чувствуют люди, которые застряли в «расширяющейся призме Дж.». Или в фильме ужасов. С неизмеримым облегчением я повернула ключ в замке и вбежала в надежную крепость своей квартиры.

Мы промерзли до костей в огромной холодной кухне, где между каменными плитами пола растет лишайник. Старый дубовый барометр в холле указывает на написанное затейливым почерком слово «Буря». Нора, просоленная морская волчица, стучит пальцем по стеклу и говорит: «Барометр падает». У меня внутри что-то меланхолично сжимается, словно у моего тела свои приливы и течения, подвластные Луне. Я знаю, что так оно и есть.

Нора кипятит воду в медном чайнике на плите дровяной печи — сложный ритуал, который начинается со сбора плавника на берегу. Почему Нора так живет? Я клянусь, что в доме холодней, чем на улице. Даже в иглу и то было бы теплее. (В подтверждение моих слов начинает идти снег.) «Но здесь никогда не бывает снега», — говорит Нора, словно все эти снежинки ошиблись.

Я выставляю на стол чашки и блюдца — «споуд», старый, надколотый. Мы пьем пустой чай — белить его нечем: нет у нас ни коровы, ни рыжей курочки, ни даже пчелки-хлопотуньи.

Мы сидим и пьем чай на кухне, за столом, где когда-то сидели

недовольные своей участью слуги. Жить в этом доме — все равно что в музее-заповеднике: мы — костюмированные актеры в «действующей кухне, ок. 1890». Только смотреть на нас некому. Во всяком случае, мы на это надеемся.

— Твоя история в конце концов приведет к чему-нибудь? — спрашивает Нора, глядя в себе в чашку — словно гадая по чайной гуще.

— В конце концов — сюда. Ты же знаешь.

— Очень уж окольными путями она ведет.

— Ну, карты-то у меня нет. Если ты думаешь, что у тебя получится лучше, расскажи мне про Дугласа.

— Про кого?

— Про твоего брата.

Нора закрывает глаза, набирает воздуху и начинает:

— Не забывай, это было задолго до того, как я родилась, так что мне придется дать волю воображению. Начиналось все хорошо. Дональд Стюарт-Мюррей владел домом на Итон-сквер, еще одним — в Новом городе, в Эдинбурге, и бесконечными унаследованными от предков пастбищами к северу от границы. Сердцем его земель была долина, где располагалось родовое имение, Гленкиттри. Кровь Стюартов-Мюрреев неразрывно слилась с кровью шотландских (а следовательно, и английских) королей и королев. Дональд женился на третьей дочери английского графа — некрасивой, пугливой девушке, семья которой была рада сбыть ее с рук. На свадьбу невесту украсили фамильными бриллиантами немалых размеров — приданое, призванное смягчить отсутствие аристократических черт у невесты, — и, когда она шла к алтарю, свадебные гости восхищенно вздыхали, и юная невеста (ее звали Евангелина) краснела от радости, думая, что они оценили ее попытки чуточку прихорошиться.

Евангелина скоро забеременела и в течение первого десятилетия брака отважно рожала каждые два года. Итого у нее и Дональда было пятеро детей: три мальчика (Дуглас, Торкил и Мердо) и две девочки. Первую из них, Гонорию, уронила на голову из окна второго этажа особняка на Итон-сквер нянька, которую впоследствии признали душевнобольной. Гонорию это падение не то чтобы убило, но живой ее тоже нельзя было назвать, и после нескольких месяцев, в течение которых мать самоотверженно ухаживала за дочерью, Гонория наконец перестала цепляться за жизнь и умерла.

Вторая дочь, Элспет, вскоре последовала за ней, заболев дифтеритом в возрасте одного года.

— Наверно, малютке Гонории было одиноко на небесах, и она позвала сестричку к себе, — говорила Евангелина.

Для Дональда эти слова были чересчур сентиментальны. По правде сказать, он был не слишком хорошим человеком. Грубый, резкий, он отгораживался от всяких чувств, считая их уделом женщин, детей и слабоумных идиотов.

Евангелина, всегда страдавшая душевной неустойчивостью, погрузилась во вселенскую скорбь. Она была уверена, что судьба отнимет у нее и остальных детей, одного за другим (и не ошибалась). В конце концов Дональд уступил ее настойчивым мольбам и согласился воспитывать оставшихся детей в Шотландии, вдали от опасностей столицы.

Дом — «Лесная гавань» в Керктон-оф-Крейги, в родовой долине, — был не слишком уютен. Построенный при Родерике, отце Дональда, из местного камня и украшенный альпийскими треугольными фронтонами, он, по сути, мало чем отличался от викторианской охотничьей сторожки. Дом был холодный, и поколениям экономок и слуг так и не удалось его согреть. Дональд, однако, остался вполне доволен переездом, ибо теперь мог проводить свои дни за охотой, рыбалкой и вообще уничтожением всего, что летало и плавало в его орошаемых дождем владениях.

Евангелина прилагала все усилия, чтобы ее сыновья выжили, — кормила их овсянкой, картошкой и вареной курицей и держала подальше от болезней, разврата и нянек. Особую бдительность ей приходилось проявлять в отношении воды, что угрожала на каждом шагу. Река Киттри протекала менее чем в ста ярдах от дома, и к тому же по приказу Родерика часть ее отвели, создав небольшое искусственное озеро. Туда запустили множество мальков форели и одного случайного щуренка, что вырос в огромную легендарную щуку, пожирающую своих соседей. Всю оставшуюся жизнь Родерик пытался эту щуку поймать.

Всех мальчиков в качестве меры предосторожности научили плавать, а также заставляли регулярно ходить в пешие походы, претерпевать бодрящий отдых в семейном доме на острове...

— То есть тут?

— Да, не перебивай...и спать не меньше десяти часов в сутки, причем с открытыми окнами — даже зимой, так что мальчиков иногда будил падающий на лицо снег. К началу отроческого возраста они обладали отменным здоровьем, крепкими зубами, прямыми костями, хорошими манерами и чистоплотностью и были, по всеобщему мнению, счастьем своей матери и украшением своей страны.

Когда мальчики уезжали учиться в школу в Гленалмонд, Евангелина

еженедельно писала каждому из них по письму, заклиная хорошо кушать, избегать нездоровых мыслей и беречься воды, острых предметов и обитателей лазарета.

Когда объявили войну и фрицы стали напрашиваться на взбучку, Дуглас записался одним из первых, желая показать врагам, где раки зимуют. Феодальная верность еще жила в душе обитателей этой части Шотландии, и примеру Дугласа последовали многие сыновья арендаторов из долины. Через три месяца отправился во Францию и Торкил, а потом и Мердо решил поучаствовать в общем приключении. Хотя мама воспитала его правдивым мальчиком, он поклялся вербовщику, что ему восемнадцать лет (на самом деле ему было пятнадцать) и он горит желанием бить врага. Вербовщик, заговорщически подмигнув, внес его в список.

Погибли они в порядке, обратном рождению. Мердо пал при Монсе, аккуратно обезглавленный снарядом. Через полгода Торкил утонул в грязи на ничейной земле. Дональду и Евангелине сообщили не сразу — командир Торкила надеялся, что тот в конце концов отыщется, но через несколько недель стало ясно, что его богатые кальцием кости будут теперь незримо удобрять чужую землю.

Через год Дугласа по ошибке убили свои. После того как пуля вошла ему в мозг, он жил еще несколько минут. Тут как раз пошел снег, и Дугласу казалось, что он лежит в кровати у себя в спальне и снежинки задувает в окно ветром с холмов, а братья спокойно спят в соседних комнатах (в каком-то смысле так оно и было) и снится им будущая жизнь. Видно, малютка Гонория решила собрать полный комплект товарищей по играм.

Евангелина и Дональд звали погибших сыновей «мальчики», словно те были единым целым, а не отдельными личностями, которыми так толком и не успели стать. Дональд утешался, представляя себя Авраамом, призванным принести сыновей в жертву на алтарь любви к Родине. Евангелина долго втайне лелеяла надежду, что второй сын вовсе не утонул в грязи — что он дезертировал (она никогда не была особенной патриоткой) и в один прекрасный день подойдет к дому по длинной подъездной дорожке, усаженной рододендронами, такой же задорный, как при жизни. Время притупило эту надежду, и когда заключили мир, а Торкил так и не появился, Евангелина решила, что теперь он вряд ли придет, пошла в стиральную комнату и повесилась на бельевой веревке на торчащем из стены крюке, чье назначение всегда было неясным, но теперь полностью прояснилось. Конец.

— Что-что?

— Конец.

— Какая оптимистичная история.

— Ну уж я не виновата. — Нора небрежно пожимает плечами. — Это вина истории, а не рассказчика. Хочешь еще чаю?

Chez Bob

Когда я вошла в квартиру, Боб крепко спал. Занавески в спальне были раздвинуты. Я пошла задергивать их, и это напомнило мне о Фердинанде — сравнение, которое никак не могло быть в пользу Боба, особенно теперь, когда он во сне бормотал что-то про селедок («У них ножи!»).

Мой взгляд зацепился за что-то на другой стороне улицы — там, в дверном проеме здания, кто-то стоял. Женщина — я была уверена, что именно она несколько минут назад спрашивала у меня время. Она чиркнула спичкой, закуривая, и я разглядела ее волосы — цвета старых медных трехпенсовиков — и идеально прямой нос. Я вдруг поняла, кого она мне напоминала — ростом, осанкой, манерой стоять, слегка расставив ноги. Она была словно плохая, небрежно слепленная версия моей матери — неудачный прототип Норы. Огонек спички выхватил из тьмы еще кое-что — горечь, застывшую в чертах лица, разочарование, въевшееся в кожу.

— Из тебя вышел бы отличный свидетель преступления, — цинично говорит Нора.

Женщина увидела меня, повернулась и канула в темноту.

Я, дрожа от холода, скользнула в кровать рядом с Бобом, который сжимал синюю резиновую грелку в форме плюшевого мишки.

— Показать посредством рассуждений, что рассудок — ненадежная вещь, — пробормотал он.

Я не могла не задуматься о том, вправду ли Боб ходил на концерт Джона Мартина. На странице 51 «я смотрела в окно с третьего этажа, словно как раз увидела там нечто безумно интересное». А видела я Боба, поглощенного разговором с одной из аспиранток Арчи, молодой женщиной с телосложением карандаша, чья диссертация («Теряя нить») была посвящена «Поминкам по Финнегану», то есть совершенно неподходящей для Боба собеседницей. Я бы решила, что это случайная невинная встреча, если бы не лицо Боба, живое и заинтересованное. Можно было подумать, что он с ней, страшно сказать, флиртует. Смотрел ли он так на меня хоть раз? Может быть, но я не смогла припомнить. Я надеялась, что он не собирается мне изменить — во всяком случае, с такой некрасивой девушкой.

— Это Шуг там шороху наводит? — задумчиво произнес Боб, когда среди ночи нас обоих разбудил шум из квартиры снизу.

Сквозь пол просачивался альбом «Forever Changes» — явный признак, что Шуг настроен романтически. Аккорды песни «Andmoreagain» перемежались сопением и хрюканьем — характерными звуками соития, с периодическими взвизгами голоса, подозрительно похожего на голос Андреа.

Как известно, заснуть под звуки чужих (за исключением разве что Боба) любовных упражнений совершенно невозможно, и нам пришлось ждать развязки. («Что они там делают так долго?» — удивлялся Боб.)

Боб предложил поиграть, чтобы убить время. Я отвергла его варианты — «Животное — растение — минерал» и «Я вижу что-то на букву...», а также его самую любимую игру, «Назови имена всех семи гномов» (ему еще ни разу не удалось назвать всех подряд в один заход). В конце концов мы остановились на игре «Кошка священника пошла на базар» («Кошка священника пошла на базар и купила корову породы абердинский ангус».) К тому времени, как соседи снизу бросили беспечно блудить, несчастная кошка пыталась протащить в дверь дома при церкви шкаф шелковых шарфов.

Когда я уже задремывала, Боб сказал:

— А, да, та женщина опять звонила.

— И?..

— Я сказал, что ты тут все-таки живешь.

— И?.. — подтолкнула его я.

— Она сказала, что свяжется с тобой.

— И ты не выяснил, кто она?

— А надо было?

Кто-то — вероятно, мать-природа — швырял в окна горсти снежной крупы; по звуку это больше напоминало мокрый песок. Я вздрогнула, прижалась поплотней к недвижному телу Боба и стала думать о Фердинанде в надежде, что он мне приснится. Я люблю своего любимого на букву «ф», потому что он фееричен. Я ненавижу его на букву «ф», потому что он фармазон. Я буду кормить его фруктами с фарфорового блюда. Его зовут Фердинанд, и он живет в Форфаре... Но вместо этого мне всю ночь снилось, что я чайка, потому что Боб засунул мне под подушку «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» — единственную книгу, которую он на самом деле прочитал за весь год, если не считать «Краткого справочника наркотических веществ».

Я проснулась в семь часов, но казалось, что еще глухая ночь. Я попробовала снова заснуть, но ничего не вышло. Боб самозабвенно-

лихорадочно храпел, издавая сложную и, кажется, случайную последовательность хрюканья и драматического аханья, словно большой карп, задышающийся на суше без воды.

Я неохотно сползла с кровати. По крайней мере, свет в доме был, хоть ему и не удавалось разогнать утренний Сумрак. Я сделала себе чашку растворимого кофе, накрылась одеялом, изобразив подобие индейского типи, и с тяжелым сердцем принялась печатать.

Джек Баклан был из тех, кто верит, что в основе всего существующего лежит логика. Если ее не удавалось найти, он верил, что ее просто не удалось найти. Как он всегда говорил, отсутствие улик само по себе не является доказательством отсутствия улик. И одним из людей, на которых он полагался для подкрепления этой веры, был Генри Мэкин, полицейский патологоанатом.

Генри Мэкин поднял скальпель и любовно осмотрел его.

— Ну что — несчастный случай? — с надеждой спросил Джек Баклан.

Патологоанатом засмеялся неприятным смехом, напоминающим свист заточенного маятника или шуршание лезвия острой косы.

— Сомневаюсь, — сказал он.

«Он из тех, кто во всем видит смешное», — мрачно подумал Джек Баклан.

Он искоса взглянул на нового констебля Коллинза — не склонен ли тот к обморокам? Но пока тот вроде бы выглядел нормально. Хотя кто его знает, где здесь норма. Бледный констебль Коллинз мрачно маялся на заднем плане — он вытащил тело из воды и счел своим долгом сопровождать его и дальше. Он заметил остатки красного лака на ногтях трупа — там, где кончики пальцев не обглодала морская живность. Интересно, какие морские твари едят трупы. Креветки? Констебль Коллинз любил креветок и часто покупал ведерко, проходя по набережной. Едят ли креветки утопленников? А если потом съесть этих креветок — не людоедство ли это будет, строго говоря? А норвежские омары? Его жена, которая часто жаловалась, что умирает от скуки (если бы и вправду умерла, это был бы уникальный случай в истории медицины), очень любила норвежских омаров. Констебль никак не мог вообразить, как выглядят норвежские омары, когда плавают в море.

— Как ты думаешь, сколько она пробыла в воде? — спросил Джек Баклан у Генри Мэкина.

— Трудно сказать, — ответил патологоанатом. — В это время года вода теплая, разложение идет быстро. Выглядит она, прямо скажем, так

себе.

— Я тоже по утрам выгляжу так себе, — устало сказал Джек Баклан. — Дней пять?

Говоря о покойниках, он обычно почтительно понижал голос — иногда у него возникало странное и жуткое чувство, что они его слышат. Что они отчасти еще... присутствуют.

Он знал, что это не случайная блажь. Он ощущал их присутствие как вибрацию, как разгневанное осиное облако. Генри Мэкин вонзил скальпель в мертвую русалочью плоть, и тот вошел как горячий нож в масло. Констебль Коллинз тихо, никого не беспокоя, свалился в обморок.

В щель для писем с лязгом упала утренняя почта. В ней оказалось угрожающее послание за подписью Джоан, кафедральной секретарши, напоминающее, что я на несколько недель задержала сдачу реферата для профессора Кузенса («Трагедия плюс время равно комедия»). Интересно, подумала я, работает ли это так же в другую сторону — «Комедия плюс время равно трагедия». Наверно, нет.

Судя по резкому, жесткому тону, письмо писал не сам профессор. Он, даже если вспоминал о задержанных работах и пропущенных занятиях, никогда никого за них не ругал.

Я решила, что не буду говорить с ним, а вместо этого напишу ему письмо, умоляя о снисходительности и ссылаясь на смерть бабушки. Умерла ли моя бабушка? Или бабушки — ведь у каждого человека их должно быть две, правда? Если в семье не наблюдается автогенез?

— Умерли, — отвечает Нора.

— А твои бабушки?

— У меня была только одна. Она тоже умерла.

Но не может же у человека быть только одна бабушка? У каждого их по две. Правда ведь?

Reductio ad absurdum [58]

Я на самом деле не ожидала наткнуться на профессора Кузенца у него в кабинете — в это время он должен был читать лекцию по трагедии мести. Вместо этого он рылся в своем шкафу с бумагами. Он, кажется, был настроен еще игривей обычного — смеялся чему-то своему, вытягивая ящички и выворачивая на пол бесконечные вороха ксерокопированных расписаний и методических пособий. Я напомнила ему, что он должен читать лекцию, и он изумленно поглядел на меня и сказал: «Правда?!» — таким тоном, словно чтение лекций было для него неслыханным делом.

Я предложила помочь ему искать то, что он ищет, но это, кажется, развеселило его еще больше.

— Я сам не помню, что ищу, но не беспокойтесь — когда найду, я вспомню. — Он пытливо взглянул на меня. — Чем могу служить? Вы меня искали?

Я сказала, что пришла написать ему письмо, и он безумно замахал руками в сторону своего стола:

— Конечно, дорогая, конечно. Пишите.

Я почему-то решила, что это будет проще всего, скользнула за стол, вытащила блокнот и начала писать.

На столе у профессора царил беспорядок и валялись бумажки, которые он писал сам себе угловатым почерком: «Купить рыбу!», «Найти перчатку!», «Послать письмо!».

— Жаль, что она блудница! — внезапно воскликнул он ровно в тот момент, когда мимо открытой двери по коридору прошла Марта Сьюэлл.

Марта посмотрела на профессора взглядом, в котором не читалось абсолютно ничего. Профессор помахал ей рукой.

— Я про это должен был читать лекцию, да? — спросил он у меня.

— Да.

Он покаянно вздохнул.

— Я тоже прогуляла, — сказала я в слабой попытке его утешить.

Он сделал беспомощный жест и снова нырнул в свои бумаги, что-то бормоча (это звучало как «абра-швабра-кадабра, тра-ля-ля»), а потом побрел в коридор, зовя Джоан карикатурно беспомощным тоном, — он так пытался подлизаться к ней, но на самом деле этот тон приводил ее в бешенство. Когда профессор ушел, я оставила свое письмо у него на столе, прислонив между «Сходить в „Драффенс“!» и «День рождения Джоан!» и

незаметно прикарманив «Проверить рефераты и выставить оценки!».

Появление Марты было для меня ударом, так как я собиралась прогулять ее семинар по творческому мастерству, который начинался в два часа. Теперь, раз она меня увидела, придется идти. Я подняла взгляд и вздрогнула, увидев в дверях Ватсона Гранта.

— Боже, что с вами случилось? — воскликнула я.

Голова у него была перевязана, а глаз подбит. Из-за этого Грант казался мужественней, чем на самом деле.

— Меня ограбили, — уныло сказал он. — Сотрясение мозга. Повезло, что в живых остался.

Тут вернулся профессор Кузенс, неся чашку чаю производства Джоан.

— Боже милостивый, что с вами случилось? — вскричал он при виде Гранта.

Грант Ватсон объяснил.

— Негодяи подстерегли вас в темном переулке, а? — Профессор предложил Гранту Ватсону мятную конфетку, но тот отказался. Профессор задумчиво продолжал: — Сотрясение... У меня однажды тоже было сотрясение. Во время Великой войны... ну, какой-то войны, во всяком случае. Я пролежал без сознания почти час. А когда проснулся, ничего не помнил, даже не знал, кто я. Впрочем, теперь мне кажется, что это даже приятно. *Tabula rasa*, чистый лист. Начать жизнь заново.

Профессор с сожалением вздохнул.

— Но сейчас-то вы знаете, кто вы? — спросил Ватсон Грант — пожалуй, чуть резче обычного.

Профессор задумался:

— Ну, во всяком случае, я знаю, кем себя считаю.

Что до меня, я — Эвфимия Стюарт-Мюррей. Последняя в своем роду. Моя мать — не мать мне.

Как-то сурово получилось, что она сообщила мне об этом только сейчас, через двадцать один год. Хотя я всегда подозревала: что-то не так, какой-то скелет поджидает меня в шкафу и вот-вот вывалится. Но если Нора не моя мать, как я к ней попала?

— Ты меня украла? Или нашла?

— Не совсем так.

— А как? Как, господи боже мой?

Мать безотрывно глядит в пустой очаг. Не настоящая мать, конечно, — ведь та, надо полагать, умерла. Оказывается, я все это время ошибалась. Я не полусирота, я настоящая, полная сирота. Целиком и полностью. Ничья девочка.

Я сбежала под благовидным предлогом, пока Грант Ватсон не вспомнил, что я задолжала ему реферат. Когда я вошла в лифт, раздался вопль «Подожди меня!», и в кабину влетел запыхавшийся Боб.

— Тащи меня наверх, Скотти! — скомандовал он. — И быстро!

— Я еду вниз, а не наверх, и вообще, что ты тут делаешь?

— Я был на семинаре по философии, — ответил Боб.

Незнакомое слово тяжело ворочалось у него на языке. Боб понятия не имел, как так получилось, что пять из восьми обязательных рефератов, которые он должен был сдать, оказались по философии. Он полагал, что это кто-то в канцелярии ошибся. И конечно, девушки с философского отделения были самым неподходящим вариантом для Боба — серьезные интеллектуалки, любящие поговорить про Фуко, Адорно и других людей, о которых Боб изо всех сил старался ничего не знать. Будь у Боба возможность создать синтетическую девушку, он для начала лишил бы ее голосовых связок. В идеальном мире мечты Боба его девушкой была бы не я, а лейтенант Ухура или Ханибанч Комински. А еще лучше — Шуг.

Боб хмурился, глядя на ксерокопию, которую, видимо, получил на семинаре. Он принялся меня допрашивать:

— Ты когда-нибудь слышала про правила вывода логики второго порядка?

— Нет.

— Закон исключенного третьего?

— Это звучит как название оперетты Гилберта и Салливана.

— Это значит «нет»?

— Да.

Он с сомнением посмотрел на меня:

— Одноместные предикаты?

— Нет.

— Гипотетические силлогизмы?

— Не то чтобы.

— Не то чтобы? — повторил Боб. — Что это должно означать?

— Ну хорошо, тогда нет.

— Закон идемпотентности?

— Ну...

— Да или нет?

— Нет, — раздраженно сказала я, — хватит уже, скучно.

— Не может быть. Сведение к абсурду?

— Каждый день!

Он помахал у меня перед лицом пачкой задач с прошлых экзаменов и сказал:

— Слушай, какая фигня, ты просто не поверишь.

Слово «фигня» у Боба служило универсальным обозначением чего угодно. Он принялся громовым голосом зачитывать мне экзаменационную задачу:

Запишите следующие предложения на языке логики предикатов.

А) Купар расположен севернее Эдинбурга.

Б) Данди расположен севернее Эдинбурга.

В) Купар не расположен севернее Данди.

Г) Купар находится между Эдинбургом и Данди.

Д) Меж Эдинбургом и Данди есть города.

Е) Если один город расположен южнее другого, второй расположен севернее первого.

Ж) Если один город находится между двумя другими и расположен севернее первого, то он расположен южнее второго.

$S(x, y)$ — X расположен севернее Y ; $M(x, y, z)$ — X расположен между Y и Z ; K — Купар, \mathcal{E} — Эдинбург, D — Данди. Универсум рассуждения — города. Покажите с помощью формального вывода, что из А, Г, Е и Ж, вместе взятых, следует Б. Возможно, вам придется ввести дополнительный постулат, выражающий некоторое свойство использованного выше предиката «расположен севернее».

Боб мотал головой с таким же недоверием, какое охватило его, когда он узнал про рыбоводческие фермы.

— Ух ты, кто вообще всю эту фигню выдумывает? Что они курят?

Мы, конечно, уже вышли из лифта — чтобы проехать два этажа вниз, достаточно одного предложения. Потом нам понадобился довольно длинный параграф, чтобы добраться до помещения студсовета, где из музыкального автомата без усталости гремела песня «Американский пирог». Я стала потчевать Боба пирогом (шотландским) и фасолью в томате, пытаюсь подбодрить его. За соседним столом спала Терри. На ней был длинный плащ и черные сапожки на каблучке, с мерлушковыми отворотами, а в бесчувственной руке она сжимала побитый молью черный кружевной зонтик. Она выглядела как типичная жертва Джека-потрошителя. Я попросила Боба передать ей, что мы встречаемся в два часа в Башне, и он

остался играть в настольный футбол, а я пошла на заседание группы по борьбе за раскрепощение женщин.

— Кто вас закрепостил, вот этого я не могу понять, — сказал Боб, закатив глаза.

— Прежде чем мы сможем разработать подробный план практических мер, мы должны усвоить идеологию, которая лежит в основе революционного сознания... — Шерон прервала монолог, чтобы сообщить мне, что я опоздала.

— Ну и?..

Шерон недавно объявила, что единственно возможный путь для женщин — сепаратизм, а из этого, по ее словам, логически вытекало, что мы все должны стать лесбиянками. Шерон, правда, не нашла желающих разделить с ней эту теорию, не говоря уже о практике, хотя Филиппа предложила свою кандидатуру («Ну что ж, я готова попробовать»), словно мы обсуждали новое правило игры в лакросс.

Шерон пронзила меня злобным взглядом и с жаром продолжила:

— Корень проблемы — в подчинении и угнетении женщин при капитализме. Мы все знаем, что мужская гегемония ведет к угнетению женщин и вытеснению их на вторые роли.

Кара горячо закивала, не поднимая глаз от вышивки гладью, над которой сейчас работала.

— Кто такая Кара? — спрашивает Нора.

— Ты ее проспала.

Протея извлекли из корзинки а-ля Моисей, и сейчас его качала на коленке Оливия. От него пахло кислым молоком, он пускал слюни, как собака, и уже облизывал ей все бархатное платье. Оливия безрассудно, цинично или рискованно — в этой ситуации подошло бы почти любое наречие — села рядом с Шейлой, женой-домохозяйкой Роджера Оззера. Шейла понятия не имела, что Роджер встречается с Оливией, — для всех остальных членов группы это добавляло собраниям некоторую пикантность. Шерон, прежде чем податься в лесбиянки-сепаратистки, тоже успела побывать в любовницах у Роджера — об этой связи Шейла знала, и это добавляло собраниям еще большую пикантность.

От Оливии пахло духами «Мисс Диор», а от Шейлы — ароматом «Младенец», состоящим из запахов дезинфекции, створоженного молока и рвоты. Новенький Оззер сейчас ждал в коридоре, в подержанной коляске «Серебряный крест», тяжелой и прочной, как танк.

— Энгельс говорит, что эмансипация женщин невозможна, пока они

исключены из производительной работы общественного характера...

Я чувствовала себя как на семинаре у Арчи, с той лишь разницей, что Шерон можно было приказать заткнуться, когда она начинала чересчур надоедать.

— Значит, ты считаешь, что домохозяйки не участвуют в производительной работе общественного характера? — взвилась Шейла.

Протей повернул голову и удивленно посмотрел на нее.

— Понимаешь, Шейла, — осторожно начала Шерон, — в обществе, правила которого определяют белые западные мужчины, находящиеся у власти...

— Именно, — сказала Кара.

Тут в комнату ворвалась Филиппа, волоча гору студенческих работ и мешок опилок для хомяка и громко извиняясь за опоздание:

— Я учила декартов круг с первокурсниками.

Это прозвучало словно экзотический европейский народный танец или забытая пьеса Брехта.

— Мы говорили о том, что домашний труд — проявление гендерного империализма, — напомнила Шерон.

— Это ты об этом говорила, — резко сказала Шейла.

По-моему, наши собрания сильно выиграли бы от присутствия нескольких мужчин. При виде Филиппы я вспомнила о Фердинанде. Интересно, проснулся ли он? Может, у меня получится выкроить время зайти к Маккью и наткнуться на него как бы случайно.

От этих приятных мыслей меня отвлекло открытие: оказывается, соски Шерон, как глаза на иных портретах, обладали необъяснимым умением следовать за зрителем по комнате. Этот факт был из тех, которые, раз заметив, невозможно перестать замечать. К несчастью.

— Кто-то должен сидеть дома и воспитывать детей, — шипела Шейла, обращаясь к Шерон. — Если бы мы надеялись на таких, как ты, человечество давно вымерло бы.

— Скоро эволюция все равно оттеснит мужчин на задний план! От них останется только сноска в учебнике биологии! — небрежно заявила Филиппа и добавила без всякой связи: — У нас сегодня вечеринка! Приглашаются все!

По моему опыту вечеринка — верный путь к катастрофе, но все остальные собравшиеся радостно закивали и зашептались. Все, кроме Шейлы, которая взвилась перед Шерон, как кобра, делающая стойку на хвосте, и заявила:

— Ты думаешь, что трахаться с кем попало — это вопрос гендерного

равенства.

— Знаешь, Шейла, — сварливо ответила Шерон, — если ты хочешь быть частной собственностью какого-нибудь мужика, это твое личное дело.

— Лучше быть частной собственностью, чем общественной шлюхой, — торжествующе прошипела Шейла.

Шерон вдруг схватила стул, ткнула им Шейлу, как укротитель — льва (так происходят несчастные случаи), и завизжала:

— Я, в отличие от некоторых, хотя бы предохраняться умею!

Я решила, что благоразумие — это уже почти храбрость, и заявила, что мне надо писать реферат. Оливия вышла вместе со мной, вернув Протея Каре, которая неопределенно махнула рукой на Моисееву корзинку, стоящую у ее ног. Оливия уложила младенца в корзинку и засунула под стул Кары, от греха подальше.

Последнее, что я услышала, закрывая дверь, был пронзительный тонкий визг, словно младенца ткнули булавкой.

— Не знаю, зачем люди приводят в этот мир детей, — сказала Оливия. — Они их явно не любят, а мир — совершенно ужасное место.

— Ты написала реферат по Джордж Элиот? — спросила я.

Задним числом я понимаю, что моя реплика была довольно черствой.

— Извини, я взяла другую тему. Я писала по Шарлотте Бронте. Могу дать, если хочешь.

Она собиралась сказать что-то еще, но тут ей явно стало не по себе и она убежала в сторону туалета со словами:

— Извини, меня сейчас стошнит.

Я пошла за ней и придержала ее красивые светлые волосы, чтобы рвота на них не попала.

— Спасибо, — вежливо сказала она.

— Ты предлагала попить кофе — хочешь, давай сейчас? — спросила я, но Оливия сказала, что пойдет домой.

Оливия жила в цивилизованной квартире на Перт-роуд вместе с тремя другими девушками. Все четверо умели готовить и шить на машинке. Они устраивали званые ужины, покупали крем-депилятор и чистящие средства на всех, делали друг другу прически и при необходимости подтирали друг за другом рвоту. У Оливии была уютная комната в темно-зеленых тонах, полная приятных вещей (ароматические лампы, процветающие растения в горшках и старинные льняные вышивки с рынка на Денс-роуд). Оливия сидела в своей уютной комнате, слушала Баха и Пахельбеля и усердно училась, ожидая, пока Роджер Оззер втиснет ее в свое забитое расписание.

На задворках Башни студент, который по субботам продавал газету

«Социалистический рабочий», сунул мне в руку желтую листовку. Неуклюжие черные буквы гласили: «ПОКОНЧИТЬ С ФАШИЗМОМ НЕМЕДЛЕННО! Все равнодушные встречаются в Новой столовой в 6 ч. веч.». Внезапный порыв ветра вырвал листовку у меня из рук.

В Башне нас ждала Терри. Она сидела на диванчике в вестибюле — теплом, обшитом деревянными панелями дивного золотисто-коричневого цвета, отполированными до лакового блеска.

— Я была в приюте для собак, — сказала она с видом еще более унылым, чем обычно.

— В приюте?

— Да, там, куда отвозят потерявшихся собак. Искала желтого пса. Но его там не было.

Может быть, Чик взял желтого пса к себе, решил оставить его насовсем, но мне в это как-то не верилось. Я даже не могла себе представить, что у Чика есть дом, а тем более — что он заведет там собаку.

Мы сидели в вестибюле и обсуждали, куда мог деться пес. Мы пересидели звонок на двухчасовое занятие и толпу людей, бегущих в аудитории. Только в десять минут третьего мы наконец заставили себя двинуться на Мартин семинар.

В коридоре кафедры английского языка мы наткнулись на доктора Херра, и он задержал нас еще сильнее. Он предъявил нам претензии за все несданные работы и непосещенные семинары сразу и прервался лишь для того, чтобы объявить о своей болезни. Вид у него и правда был нездоровый — кожа белая и восковая, словно калла, — но не больше обычного.

— У вас есть какие-нибудь симптомы? — начала допрашивать я. — Горло болит? Голова? Желёзки распухли?

— Голова болит, — сказал он с надеждой.

— Пульсирующая боль? За глазами? Или ноющая, в затылке?

Он не мог определиться:

— Скорее, как будто иглу в висок вгоняют.

— Значит, опухоль мозга, — сказала Терри.

— Пойдите прилягте, — предложила я, — и постарайтесь не думать о проверке работ.

К счастью, он последовал этому совету и ушел, сжимая голову руками и тихо стеная.

— А, вот и вы! — Профессор Кузенс выскочил из своего кабинета и сплясал передо мной небольшую джигу. — Я надеялся вас сегодня увидеть. Хотел спросить про нашего общего друга.

Не было смысла объяснять профессору, что мы виделись всего час

назад. Ведь время, как все знают, субъективно.

— Нашего общего друга? — переспросила я.

— Вчерашнего пса. И Чика, конечно, — ласково сказал профессор. — Он за словом в карман не лезет, а?

— Нам надо к Марте на семинар по творческому мастерству. Мы уже опаздываем.

— Я пойду с вами, — сказал профессор. — Я всегда хотел узнать, что такое творческое мастерство. И есть ли у него антоним?

Он засмеялся, втиснулся между нами и взял обеих под руки, словно собираясь плясать некий затейливый рил.

— А, это вы, — сердито сказала Марта. — Вы пришли так поздно, что уже почти рано. Уже двадцать минут третьего. Это значит, что вы опоздали на двадцать минут... на случай, если вы сами не можете подсчитать. Вы опять решили посидеть?

Последние слова были обращены к профессору Кузенсу.

— Вы ведь не возражаете, правда? — сказал он. — Меня ужасно интересует то, что вы делаете.

Марта всегда вынуждала нас расставить смертельно неудобные стулья в кружок, будто мы на групповой психотерапии или собираемся играть в игру, предназначенную для того, чтобы всех перезнакомить: «Меня зовут Эффи, и будь я животным, я была бы...» А кем бы я была? Не кошечкой или собачкой, это точно — мало приятно вечно зависеть от прихотей человека, считающего, что он тобой владеет. И не домашним скотом, который ценят лишь за молоко, мясо и шкуру. Может, каким-нибудь робким созданием, таящимся в глубинах леса, куда не ступала нога человека?

Марта, как обычно, устроила переключку — Андреа, Кевин, Робин, Кара, Дженис Рэнд, Давина. Давина была «зрелой студенткой» из Киркальди. Разведенка, одна из немногих взрослых студентов в университете, она училась с энтузиазмом. Шуг не записался на курс творческого мастерства — он заявил, что в списке покупок на неделю, который составляет его мать, больше творчества, чем во всех произведениях, когда-либо написанных в нашем университете. Боб же записался на курс творческого мастерства, только он об этом не знал. Уже много недель Марта в начале каждого занятия стояла у доски и взывала, хмурясь: «Роберт Шарп! Кто-нибудь знает, кто это такой — Роберт Шарп?» Я каждый раз молчала — мне не хотелось признаваться, что я знакома с Бобом.

Я сидела рядом с Терри — черной волчицей, рыскающей в ночи. Терри

обещала Марте произвести на свет сборник стихов. Сборник назывался «Мое любимое самоубийство» — его содержание было нетрудно себе представить. Некоторые стихи, хотя и явно вторичные, тем не менее удивляли жизнерадостным взглядом на вещи:

я выпила молоко
что ты оставил
на тумбочке у кровати. оно
прокисло. спасибо

Марта куталась в длинный кашемировый плед, сотканный из тусклых цветов конца бесконечности. Она замоталась в него, как в тогу, закрепив неприятной брошью из когтя какой-то дикой птицы (может, куропатки?), вделанного в аметист.

Андреа картинно точила карандаши и раскладывала разные принадлежности на столе, а Кевин пялился на то место, где были бы ноги Оливии, если бы она пришла на семинар.

— Думаю, стоит начать с небольшого упражнения — размять писательские мускулы, — сказала Марта.

Она говорила очень медленно, будто наглоталась транквилизаторов, но, мне кажется, просто у нее была такая манера разговаривать с людьми, которых она считала глупее себя. Как скучно. Пожалуй, я не высижу тут целый час.

— Напишите мне абзац текста, — четко и медленно произносила Марта. — Вам дается десять минут. Используйте в нем следующие три слова: «филуменист», «надоумить» и «брактеат».

— Это четыре слова, — возразил Робин, который сидел рядом со мной в общем круге. На нем был кожаный тренкот, явно когда-то принадлежавший солдату из дивизии ваффен-СС.

Марта подарила ему тщательно выверенный взгляд.

— Без «и», — сказала она.

— «Без „и“!» — хихикнул профессор Кузенс. — Вот ведь странное предложение. У него может быть смысл только в определенном контексте, верно?

Марта издала звук, означающий, что она умывает руки, и принялась рыться в портфеле.

Профессор сидел между Карой и Давиной. Давина писала исторический роман не то про мать Шекспира, не то про сестру

Вордсворта, не то про нигде не упомянутую незаконную дочь Эмили Бронте — я никак не могла запомнить. Лично я считаю, что не годится выдумывать всякое про реальных людей — хотя, наверно, можно сказать, что, если человек умер, он сразу перестает быть реальным. Но тогда придется определить понятие «реальность», а в такие дебри никто не хочет углубляться, потому что мы все знаем, чем это кончается (безумием, дипломом первого класса с отличием или тем и другим сразу).

Марта снова повернулась к нам и строго сказала:

— Структурированный абзац, а не поток сознания! И никакого нонсенса.

Я записала слова «филуменист», «надоумил» и «брактеат» и уставилась на них. Это упражнение мы делали в каком-то из начальных классов в одной из многочисленных школ, где я успела поучиться. Только там слова были полезней (например, «песочек», «ведерко», «красное» или «каша», «миска», «горячая»). Я понятия не имела, что такое брактеат. Звучало это как название какой-то водоросли. Я беспомощно рисовала на листе каракули.

Профессор Кузенс тем временем усердно чертил диаграммы, которые словно взрывались, и соединял их части тонкими паучьими линиями. Он сидел слишком далеко, и я не могла у него списать: освещение в Мартиной аудитории было тусклым. Кара, сидевшая с другого бока профессора, незаметно вытянула шею — посмотреть, что он там пишет, но профессор прикрыл свои каракули ладошкой, как школьник. Моисееву корзинку с Протеем выпихнули почти точно на середину круга, словно он должен был стать главным атрибутом некоего ритуала вуду.

Кара писала новеллу в стиле Д. Г. Лоуренса про женщину, которая возвращается к земле, чтобы отыскать свои эмоциональные и сексуальные корни. Насколько я могла судить, в ее путешествии фигурировали чрезмерные объемы навоза, грязи и разнообразных семян (чаще — семени). Как ни странно, рафинированной Марте эта тема оказалась близка. Как-то, разоткровенничавшись, Марта поведала нам о той поре, когда она держала ферму в глубинке штата Нью-Йорк со своим первым мужем, знаменитым драматургом (она не могла поверить, что никто из нас о нем не слышал). По словам Марты, она и этот первый муж «находили весьма стимулирующим постоянное противопоставление церебрального и бестиального в деревенской жизни». Делясь с нами этим сокровенным воспоминанием, Марта с отсутствующим видом теребила брошь-коготь.

В конце концов (заклучила она со вздохом, отчасти горестным) результатом этой сельской эскапады стало возвращение в город и (к

сожалению) развод из-за склонности драматурга к разнузданному прелюбодеянию, но также (к счастью) и первый поэтический сборник Марты, «Куриный дух».

— Критики приняли его хорошо, но бестселлером он не стал. Впрочем, что из этих двух вариантов выбрал бы любой человек?

— Бестселлер? — предположила Андреа.

Марта собиралась вырваться из тесных рамок поэзии. Она утверждала, что у нее есть ненаписанный роман (мне казалось, что эти слова содержат в себе противоречие: все равно что «несказанное слово»). Роман Марты был про писательницу, которая преодолевает творческий кризис, обнаружив, что в прошлой жизни она была Плинием Старшим. Так что, видимо, не бестселлер.

— Говорят, что у каждого человека внутри сидит роман, правда ведь? — встряла вдруг Дженис Рэнд.

— Да, Дженис, но не каждый способен его написать, — сурово осадила ее Марта.

С улицы доносился какой-то шум, и время от времени до нас долетали вопли: «Хо! Хо! Хо Ши Мин!» Я задумалась о том, знают ли протестующие, что Хо Ши Мин умер, и не все ли им равно. Марта выглянула в окно и нахмурилась.

Я переписала слова в другом порядке: «брактеат», «надоумил», «филуменист», но и это меня не вдохновило. Марта все время настаивала, чтобы мы писали только о том, что знаем (как скучны были бы книги, если бы все писатели следовали этим правилам!). Слово «надоумил» было мне знакомо, а вот о филуменистах и брактеатах я знала очень мало. О, почему я не ношу с собой этимологический словарь?

У Норы нет словаря. На острове вообще нет книг, за исключением Библии, что лежит у моей кровати. Нора, по-видимому, изгнала все книги, кроме той, что ведет сама. Она пишет в ней каждый день — это ее «дневник». Но как можно вести дневник, если на острове никогда ничего не происходит, кроме погоды?

— Да, зато ее тут очень много, — говорит Нора.

Сами слова мне отнюдь не помогали — они отлепились от страницы и повисли в воздухе, как скучающие мухи, добавляя шаткости миру, познаваемому в ощущениях. Терри в своем сумеречном мире зомби исписывала лист этими тремя словами, повторяя их снова и снова. Вид у нее был вполне довольный.

Марта подошла к окну и уперлась лбом в стекло, словно пытаясь вобрать в себя дневной свет. (Мне удивительно, что мы все до сих пор не

заболели рахитом.) Андреа воспользовалась случаем, наклонилась ко мне и шепнула, что, по ее мнению, брактеат — это какое-то животное. Возможно, вроде лягушки. По-моему, она выдавала желаемое за действительное. Нора, конечно, верит, что у каждого человека есть свое животное-тотем, покровитель, проявление нашей духовной природы в животном мире. («Твоя мать, похоже, сечет фишку», — прокомментировала Андреа. О, как она ошибалась.)

Андреа шепнула мне на ухо, что ее тотем — кошка. Как предсказуемо. Отчего это все девушки вечно видят себя кошками? Не думаю, что Андреа понравилось бы выдирать когтями потроха мелким беззащитным млекопитающим, вылизывать свои гениталии, убегать от бешеных собак или питаться консервами без помощи вилки и ложки.

Кевин созерцал слова «филуменист», «надоумил» и «брактеат». Очки у него сползли на кончик носа. Будь мы животными (да, я знаю, люди и так животные), Кевин был бы губкой — или, может, трепангом, чем-нибудь таким, округлым и упругим. Но кем была бы я, не знаю. (Я предпочитаю короткие слова — они лучше прилипают к бумаге.)

— Но ведь губки же не животные? — удивилась Андреа.

— А кто же они, по-твоему?

— Растения? — попробовала угадать она.

Это немножко напоминало мне игру с Бобом в «животное — растение — минерал» или еще того хуже — в викторину с вопросами из области общих знаний. (Вопрос: «Как теперь называется Формоза?» Ответ Боба: «Сыр?»)

Андреа бросила безнадежные попытки и принялась раскрашивать записанные слова.

— Так, — вдруг сказала Марта, — время истекло.

Неужели прошло только десять минут? Какой кошмар. Сколько же еще будет тянуться этот час? Я уныло подсчитала: с такой скоростью это будет почти три тысячи слов, больше десяти страниц. Пора кое-что пропустить и повычеркивать. Конечно, никто не хватится, например, девяти предложений, представляющих собой вариации на тему «Филуменист надоумил брактеат». И тому подобного.

— Я не сказала «предложение»! — выговаривала нам Марта. — Я просила абзац. Я просила текст. Вы понимаете, что такое текст?

Было заметно, что ей очень хочется употребить в последнем предложении слово «дебилы».

— Ну, если верить Прусту, текст — это ткань, — услужливо подсказал профессор Кузенс.

Ему, несмотря на все диаграммы, даже предложение составить не удалось.

— Значит ли это, — жалобно спросил он Марту, — что у меня нет никакой надежды стать писателем?

— Именно, — сказала Марта.

— Хвала небесам, — отозвался профессор.

— Займемся вашими заданиями, — раздраженно произнесла Марта.

Лишь когда без пяти двенадцать прозвонил звонок и никто не тронулся с места, до меня дошла ужасная истина — это был двухчасовой семинар. Я подумала, не упасть ли в обморок, но этот выход из неловких ситуаций обычно использовала Андреа.

Марте приглянулся один фрагмент из новеллы Кары — она сказала, что находит его особенно глубоким. В нем подробнейшим образом описывалось убийство курицы. Бедную птицу загнали в угол, свернули ей шею и ощипали, а сейчас литературный двойник Кары совал руку в яйцеклад (или как там называется эта анатомическая деталь), чтобы вытащить неснесенные яйца.

— О, эти последние желтки, — Марта понимающе кивала, — они так хороши для яичного крема!

Мяуканье, издаваемое Протеем во все время этого критического разбора, внезапно перешло в громкий рев, и Кара вытащила его из корзинки и не глядя прицепила к одной из грудей. Мы сразу перешли к Давине, и все приготовились погрузиться в царство скуки. Беда была не в том, что Давина не умела писать, а в том, что сказать ей было нечего. С Андреа дело обстояло не лучше. «Антея в последнее время ничем интересным не занималась», — сказала Андреа, имея бледный вид.

— А что, с ней бывает по-другому? — спросил Робин.

— Ну хорошо, хорошо, — уступила Андреа и начала неохотно читать.

«Пчел сначала было слышно и только потом стало видно».

— Ты уже начала? — спросила Кара.

— Разумеется, начала, — обиженно сказала Андреа. — Мне начать снова?

Последние слова были обращены к Марте.

— Ну, если нужно...

«Пчел сначала было слышно и только потом стало видно. Девушка, облокотясь на подоконник и думая о словах отца за завтраком, боялась, хотя и сознавала всю беспочвенность своих страхов, что пчелы могут запутаться у нее в волосах...»

— Пчелы? Какие пчелы? — строго спросила Марта.

Может быть, она боялась, что это окажутся какие-нибудь неправильные пчелы.

«Она предпочитала не думать о том, откуда взялись эти страхи. Она, сама того не зная, стояла на пороге неприятного открытия. Неизвестно, сильно ли оно ее расстроит. И все же в каком-то смысле она уже знала».

Марта подавила зевок.

— Значит, она всеведуща? — спросила Давина. — Но ведь всеведущими бывают только рассказчики. А она не рассказчик. Наоборот.

Что может быть противоположно рассказчику? Рассказываемое. Рассказуемое. Расскажуй? Расскажуи и расскажуйки. Похоже на название птиц. «Расскажуйки бегали у кромки воды».

— Эффи! — сказала Марта. — Вы хотите с нами чем-нибудь поделиться?

— Н-нет.

— А как поживает ваша работа?

— Она сейчас в несколько проблемной стадии... Мне нужно еще поработать над метаструктурой...

Марта подняла бровь, превратив ее в идеальную дугу, и подарила мне взгляд, полный жалости:

— И все же попробуйте.

Я вздохнула и принялась читать.

— О чем задумались, мадам Астарти? — произнес у нее за спиной низкий голос.

— Ах, Джек, если бы мне давали по пенни за каждую мысль, я сегодня разбогатела бы!

— Пройдемся по набережной? — Джек предложил ей руку.

— О Джек, вы такой джентльмен, — оценила мадам Астарти его галантность.

И впрямь, Джентльмен Джек было прозвище, которое носил Джек Баклан в бытность свою сотрудником лондонской полиции. Получил он это прозвище за хорошие манеры, но не любил, когда его так называли — очень уж похоже было на кличку какого-нибудь короля преступного мира. А Джек Баклан был одним из честнейших и неподкупнейших сотрудников полиции. Джек и мадам Астарти были знакомы уже очень давно, еще с Шеффилда. На пути к званию главного инспектора Джек несколько раз удачно воспользовался помощью мадам Астарти, хотя и не любил в этом признаваться.

— Погода неподходящая для убийства, — вздохнул Джек Баклан,

вытирая лоб.

— Убийства? — резко переспросила мадам Астарти.

— Женщина, которую нашли в море. Я только что получил заключение патологоанатома. Тело, конечно, уже начало разлагаться — тела в море долго не держатся, особенно в такую погоду. Мороженое?

Мадам Астарти растерялась. Женщину убили мороженым?

Джек Баклан остановился так внезапно, что мадам Астарти, у которой тормозной путь был довольно длинный, врезалась в него.

— «Макарони»! — воскликнул Джек. — Лучшие шарики на всем севере!

Они стояли на набережной у входа в большое кафе-мороженое «Макарони» — головное заведение сети. Джек распахнул дверь и жестом пригласил мадам Астарти за столик у окна. Появилась пышнотелая официантка и тепло улыбнулась Джеку.

— Здравствуй, Дейрдре, — сказал он. — Мы, пожалуй, возьмем две порции на пять шариков каждая, чтобы у нас шарики не зашли за ролики.

Дейрдре засмеялась (мадам Астарти подумала, что очень уж она долго смеется над такой слабенькой шуткой).

— Как ее убили? — жадно спросила мадам Астарти, вонзая вафлю в форме веера прямо в сердце своего десерта.

— Трудно сказать наверняка, — Джек Баклан нахмурился, — но похоже, что задушили.

— Может быть, это преступление страсти, — задумчиво сказала мадам Астарти.

— Ну, — сказал Джек, — вы же знаете, что лягушка...

...Лягушка большая, зеленая и прохладная на ощупь.

— Это не лягушка, — говорит Нора, — это жаба.

Она гладит ее, словно торговка жабами, и осторожно целует в макушку — жаба переносит это оскорбление молча. Нора кладет жабу на пол, и та несколько секунд созерцает ее снизу вверх, словно поклоняясь ей, а потом неторопливо упрыгивает через дверь на улицу.

— Мне надо собрать крапивы на суп, — говорит Нора.

— Сейчас зима, крапива не растет.

— Ну хорошо, значит, что-нибудь другое собрать, — туманно говорит она. Она не хочет рассказывать мне свою историю. Я знаю почему. Ее история весьма неблагоприятна.

— Я бы на вашем месте серьезно задумалась, не пойти ли на секретарские курсы, — сказала мне Марта. — Так вы хотя бы работу сможете найти, когда останетесь без диплома.

Если бы она была не она, а я, она не говорила бы таких неприятных вещей.

Дженис Рэнд продекламировала стихотворение — что-то про неба высоту и такую красоту, и никто из нас не смог придумать, что сказать по этому поводу.

— Робин? — вздохнула Марта.

— Ну хорошо, — сказал Робин. — Я переработал одну сцену из «Пожизненного срока». Мне в ней кое-что не нравилось. Я буду читать за всех персонажей подряд, годится? Или кто-нибудь хочет читать со мной по ролям? Нет? Ну ладно. Это сцена, где Дод, Джед и Кенни обсуждают, прав ли был Рик, когда так поступил.

Робин набрал воздуха в грудь и закрыл глаза. Воцарилась долгая пауза, а потом он внезапно начал читать:

ДОД. Да, но я хочу сказать...

ДЖЕД. Слушай, нет смысла.

ДОД. Я хочу сказать...

ДЖЕД. Все равно уже все. Все кончено, просто мы об этом еще не знаем.

ДОД. Если бы я хоть на минуту поверил, что ты...

ДЖЕД. Да.

ДОД. Я хочу сказать, что...

КЕННИ. Это все бессмысленно. Без смысла. Без смысла. Что толку.

ДОД. Но вы понимаете, о чем я говорю? (Переходит на крик.) Вы понимаете, что я хочу сказать?

И так далее (*ad infinitum, ad nauseam*), пока слушатели не скончаются один за другим, замученные тысячью мелких слов.

— А что сделал Рик? — не поняла Андреа, но ответ Робина утонул в коллективном стоне тех, кто не хотел, чтобы им об этом напоминали.

Кара энергично похлопала Протея по спине, и он с готовностью рыгнул. Она развернула его и приложила ко второй груди. На улице кто-то пел «Ты скажи мне, где цветы?», фальшивя и аккомпанируя себе двумя аккордами на акустической гитаре.

Я стала искать в карманах носовой платок — у меня чуть кружилась голова, и я решила, что собираюсь слечь с простудой, — но пальцы наткнулись на скомканную бумажку. Я расправила ее на столике-полочке, и оказалось, что это страница из «Расширения призмы Дж.», на которой Дж. падает с лестницы. Жаль, что я не нашла ее раньше, — можно было бы

показать Марте и притвориться, что это я написала. Думаю, Марте нравится именно такая проза.

— Вы не могли бы уделять чуть больше внимания тому, что происходит на занятии? — сказала Марта, и я скомкала страницу и снова сунула ее в карман.

— И наконец, Кевин! — Она неохотно обратила взор на нашего фантаста. — Какие новости из Эдраконии?

Поначалу Марта пыталась убедить Кевина, что его *magnum opus*^[59] не подходит в качестве «творческого диплома», и даже однажды пригрозила не засчитать ему работу, если он не перестанет писать «этот мусор». Но в конце концов она смирилась с существованием Эдраконии. На Кевина хотя бы можно было положиться — он действительно что-то писал каждую неделю (в отличие от многих из нас). Кроме того, при виде его заискивающего лица, в котором было что-то бычье, его почему-то становилось ужасно жалко, и у Марты, видимо, не поднялась рука лишить Кевина единственной радости в жизни.

Кевин читал с акцентом, напоминающим Бенни Хилла:

— Герцог Тар-Винт и его верный оруженосец Ларт, сам благородной крови, ибо его мать, Мартинелла, была дочерью Си-Джагдара...

— Мартинелла — это женский род от Мартина, что ли? — спросил Робин.

— Нет, — ответил Кевин.

— Потому что если да, то это говенное имя, — не отставал Робин.

— Заткнись.

— Герцог Тар-Винт и его оруженосец Ларт...

— Верный оруженосец, — напомнила Кара.

— Спасибо, — саркастически сказал Кевин, — ...верный оруженосец Ларт должны были проделать долгий путь, ибо они направлялись в долину Тайра-Шакир на великое празднество Джоппы...

— Это же в Эдинбурге, — перебила его Андреа. — Они что, собираются в это эпически долгое путешествие на этих дурацких косматых пони, чтобы добраться до Эдинбурга?

Кевин ее игнорировал.

— Воистину им предстоял долгий и трудный путь, но знаменательный день следовало отметить надлежащим образом... — Кевин прервал чтение и начал объяснять: — Конечно, празднества относятся к эпохе до Сумрака. Сумрак — это что-то вроде кромвелевского протектората: запрещены песни, пляски, вот это все.

Профессор Кузенс явно ничего не понимал:

— Так что, драконы, значит, роялисты?

— Нет, нет, — скривился Кевин. — Они вне политики. — На лице у него появилось мечтательное выражение. — До прихода Сумрака праздники, что устраивал герцог Тар-Винт, славились по всей стране — угощение, разумеется, было изысканным...

— Разумеется, — сказала Марта.

— Зрелища — поразительными: знаменитые акробаты из Харта-Мельхиора, жонглеры из Вей-Вана, состязания по выезде коней с равнин...

— Кевин, — страдальчески прервала Марта, — пожалуйста, продолжай читать.

— Все вышло из-за того, что герцог Тар-Винт украл сокровища Альсинельга, — заявила Кара. — Иначе он не влип бы так...

— Да, но тогда и книги не было бы, — строго сказал Кевин.

— Кевин! — предостерегающе сказала Марта.

— Герцог Тар-Винт вглядывался в бескрайний горизонт — нет ли где признаков опасности. Ибо он знал, что путешествие воистину может стать роковым, — это будет величайшее испытание его мужества и находчивости. Уже настала весна, но нигде не видно было ни клочка зелени. Когда Сумрак еще не пал на землю, степи Чаргапа в это время года пылали разноцветьем: их украшали крохотные голубые звездочки вердуна, а также райкиль, который мудрые женщины степей собирали для изготовления целебных снадобий.

Демаал, верный боевой конь герцога Тар-Винта, втянул ноздрями воздух...

— Когда ты наконец его остановишь? — спрашивает Нора с заметным раздражением. — Ты понапрасну тратишь слова.

— Можно подумать, они вдруг кончатся.

— А откуда ты знаешь, что нет? Вдруг они и вправду возьмут и кончатся, и ты даже не успеешь...

Chez Bob

«Джеймс не может так легко сбросить со счетов призрак всезнающего автора. Он не может санкционировать вмешательство во внутреннюю драму романа. Принимая во внимание историческую перспективу, я полагаю, нам будет проще признать в этом аспекте книги предпосылку реализма того типа, сторонницей которого была Джордж Элиот».

Я боялась, что не до конца понимаю этот абзац. Я списала его из книги, но это еще не значило, что он имеет смысл. Я зачитала его Андреа, которая, вместо того чтобы работать над очередным выпуском «Диковины», студенческой газеты, пошла провожать меня домой и теперь безутешно ошивалась на Пейтонс-лейн в надежде, что появится Шуг. Сейчас она раскладывала карты Таро среди хаоса, царящего на столе.

— А ты не можешь наколдовать мне реферат? — спросила я.

— Магию нельзя использовать в эгоистических целях и ради личной выгоды, — торжественно продекларировала она, словно зачитывая из справочника молодого некроманта.

После Мартинового семинара меня так и не перестало мутить. Может, кишечный грипп гуляет. В квартире было ужасно холодно, хоть я и включила электрический камин на полную мощность. От него неприятно пахло расплавленной пылью и перегорающими пробками.

— «Дамарт», — загадочно сказала Андреа, когда я усомнилась в практичности одежды с вышивкой ришелье для такой погоды.

На проигрывателе очень громко играла пластинка «In the Court of the Crimson King»^[60], и каждый раз, когда я уменьшала громкость, прибредал Боб и простодушно увеличивал ее снова. Он ел мармит прямо из банки, и вид у него был ошарашенный.

В последнее время Боб пытался взяться за учебу, но крайне бессистемно. Теперь он тонул в хаотическом океане учебников и рефератов. Учебники («Рассуждение о методе» Декарта, «Теория познания» Вузли, «Основания эмпирического знания» Айера) были по большей части крадеными — Боб не считал кражу книг преступлением («Мысль должна быть свободна, разве не так?») — и лежали нераскрытыми, словно он надеялся впитать их содержание посредством осмоса.

Боб натаскал домой горы старых рефератов, выпросив их у каких-то людей, о которых я никогда не слыхала: «Может ли прогресс науки

показать, что мы так и не обрели подлинной свободы?», автор которой носил(а) совершенно неправдоподобное имя Венди Дарлинг-Бренди; «Существует ли декартов круг?» некоего Гэри Севена; «Что доказал Юм относительно нашей веры в чудеса?» какой-то Одри Бакстер.

Боб глядел на пачку рефератов по английской литературе и хмурился.

— У тебя ведь есть реферат по Джордж Элиот? — спросил он.

При написании рефератов Боб пользовался очень простым методом: он попросту резал чужие работы на куски и складывал вместе как попало. Конечно, все мы плагиаторы и изготовители фальшивок — не в одном, так в другом, пусть даже исключительно в мыслях, — и своими коллажами, хоть порой и бессвязными, Бобу обычно удавалось обвести вокруг пальца преподавателей (из которых не все были под кайфом, но все в смятении).

Боб держал в руке список тем для рефератов с сессии 1971/72 года и монотонно зачитывал:

— «Каждый раз, когда Юм в какой-либо степени осознаёт себя, он осознает свое восприятие, а когда он не осознает восприятие, у него отсутствует концепция себя. Обсудить». Я не понял, что это все вообще значит?

— Это жизнь, Боб, — объяснила я, — но в незнакомой для тебя форме.

Он взял в руки «Невозможность онтологического доказательства» Канта и показал нам обложку, словно нечто невиданное.

— Это книга, — сообщила Бобу Андреа.

— Я знаю. — Он устало покачал головой и мрачно зачитал нам из какого-то старого реферата по философии: — «Является ли „я“ лишь переплетением восприятий? Если так, то чем это переплетение удерживается вместе? Обсудить». С кем я все это должен обсуждать? Сам с собой?

Он мрачно и задумчиво жевал мармит.

— Да.

— Тебе предстоит большое путешествие, много неудач и ужасная смерть, — равнодушно произнесла Андреа, переворачивая веер карт Таро.

— Угу, угу, — сказал Боб.

Явился Шуг в компании Робина.

— Где ты был? — спросила Андреа.

— Там и сям, — ответил Шуг. — Много дел, много встреч.

Андреа хотела пойти на дневной сеанс «Шербурских зонтиков» (когда мы ходили на него, Боб всю картину проспал), а Шуг — на «В. Р. Мистерии организма» в клубе кинолюбителей. Робин же набил косяк и принялся зачитывать нам вслух содержимое журнала «Денди». Неужто мне суждено

провести остаток жизни в обществе этих людей?

«Джеймс считает, что „Мидлмарчу“ недостает цельности — что роман представляет собой лишь последовательность разрозненных эпизодов, которым не хватает истинной драматической цели...»

Позвонили в дверь. Андреа открыла и впустила Терри. Та была необычно взволнована.

— Я его видела, — сказала она, переводя дух.

— Кого?

— Пса, желтого пса. Он шел за этой странной девицей, знаешь, медичкой, которая живет в Балниддри.

— Ее зовут Миранда, — сказал Робин.

— Робин! — Терри только что заметила его присутствие.

Она села рядом с ним на диван и сделала лицом что-то странное. Я не сразу поняла, что она пытается улыбнуться Робину. Он в ужасе отпрянул.

— Как ты поживаешь, Робин? — спросила Терри.

Он уставился на нее взглядом испуганного кролика и, заикаясь, произнес:

— Чего тебе надо?

— Ну, понимаешь, я хотела спросить, не собираешься ли ты домой, — заискивающе произнесла она.

— Да, а что? — Он еще больше съежился и отодвинулся от нее. — Ты хочешь со мной?

— Ага.

— Она просто хочет, чтобы ты ее подвез, — объяснила я, потому что Робин явно собрался не то падать в обморок, не то блевать.

— Прокатимся за город? — воскликнул Шуг. — Круто.

— Послушайте-ка. — Боб начал читать вслух. — «Выразите следующее рассуждение на языке составных высказываний и покажите любым способом, что оно верно (сконструируйте формальный вывод, составьте полную таблицу истинности или воспользуйтесь методом косвенных таблиц истинности). Если я существую (С), я существую как разумное существо (Р); если я существую и не знаю этого (З), я не существую как разумное существо. Однако, если я знаю, что существую, я уверен (У) в этом факте и могу его доказать. Однако, несмотря на то что я могу доказать (Д), что я существую, я не уверен в этом. Следовательно, я не существую».

К счастью, в этот момент у Боба взорвался мозг.

— Развитие сюжета? — бормочет Нора тихо, почти про себя.

— В эпоху постмодернизма это не считается обязательным, — твердо

говоря я.

Витающие в облаках

— Бортовой журнал капитана. Звездная дата 5818.4, — объявил Боб, когда мы кое-как залезли в машину, собираясь ехать за город.

Наш водитель, Робин, недавно приобрел новые колеса. К сожалению, они были прикреплены не к его тощему телу, но к старому катафалку. Я заметила, что катафалк никак не подготовили к продаже — в частности, не сняли помост для гроба, отчего ехать в кузове было неудобно всем, кроме Боба, который охотно лег на помост, репетируя роль покойника. Терри уселась впереди рядом с Робинем и всю дорогу предавалась мрачным мыслям. Поскольку она добилась цели (ее повезли в Балниддри), ей уже не обязательно было относиться к Робину по-человечески.

Я неохотно втиснулась в пространство для венка сбоку от недвижимого Боба, внезапно вспомнив про Сенгу, которая лежала в тесном гробу в католической церкви, а теперь, видимо, навеки уложена в землю. Андреа и Шуг влезли напротив меня, и вся сцена стала напоминать ирландские похороны — с той только разницей, что у нас не было выпивки, а труп время от времени приговаривал, обращаясь к самому себе, что-нибудь вроде: «Вы сможете починить корабельные двигатели вовремя, мистер Скотт?»

Робин объяснил (хотя его никто не спрашивал), что его не смущает езда в катафалке, поскольку он как буддист равнодушен к смерти:

— Потому что я знаю, что вернусь.

— В виде чего? — спросила Терри. — Лишайника?

— Лишайник — это не один организм, а два, симбиоз грибов и бактерий. Я могу быть либо грибом, либо бактерией, но не обоими сразу.

Возможно, Робину выпало такое скучное кармическое путешествие, что он вновь родится в виде самого себя. Неудивительно, что в его имени спрятано слово «бор», — он, пожалуй, все мозги просверлит своим занудством.

— Перевоплощение! — хрипло воскликнул Шуг. — Все идет по кругу, а?

Он закурил косяк, наполнив тесное нутро машины ядовитым туманом. Если мы сейчас разобьемся, кто и как расскажет об обстоятельствах аварии моей матери? (Точнее, женщине, которая двадцать один год выдавала себя за мою мать.) Может, она только обрадуется, что я обошлась без посредников и сэкономила ей расходы на похороны.

— Если нечто может быть выражено словами, оно не есть истинное это, — вдруг ни с того ни с сего сентенциозно изрек Робин; Терри угрожающе крутанула в его сторону битый моллю зонттик.

— Две величины, порознь равные третьей, равны между собой, — гномически высказался Боб.

— Пифагор? — попытался угадать Робин.

— Джеймс Т. Кирк.

Робин завел катафалк и тронулся, и Боб радостно завопил: «Врубайте варп, мистер Сулу!» До чего он все же прост. Ах, если бы мои душевные потребности были столь же просты, как у Боба!

— Вся эта восточная фигня гораздо теснее соприкасается с реальной реальностью. Без всякого материализма и всякой интеллектуальной фигни. Возьмем, например, хайку. — Робин с жаром постучал по рулю катафалка. — И сравним ее с мрачными тяжелыми нагромождениями английской поэзии.

— Что такое хайку? — спросила Андреа.

— Это стихотворение из трех строк, которые состоят из пяти, семи и пяти слогов. Очень простое, лаконичное и выразительное. — Робин все сильней воодушевлялся. — Множественное число от «хайку» будет «хайкай». Во всяком случае, так называли связную серию хайку. Первоначально хайку...

— Великанский пес застрял в прекрасной вазе белых пионов, — сказал вдруг Боб.

— Что? — Робин обеспокоенно посмотрел на Боба в зеркало заднего вида.

Боб поднял косматую голову с полированного дерева помоста и провозгласил тяжеловесно и торжественно:

Великанский пес
застрял в прекрасной вазе
белых пионов.

— Это хайку. Я поэт, от меня вам всем привет, — сказал Боб и заржал.

Боб и сам когда-то пробовал стать буддистом — идея хлопка одной ладони долго не давала ему покоя, — но в конце концов сдался, так как не нашел в этом смысла. Конечно, многое в поведении Боба любопытно пересекалось с философией дзен, а если видеть кое в каких его изречениях коаны, а не бессмысленную чепуху, его почти что можно было принять за

мудреца. Почти. Взять, например, слизняков — биологический вид, особо ненавистный отцу Боба, страстному садоводу-огороднику. Однажды, приехав домой погостить, Боб-младший увидел, как Боб-старший расставляет слизнякам на огороде ловушки с пивом. Не проще ли будет, спросил Боб-младший, пропустить овощи и есть сразу слизняков?

— И медитация, — добавил Боб, разглядывая потолок катафалка. — В ней ведь ничего сложного не должно быть, правда? Медитировать — значит просто думать ни о чем. Но когда пытаешься думать ни о чем...

Он погрузился в удивленное молчание, которому частично способствовало то, что он нашел в кармане шинели шоколадный батончик.

Мы ехали по Перт-роуд все быстрее — гораздо быстрее, чем обычно везут людей в последний путь, и тем немало удивляли окружающих участников дорожного движения. Чинный седан «вулзли» с пожилой парой вылетел от потрясения на тротуар, а случайная монахиня на Риверсайд в ужасе перекрестилась. Дополнительно усугубляло ситуацию то, что мы ехали колонной с другим обитателем Балниддри — Гильбертом, странноватым парнем, выпускником Харроу, чья машина когда-то была каретой «скорой помощи». Зрители наверняка думали, что мы спешим на место какой-нибудь чудовищной катастрофы, а не просто едем за город подышать воздухом. Бобу, впрочем, отчего-то казалось, что мы — экспедиция звездного флота, задача которой — найти запасы редкого элемента под названием «зиенит».

— Бог! — сказал он, как только дожевал батончик. — Верят ли буддисты в Бога? И что такое вообще Бог? То есть, например, кто сказал, что я не Бог?

— А знаете, в Балниддри есть каменный круг, — сказала Андреа, не обращая внимания на этот метафизический треп. — Рассказывают, что это бывшие семь сестер, которые плясали на вершине холма, а злой волшебник обратил их в камни.

— А кто его разозлил? — спросил Шуг.

— О, волшебники, они такие, им только повод дай, — мрачно сказала она.

Притом что Робин и Гильберт жили в Балниддри, они странным образом не знали, как туда попасть. Мы несколько раз возвращались, пересекали собственный след, а однажды оказались даже в низинах Карс-оф-Гаури (или на границе с ромуланской нейтральной зоной — смотря кого из нас спрашивать). От пассажиров катафалка никакого проку в смысле навигации не было — оказалось, что мы все лишены чувства направления. Боб славился тем, что однажды по ошибке сел на кольцевой автобус и

оказался в плену на несколько часов. Я же, разумеется, потерялась с рождения и до сих пор не нашлась.

— Ух ты, коровы, — сказал Боб, выглядывая в окно катафалка, подобно любопытному трупу.

Андреа нахмурилась, глядя на него, и спросила у меня:

— Он не часто бывает на воздухе, а?

Робин исполнил смертельный трюк в виде разворота на сто восемьдесят градусов. Вскоре после этого пошел град. Крупные градины, размером с шарики нафталина, колотили по стеклу. На нем нарастал сугроб, закрывая обзор, поскольку дворники катафалка давным-давно умерли от старости.

Именно теперь Робин открыл нам назначение двух доселе загадочных веревочек. Одну следовало протянуть через окно водителя, другую — через окно пассажира. Робин потянул за свою веревочку, и дворник дернулся в его сторону.

— Видишь? — с надеждой сказал он, обращаясь к Терри. — Теперь твоя очередь.

Она дала краткий, выразительный отрицательный ответ.

Робин наконец нащупал правильный курс в недрах Карса, и катафалк начал терпеливо пробираться по длинным прямым аллеям, обсаженным деревьями, — таковы второстепенные дороги Ангуса.

— Ух ты, овцы, — сказал Боб.

Наконец катафалк свернул налево на указателе, гласившем «Западный Балниддри», и по неровной дороге дотащился до старого фермерского дома, формой похожего на ящик. Дом был покрыт снаружи штукатуркой, усаженной камешками, и выкрашен в цвет неба (то есть серый).

— Готовьтесь нас отправить, доктор Маккой! — выкрикнул Боб.

Мы проехали мимо газона перед домом — когда-то он был покрыт аккуратным меандром подстриженных самшитовых и тисовых изгородей, но сейчас превратился в дикие заросли крапивы и ржавых железок. Робин поставил катафалк в мощенном булыжником дворе за домом, где сбились в кучу ветхие пристройки, пытаясь укрыться от непогоды. Когда нас эксгумировали из глубин катафалка, все еще пахнувших бальзамировочной жидкостью и хризантемами, я поняла, что в деревне даже холодней, чем в городе. Булыжники двора уже начали покрываться изморозью.

Боб уснул, пока мы парковались, и его пришлось тащить из задней двери катафалка, как сонного зимнего медведя из берлоги.

— Волшебный Боб! Как жизнь? — воскликнул Гильберт при виде

Боба.

Гильберт происходил из древней аристократической семьи с отчасти запятнанной репутацией. Его мать скандально и громко развелась с его отцом — Гильберт утверждал, что причиной была зоофилия, но (очень надеюсь) он имел в виду, что отец вел себя с матерью как скот. Анемичное тело и лицо с явными признаками близкородственного скрещивания придавали ему вид умственно дефективного, но он обладал прекрасными манерами и был очень мил, не говоря уже — богат. Если бы не злосчастное сходство Гильберта с выросшим в темноте картофельным ростком, я бы с радостью ушла от Боба к нему.

— Эй, — сказал Боб Гильберту в знак приветствия, и они куда-то убрели вместе.

Шуг уже исчез, и Андреа потащилась за ним по пятам, как пес, страдающий от неразделенной любви. Пытаясь скрыться от Робина, я пошла за Терри в дом через ветхое, заколоченное фанерой крыльцо, по холодному коридору, выложенному каменными плитами и заваленному ботинками, резиновыми сапогами и кусками велосипедов. Еще я увидела верхнюю половину человеческого скелета на подставке (память о студентах-медиках, которые жили в доме раньше), почти целый двигатель от малолитражки, голову оленя на доске и множество больших стеклянных бутылей — одни пустые, в других бродило что-то рискованное, из сырья, собранного в придорожных кустах. Дальше шел стеллаж с пыльными бутылками из-под «айрн-брю», закупоренными вручную, с этикетками «Бузинное шампанское». Они были нацелены на нас, как батарея легкой артиллерии. Вот так происходят несчастные случаи, подумала я.

Коридор привел нас в кухню — просторное помещение, когда-то, наверно, полное тепла и вкусной деревенской еды, но сейчас холодное, как ледник. Большую часть кухни занимала огромная чугунная плита, вокруг которой вяло — словно сказочная принцесса, которую злая фея превратила в служанку, — сутилась Миранда, студентка-медичка. (По-моему, она выбрала эту профессию не из желания помогать страждущим, а ради доступа к наркотикам.)

— С тобой сегодня днем был пес, где он? — выпалила Терри без всяких преамбул.

— Какой пес? — сказала Миранда. Вид у нее был такой, словно ей в вену подают по трубке раствор валиума.

— Тот, который за тобой шел.

— За мной шел пес? Зачем?

В конце концов Терри перестала допрашивать Миранду, но не раньше,

чем исчерпала все возможные варианты пересечения ее и пса («Может, он лежит у тебя на кровати — просто ты не заметила?», «Может, ты спрятала его в гардеробе, потому что не хочешь, чтобы его кто-нибудь увидел?» и так далее). Будь у Миранды чуть больше сил — она выглядела анемичной, как жертва упыря, — она бы, наверно, двинула Терри кулаком.

Миранда неохотно спросила, не хотим ли мы чего-нибудь выпить, и Терри выбрала кофе. Он оказался из овса (а может, ячменя или бобов), и Терри им невежливо поперхнулась. Я попросила чая (он у Миранды настаивался в чайнике на краешке плиты), и это оказалось немногим лучше: чайники были жесткие, как железные опилки, а молоко воняло козлом.

Снова появился Гильберт, без Боба, но с Кевином, который материализовался из ниоткуда. Явление Кевина меня удивило: рожденный и выросший в деревне, он был равнодушен к ее пасторальному очарованию («Зеленое, зеленое, все зеленое — какой в этом смысл?»). На нем был короткий коричневый анорак, словно оставшийся от юношеского увлечения трейнспоттингом.

Миранде наскучило ее занятие, и она, бросив плиту на попечение Гильберта, натянула белый халат, объяснила: «Акушня» — и вышла.

— Не забудь, ты сегодня убиваешь козла, — сказал Гильберт с чудовищным мажорным акцентом ей в спину.

— Почему именно я? — мрачно спросила она.

— Потому что ты врач, — разумно объяснил Гильберт.

Обитатели Балниддри готовили по очереди (хотя Миранду от дежурства по кухне обычно освобождали, так как ходили слухи, что она увлекается токсикологией). Видимо, сегодня была очередь Гильберта.

— Дома у нас готовит прислуга, так что тут я отрываюсь по полной, — сказал он.

Он открыл одну из дверец плиты, за которой оказалась духовка с криво поднимающимся караваем хлеба. Откуда-то еще он вытащил большой глиняный горшок, закрытый не очень чистым посудным полотенцем.

— Йогурт, — объявил он, словно знакомя нас.

От йогурта пахло козлом еще сильнее, чем от давешнего молока. Он разделился на железные сгустки и жидкую кислую сыворотку.

— Как ты думаешь, он такой и должен быть? — спросил Гильберт у Терри, которая от удивления чуть не упала со стула: впервые в жизни кто-то поинтересовался ее мнением по поводу кулинарии (да и вообще по какому бы то ни было поводу). Польщенная, она очень постаралась с ответом:

— Попробуй добавить варенья.

— Гениально! — воскликнул Гильберт, извлекая банку варенья из буфета, внутренность которого я совсем не хотела видеть (но пришлось).

Варенье оказалось бузинным, и в нем попадалось множество мелких палочек-плодоножек. Кроме того, оно было отчаянно кислое. Гильберт добавил варенье в йогурт и энергично помешал.

— У меня где-то есть еще йогурт, — сказал он, распахнул очередную дверцу плиты и — к своему удивлению — обнаружил там стопку пеленок (хотелось бы надеяться, что чистых).

— Я их проветриваю, — сказала Кара, появляясь в дверях. Ее тянула к земле тяжесть Протея, сидящего у нее на бедре.

— Ну я как бы и не думал, что ты их запекаешь, — пробормотал Гильберт, но так, чтобы она не слышала. Еще в детстве нянька внушила ему чудовищный страх перед женщинами, а пребывание в Харроу возвело эту фобию на уровень искусства.

Кара села у кухонного стола и принялась кормить грудью Протея (на сей раз одетого в грязный комбинезончик). За ней в кухню вошла еще одна обитательница Балниддри, женщина по имени...

— Ради бога, не надо больше персонажей, — сварливо встречает Нора. — Их уже и так слишком много, и все эти эпизодические фигуры, какой в них смысл? Ты их вводишь в повествование, даешь зачатки характера, а потом бросаешь.

— Кого? Кого я ввела, а потом бросила?

Я вижу, что ей приходится напрячь память, но наконец она говорит:

— Давину!

— Кого?

— Она была на семинаре по творческому мастерству. Спорим, что она больше не появится.

— На сколько?

— На фунт.

— И вообще жизнь полна эпизодических персонажей — молочников, газетчиков, таксистов. Ну что, можно продолжать?

— А еще безымянный юноша!

— Нет, — поправляю я. — Безымянный Юноша.

— Не важно. Какой смысл был его вводить, если он даже не существует больше? Можешь не беспокоиться их называть, все равно они у тебя долго не держатся.

— Тсс.

...женщина по имени Джилл, мать трехлетней девочки со сложным

гэльским именем, которое произносилось совершенно не так, как писалось. Джилл села рядом с Карой, которая прервала кормление, чтобы набить огромный косяк из травки с собственного огорода.

— У тебя, случайно, нет реферата по Джордж Элиот? — спросила я у Джилл.

Она посмотрела на меня с заметным высокомерием, вытащила жестянку из-под «Золотого виргинского табака» и открыла ее. Там оказались уложенные ровно, как сардинки, аккуратно свернутые маленькие косяки.

— Я, вообще-то, с юридического, — сказала она, извлекая один косяк.

Гильберт принялся, грохоча и лязгая кастрюлями, готовить какую-то еду. Я не могла бы сказать, обед это или ужин, потому что снаружи было темно — не разобрать, день или вечер, — и я совершенно потеряла счет времени.

Кара затягивалась с такой силой, словно от этого зависела ее жизнь. Время от времени в косяке взрывалось семечко, словно выстреливал крохотный пистолетик, и светящаяся красная искра вылетала на стол или на легко воспламеняющуюся детскую одежду (и вот так тоже происходят несчастные случаи). Джилл и Кара обменялись косяками. Они принялись живо обсуждать, до какого возраста следует кормить грудью. Джилл считала, что до двух лет, а Кара — что «они сами должны решать». Возможно, она пожалеет о занятой позиции, когда Протей будет уже тридцатилетним государственным служащим, ездящим каждый день на работу в Тринг.

В этот момент на кухню вбежал маленький ребенок — с воплем, от которого кровь стыла в жилах. Я подпрыгнула от испуга — мне показалось, что на ребенке загорелась одежда, и я стала искать глазами что-нибудь подходящее, чтобы сбить огонь. Но никто из присутствующих даже не пошевелился, кроме Терри, которая незаметно подставила ребенку ножку. Тот мгновенно перестал вопить и оказался дочерью Джилл.

— Если ты хочешь есть, то придется подождать, — сказала ей Джилл.

Девочка выкопала где-то под столом пластмассовый детский горшок и швырнула через всю кухню.

— Не забудь, что нам надо убить козла, — сказал Гильберт, с сомнением глядя на упоротую Кару.

В иерархии Балниддри — скорее, в тамошнем порядке клевания — Кара была неформальным лидером. Оказалось, что козел, которого надлежало убить, — козленок мужского пола. Как объяснила Джилл, «козлята-мальчики ни на что не годны».

— Я не знала, что нас казнят, если мы не приносим пользы, — сказала Терри. — Оказывается, полезность — критерий, который решает, жить нам или умирать.

(Для Терри это была очень длинная фраза.)

— Мы говорим не о людях, а о козах, — сказала Кара.

— Козы, люди — какая разница? — возразила Терри. Похоже было, что ей хочется пронзить Кару зонтиком.

— Это будет гуманное убийство, — сказала Джилл, пытаясь задобрить Терри. — Миранда все сделает, она...

— Извини, пожалуйста, — перебивает Нора, — а где Кевин? Ты не забыла, что он тоже на кухне?

Кевин, который до сих пор удивительно долго молчал (в отличие от Норы), помогал Гильберту чистить картошку и морковь — у него получалось медленно и неуклюже. Он вскрыл жестянку пива «Макьюэнс» и сказал:

— Животные для этого и предназначены — они существуют, чтобы мы их ели. В огромных кухнях дворца Калисферон всегда жарятся туши на вертеле — зайцы, кролики, каплуны, олени, кабаны, а на большие праздники — целый бык.

— Можно подумать, эта Калисхерня существует на самом деле, — фыркнула Джилл.

— Калисферон, — поправил ее Кевин. — Он существует в меньшей степени, чем любое другое место.

— То есть он так же реален, как вот этот стол?

Кевин стал разглядывать стол, будто намереваясь его купить, и наконец сказал:

— Да, так же реален, как этот стол.

Их диалог стал бы длиннее и скучнее (хотя основная мысль была весьма интересной), но тут девочка снова принялась носиться по кухне — с такой же скоростью, как и раньше, и так же пронзительно вопя, словно ее убивали. На этот раз она влетела бы головой в печь и превратилась бы в кучку пепла, если бы Гильберт не сбил ее с ног модифицированным приемом регби. Может, здешние обитатели согласятся заменить козленка девочкой в сатанинском ритуале, который они собираются устроить? Ребенка за козленка.

Пока Сумрак не стал еще Сумрачней и пока не началось противоборство с жуткой трапезой, которую готовил Гильберт, Терри и я решили прогуляться вокруг дома. Терри еще цеплялась за остатки

надежды, что пес может оказаться где-то здесь. Мы пошли в огород, но там не на что было смотреть: из-за бесконечной зимы и неумелости хозяев в огороде ничего не росло, кроме большого урожая одуванчиков, нескольких будьлей топинамбура и зарослей веха ядовитого на проплешине от бывшего пожара.

По огороду свободно гуляли куры (хотя те из них, что поумнее, давно ушли на ночь в курятник). Кара сказала, что кур косит какая-то чума. И правда, те, что еще разгуливали в сумерках, выглядели плохо — растрепанные перья без блеска, глаза тусклые. Терри цокала языком и повторяла «цып-цып-цып», но куры не реагировали.

За огородом лежало кочковатое поле, заросшее чертополохом-мутантом, стойким к зимнему холоду. Здесь паслись козы, когда их не запирали на ночь в свиной хлев. Козы были англо-нубийской породы, с висячими кроличьими ушами и глазами как у черта. Две козы-матери и два козленка — большой и маленький (последнего, видимо, и предполагалось сегодня вечером заклать).

— Бедненький малыш, — сказала Терри и попыталась его поцеловать.

Козы были несколько унылы, но вполне дружелюбны (во всяком случае, дружелюбней кур). Мы их гладили и причитали над ними, пока не стемнело по-настоящему. В поле стало холодно стоять, так что мы вернулись на кухню, откуда плыл неаппетитный запах.

Джилл накрывала на стол, пытаясь расчистить место среди свеч и инструментов для их изготовления — они были навалены всюду.

— Это мой *pièce de résistance*^[61], — гордо сказал Гильберт, указывая на особенно уродливую свечу, бурую пирамиду, усаженную лиловыми восковыми вздутиями. — Может, зажжем несколько свечей? Будет уютно.

— Это на продажу, — отрезала Кара, — и, кроме того, у нас есть электричество, в конце-то концов.

Из «винного погреба» (роль которого играл еще один свиной хлев) появился Робин с несколькими бутылками домашнего вина в руках: из шиповника, из бузины и — смертельное на вид — из пастернака.

— Минутку, я откупорю красные, чтобы они подышали, — сказал он.

И мне на мгновение открылась пугающая картина — бабочка, таящаяся в непривлекательной волосатой гусенице: вежливый мальчик Робин помогает родителям на коктейльной вечеринке, разнося гостям соленые орешки и подливая тоник в большие (как положено у среднего класса) бокалы с джином.

— Да, — стыдливо признался Робин. — Суррей. У папы риелторская

фирма.

— Везунчик.

Появились Андреа и Шуг. У обоих были расширены зрачки — то ли от наркотиков, то ли от секса, то ли (скорее всего) от того и другого сразу. Явился также и Боб, хотя где он был все это время — непонятно. Может, опять сбой транспортера.

— Я не номер, — отчаянно шепнул он мне, озираясь в поисках гигантского пузыря, который его, судя по всему, преследовал.

К ужину пришло еще несколько человек, которых я раньше не видела, — видимо, другие балниддрийцы.

— Балниддрийцы, — сказал Кевин и записал это слово в маленький блокнотик. — Хорошее название.

Нам подали странное хлёбово, нечто вроде первичного бульона с полуузнаваемыми ингредиентами: коричневый рис, картошка, морковь, еще какие-то овощи (а может быть, и не овощи). От всего этого слабо пахло козлом, хотя во всем блюде не было ни крошки козлятины (Терри вынудила Гильберта встать на колени и поклясться могилой матери).

— А куда ты дел кастрюльку с воском, которая стояла на плите? — спросила Джилл.

Гильберт притворился, что не слышит.

Протей «спал где-то там», как весьма туманно выразилась Кара, зато непроизносимо-именуемая дочь Джилл явно перегуляла: в нее насильно впихнули порцию риса с морковью и воском, после чего она уснула, уронив голову на стол. Лицо ее покраснелось, словно в сильном жару.

— Попробуй кормить ее баночками «Хайнц», — серьезно посоветовал Боб.

— Никогда, — столь же серьезно ответила Джилл.

— Дети должны есть то, что едим мы, — сказала Кара.

— Я считаю, это мы должны есть то, что едят дети, — сказал Боб.

— А я считаю, мы должны есть детей, — пробормотала Терри, но, к счастью, этого никто не услышал.

Вскоре Боб весьма неожиданно втянулся в спор о продолжительности грудного вскармливания. На одном этапе он даже начал яростно выступать против кормлений по требованию ребенка — по словам Боба, этот метод должен был вырастить поколение расхлябанных бездельников.

— Берегись, Боб, ты превращаешься в клингона. — Шуг увещеваяще положил ладонь ему на плечо.

А что, если внутри Боба живет другой Боб — обычный человек, который станет учителем, когда вырастет? Который голосует за либералов

и беспокоится о своей пенсии. Настоящий Боб, что в один прекрасный день сорвет маску фальшивого Боба и займет место в мире будильников, костюмов-троек и очередей в банке в обеденный перерыв.

— А десерт есть? — спросил Кевин, пытаясь не обращать внимания на неудобоваримую дискуссию о детском питании.

— Разумеется, — ответил Гильберт. — Вот! Я испек его раньше. Ха-ха!

И он поставил на стол блюдо с брауни, которые неожиданно оказались очень вкусными.

— Очень вкусно! — сказала я.

— О, спасибо, — ответил он, сжав мне руку. — Как мило с твоей стороны.

Снова появилась Миранда — еще летаргичней обычного, но даже почти коматозное состояние не помешало ей сожрать порцию брауни, которая предназначалась Андреа.

— Ну? — сказала Кара.

Миранда поморщилась и достала из кармана длинный узкий футляр, в котором оказался блестящий стальной хирургический скальпель.

— Оба-на! Фазеры на стан, мистер Спок! — встревожился Боб.

— Мне кажется, капитан Кирк не стал бы говорить «оба-на», — сказал Шуг.

— Да, капитан, это нелогично, — согласился Боб. — (Как вы уже заметили, он явно чувствовал себя всей командой «Энтерпрайза» сразу.)

Я — сама не зная почему — ожидала, что после ужина мы поедем домой. Но, по-видимому, не с моим счастьем: поев, все размякли и осоловели, что было особенно странно, учитывая их прежнее желание совершить козлюбийство.

— Та женщина сегодня утром опять звонила, — внезапно сказал Боб, — пока ты была в...

— Университете?

— Угу.

— И?.. — терпеливо подтолкнула я.

— И... сказала, что придет сегодня вечером. Повидаться с тобой.

— И ты только сейчас догадался мне об этом сказать?

— Тут ходит автобус, — равнодушно произнес Робин. — Дорога вон там, сразу за холмом.

Судя по всему, больше никто ехать не собирался. Робин и Кевин начали партию в го — по-моему, самую нудную настольную игру из всех

изобретенных человечеством. Терри намеревалась остаться и спасти обреченного козленка, попросту похитив его. Впрочем, я не понимала, что она собирается делать с козлом в квартире на четвертом этаже. Андреа (нехарактерно для нее) вызвалась показать мне дорогу к автобусной остановке, но, как я тут же с ужасом обнаружила, лишь для того, чтобы завести бесконечный разговор о Шуге.

По словам Андреа, нам надо было идти мимо кольца стоячих камней. «Они где-то там», — сказала она, неопределенно махнув рукой в темноту, и ринулась в ту сторону, прежде чем я успела усомниться в ее умении ориентироваться.

Мы спотыкались о колючие плети ежевики, падали в ручьи, поскользывались на толстом слое инея и врезались в не к месту припаркованных коров. Наконец мы уперлись в крутой склон, и нам пришлось попеременно втягивать друг друга наверх на манер вагончиков фуникулера. Мы одновременно взмокли и замерзли. Все это время Андреа не переставала бубнить любовный катехизис: «Как ты думаешь, я ему нравлюсь? Как ты думаешь, я по правде ему нравлюсь? Как ты думаешь, он меня любит? Как ты думаешь, он по правде меня любит?»

Когда мы добрались до «семи сестер», от Балниддри остались лишь два-три пятнышка света далеко во тьме. Мне на миг почудилось, что в той стороне слышится странное языческое песнопение: «У-бей коз-ла! У-бей коз-ла!», а затем — дикий вопль. Но Андреа сказала, что это у меня воображение разыгралось. Я очень надеялась, что она права.

Андреа, не боясь возможных остатков злого волшебства, самозабвенно заплясала среди камней что-то вроде рила на восьмерых.

— Магия неба, — сказала она, запыхавшись.

Стоячие камни — впрочем, стояли теперь только четыре из них — были примерно в рост Андреа, грубо обтесаны и заострены кверху, словно зубы огромной кошки. Андреа театральным жестом обхватила один из них и, не размыкая объятий, произнесла:

— Ощути магию земли.

Я для пробы обняла ближайший, но никакой магии не ощутила. Камень на ощупь был как камень — влажно-холодный и местами мохнатый от лишайника. Что я вообще делаю в этой глуши? Зачем флиртую с валунами? Мне бы в теплые и любящие руки вместо холодных объятий мегалита.

— Ты уверена, что мы правильно идем? — спросила я у Андреа, но не успела она ответить, как я заметила нечто поразительное: моя кожа начала принимать астрономические масштабы!

Тыльная сторона руки была как сеть небесных меридианов, идеальное кружево, ожидающее разметки звездами. Андреа шарила на земле, ища агаты и не переставая бубнить о мистических свойствах камней, а я как замороженная глядела на свою руку — у меня на глазах кожа растягивалась, разрастаясь в огромный протяженный пергамент. Поры были как крохотные дальние звезды, а морщинки на поверхности кожи — словно призрачные маршруты небесных тел. Мое космическое «я» сейчас получит краткий опыт имманентности.

— Ух ты, — шепнула я, не удержавшись. — Андреа! Это потрясающе!
— Ты ведь ела те брауни, да? — скучным голосом сказала она.

Не знаю, сколько времени я созерцала собственное небесное тело, но, когда я оторвалась от созерцания, Андреа поблизости не было. Я позвала ее, но никто не ответил — лишь эхо прозвучало в стилом воздухе. Я заглянула за камни, потом посмотрела на них самих, — может, это и правда околдованные девы? Они, однако, ничем не выдавали своего девичьего прошлого. Я осторожно коснулась одного, но не стала шептать «Андреа?» в лишайное ухо.

Видимо, во всем районе отключился свет, потому что я уже не видела уютных огоньков в окнах коттеджей и фермерских домиков — вообще не могла различить ничего из окружающей топографии. Было так тихо, что я услышала бы шуршание мыши в сухой траве, шорох крыльев пикирующей совы, но ни одна мышь не бежала мимо, ни одна сова не летела.

И тут тишину жестоко разорвал звук тяжелого дыхания — это одышливое сопение могло принадлежать лишь монстру, чудовищу. Вздохи великана-людоеда с ревом вырывались из-за гребня холма, и потусторонний фосфоресцирующий свет, словно кошмарный восход, озарил каменных сестер. Я не стала ждать, пока источник этого странного света станет ясен, — я изо всех сил, спотыкаясь, помчалась вниз по холму.

Тяжелое дыхание не отставало, словно за мной гнался паровоз, но я не оборачивалась. К дыханию присоединилась чудовищная вонь раздавленного гриба-веселки и бутербродов с крутыми яйцами. Я споткнулась об корень и шмякнулась во что-то холодное, топкое — я всем сердцем надеялась, что это просто ручей, но чувствовала, как меня обступает ледяная грязь. На миг я вроде бы разглядела во тьме сверкающий силуэт — проблеск серебра и бронзы, что-то рыбье и чешуйчатое, — но оно тут же исчезло, и все стихло.

— Это что, магический реализм? — спрашивает Нора.

— Нет, это художественная правда.

Или, верней, безумие. Переведя дух, я заметила чуть дальше по

дороге автобусную остановку и поспешила туда. Внутри висело расписание, но в темноте я не могла разобрать мелкий шрифт. Я села на узкую скамью (скорее, доску) и стала ждать, хотя и не верила, что в какое-то обозримое время сюда придет автобус.

В отдалении показался свет — не такой чуждый и чудовищный, как раньше, но все же он нырял и подпрыгивал среди темных холмов, как зыблющийся болотный огонек. Приближаясь, он обретал форму — не автобуса, как я надеялась, но легкового автомобиля. Машина притормозила у остановки, водитель перегнулся к пассажирской дверце и открыл ее.

— Ты пропустила автобус, — сказал знакомый голос. — Залезай.

Я залезла в машину и закрыла дверь.

— Вы за мной следите, так ведь?

— Размечталась, — ответил Чик.

Лишь недавно время для меня ползло медленным потоком пустоты, а теперь дни были забиты до отказа. Как ни странно, я находила такой оборот событий неприятным.

— Дракон? — мягко переспросил Чик, словно я сказала что-то обыденное, вроде «дверь» или «денди-динмонт-терьер».

Коротая время в пути до Данди, Чик кратко и неохотно описал мне свою жизнь:

— Тулиалланский полицейский колледж, три года деревенским полисменом в земле тюхтеров, потому что стерве туда захотелось, потом родились малые, мы переехали в Данди, потому что стерве надоело у тюхтеров, я пошел в полицейские детективы, Лансароте, тра-ля-ля, дальше тишина.

— «Тра-ля-ля»?

Чик вытащил из кармана плоскую бутылку виски «Беллс», отхлебнул большой глоток и протянул бутылку мне. Виски оказался кислым. Я поперхнулась, но умудрилась его не выплюнуть.

— Молодец, — сказал он.

Мы долго молчали, а потом Чик задумчиво произнес:

— Знаешь, я был хорошим полицейским.

— Я верю. А вы расследовали какие-нибудь известные дела?

Я вспомнила про «Мертвый сезон» и решила, что Чика можно расспросить о работе полиции, способах раскрытия преступлений и все такое.

Он искоса взглянул на меня и после паузы сказал:

— Я работал по делу Гленкиттри. Слыхала про такое?

— Нет.

— Было много шуму в свое время, — сказал он и осушил бутылку до дна.

— Расскажите.

— В другой раз, — ответил он и уставился в пустую бутылку, словно пытался взглядом наколдовать еще виски.

Я бросаю взгляд на Нору — она побелела не хуже любого из трупов, которые всплывали в моем безобидном повествовании.

— Ты собиралась на вечеринку, — говорит она мне.

Очень похоже, что она пытается сменить тему.

Я совершенно забыла про вечеринку у Маккью и даже не собиралась туда идти.

Я, наверно, заснула.

— Ты заснула, — сказал Чик, когда я проснулась.

Я сидела, неловко уперевшись головой в дверь машины. Все тело онемело от холода, а во рту был противный химический вкус от виски. Чик читал «Ивнинг телеграф» при свете фонарика. Он взял сигарету и прикурил ее от окурка, что торчал у него во рту.

Улица, на которой стояла машина, была мне чем-то знакома. Спросонья до меня не сразу дошло, что мы на Виндзор-плейс и машина стоит напротив резиденции Маккью.

Празднество у Маккью было в самом разгаре — со своего места я видела ярко освещенную гостиную. Доносилось едва слышное вибрирующее «ум-ца-ум-ца» рок-музыки. Под нее плясало несколько человек, которые, судя по виду, последний раз танцевали где-то в эпоху Суэцкого кризиса: они двигались очень скованно, шаркая ногами и время от времени отваживаясь проделать локтями что-нибудь этакое. Среди них был и Грант Ватсон — он, порозовев от натуги, выбрасывал вбок конечности в такт музыке. Я решила, что в доме Маккью была бы в большей опасности, чем в лесу, в руках (или что там у него) взбесившегося дракона.

Судя по всему, вечеринка была ужасная. Впрочем, я не думаю, что хорошие вечеринки вообще бывают. Может быть, и существует на свете идеальное увеселение, но каковы его ингредиенты, я не знаю и даже не могу себе вообразить.

— Фейерверки, — мечтательно говорит Нора, — и китайские фонарики на нитях меж ветвей, и Луна, отраженная в воде.

Я видела, как Филиппа уговаривает ректора пойти потанцевать. Она

скакала вокруг него в платье, напоминающем палатку, с психоделическим рисунком из малиновых и бурых завитков. Ректор же попытался притвориться, что находится вообще не здесь — что он сидит в концертном зале «Кэрд-холл» на концерте Шотландского национального оркестра или (еще лучше) лежит в постели и крепко спит рядом с облаченной во фланелевую пижаму женой, крупной солидной женщиной по имени Герда (которая сейчас стояла рядом в платье из вискозы и выслушивала непристойное предложение из уст шатающегося Арчи).

Другая картина открывалась в соседнем окне — столовой. Я видела профессора Кузенса, который деликатно потягивал херес и беседовал с Мартой Сьюэлл в мрачном черном платье. За ними мне удалось разглядеть доктора Херра — он сцепился в яростной ссоре с Мэгги Маккензи.

— Зачем мы здесь? — спросила я у Чика.

— Кто знает, — пожал плечами он.

— Нет, я имею в виду — почему мы здесь?

— А почему бы и нет?

Чик меня ужасно раздражал. Он вел себя совершенно как Боб. Когда я сообщила ему, что должна была присутствовать у Маккью, он попытался вытолкнуть меня из машины и загнать в дом (разумеется, чтобы узнать, не происходит ли там чего-нибудь подозрительного). Я упорно отказывалась, хотя и видела, что там масса полезного материала для нарратива — пьяные оплошности, проблемные браки, запретный секс, даже развитие сюжета. Но ничто не могло заманить меня внутрь.

В окне столовой появилась женщина с бокалом красного вина в руке. Она рассеянно смотрела на улицу. Я не сразу поняла, кто это, — настолько она выбивалась из контекста. И вдруг я ее узнала — владелица «хиллмен-импа», за ней мы следили в Файфе.

— Это та женщина из «хиллмен-импа», — прошипела я Чикю.

— Я знаю, — сказал он, не опуская газеты.

— Но что она здесь делает? Я не понимаю.

Женщина у меня на глазах отошла от окна. Через секунду она появилась в соседней комнате и подошла к Ватсону Гранту. Он прервал свой неуклюжий танец, пьяно рухнул в ее сторону, обхватил ее руками и принялся целовать в шею — весьма неприятное на вид действие. Женщина все переносила с лицом долготерпеливой страдальницы.

— Значит, у нее и правда есть любовник! Вот доказательство! Ее любовник — Грант Ватсон. Теперь вы должны ее сфотографировать или что-нибудь такое.

— Не-а, — сказал Чик, сильно затягиваясь сигаретой. — Это его жена.

Chez Bob

В это трудно поверить, но, когда я попала домой, было всего лишь восемь часов. Я поела корнуолльских крекеров с плавленым сыром «Филадельфия»; посмотрела новости (но выключила телевизор, когда начали показывать горящие от напалма деревья). Почитала «Я и мисс Мэндибл» и послушала «After the Gold Rush»^[62]. Постирала колготки и пришила пуговицу. Потом поела еще крекеров, а «Филадельфия» у меня кончилась. Я вымучила из себя еще одно предложение про Генри Джеймса («Из слов Джеймса следует не только то, что роман эпизодичен и фрагментарен, но еще и то, что он служит средством для чрезмерного по объему аналитического и философского вторжения самого автора...») и наконец легла спать, но проспала лишь два часа — меня разбудили Боб и Шуг, ввалившись в дом с парой конусов, какими ограждают ремонт дороги, и пакетом горячих булочек из круглосуточной пекарни Катберта. Загадочная женщина так и не явилась с обещанным визитом.

— Ну как, ты уже догадалась, кто она? — спрашиваю я у Норы.

Нора жует крекер «Джекобс» из пачки, откопанной в недрах буфета. Я отсюда чувствую прогорклый запах. Нора нагромоздила волосы в небрежную башню, и мелкие прядки закручиваются у нее на шее, как язычки пламени. Сегодня и у меня, и у нее волосы очень рыжие из-за дождя, который вот-вот пойдет. Ибо мы живем в дождевой туче. Нора говорит, что она костями чувствует ревматическую погоду. Что она — барометр в человеческом облике.

— Узнала ты ее?

— Как ты думаешь, это мучной червь? — говорит она, упорно разглядывая крекер.

Боб и Шуг принялись шумно и неумолимо играть в «Дипломатию». Наконец, мучимые свиняком, они вышли в ночь на поиски батончиков «Марс». Часы у кровати показывали шесть. Не знаю, утра или вечера. Мне было все равно — спать не хотелось абсолютно. Ничего не поделаешь, пришлось писать.

Мадам Астарти решила пообедать пораньше. Она прогулялась до лавочки под названием «Дневной улов», расположенной в переулке неподалеку. Лавочка лежала вдали от проторенных туристских троп и

пользовалась популярностью у местных жителей. Это было уютное старомодное заведение с рыбами на кафеде и камином в отдельном зале. Мадам Астарти не сразу поняла, что лавочка изменилась — она теперь называлась «Трескный отец», а интерьер сверкал нержавеющей сталью и голубым пластиком.

— Шерон, мне одну такую и одну такую, — сказала мадам Астарти и, подумав, добавила: — И пожалуй, двойную картошку.

— Поджарок? — предложила Шерон.

— Да, обязательно, — согласилась мадам Астарти.

— Горохового пюре?

— Да-да.

— Маринованного лука?

— Хорошо.

От маринованного яйца мадам Астарти отказалась. Где-то ведь надо провести черту.

Ей выдали заказ на картонном подносике, с пластмассовой вилкой.

— А что у вас тут случилось? — спросила мадам Астарти.

— Новые времена, вот что у нас тут случилось, — ответила Шерон.

Мадам Астарти догадалась, что на заведение пала тень Лу Макарони. Он явно не успокоится, пока не захватит все побережье.

Мадам Астарти ела рыбу и картошку с подносика, сидя на скамье на пирсе. За ней с почтительного расстояния следил желтый пес. Отсюда виднелась часть берега, затянутая бело-синей полицейской лентой, но толпа зевак уже рассосалась — смотреть было больше не на что. Отлив достиг самой нижней точки, и открывшийся пляж был усеян телами разной степени порозовения — точно вареные креветки. Они выглядели как трупы, но мадам Астарти полагала, что трупами они не были.

У места, где отдыхающих катали на осликах, Вик Леггат из муниципального совета вел оживленную беседу с одним из подручных Лу Макарони. «Что это они затевают?» — подумала мадам Астарти. Наверняка ничего хорошего. Она швырнула желтому псу ломтик картошки фри.

— Приписка в бортовом журнале капитана! — объявил Боб, ввалившись домой на рассвете. — Субъект вошел в «пон-фарр», брачный цикл вулканцев. Ты — прекрасная Т'Принг. Потрахаемся?

Я решительно отказалась, и скоро Боб уже спал крепким сном блаженного дурачка.

Мадам Астарти побрела назад по пирсу. «О боже, — подумала она про себя (хотя разве можно „думать про кого-то другого“ в этом смысле?), —

кажется, идет непогода». Огромная белая стена тумана двигалась с моря — за ней все было темно и смутно, а перед ней солнце все так же безмятежно посылало свои лучи на пляж и на тела отдыхающих. Кое-кто из них уже заметил тучу и вскочил в тревоге. Она казалась неким зловещим созданием из фильма ужасов — огромным чудовищем, пожирающим все подряд. Завыла туманная сирена — мадам Астарти костями ощутила глубокую, сотрясшую все ее существо вибрацию. Кажется, в Шотландии туманную непогоду называют «хар». Мадам Астарти когда-то ездила в Шотландию с парнем по имени Скотт. Он вел себя как последняя скотина. Скот по имени Скотт. Ха-ха-хар.

— Мокрая рыба! — крикнул Боб во сне и принялся безудержно хохотать.

Он хохотал до тех пор, пока я не придушила его подушкой.

Дом вымысла

Нет женщины, что была бы как остров. Кроме моей матери. Ее ноги вырастают в скалу, голову венчают облака, кожу покрывают балянусы, дыхание несет непогоду. А может, я все это придумала.

У нее на ногах уродливые черные резиновые сапоги, найденные где-то в шкафах. Они велики, но ей все равно. Она запрокинула лицо к белому туманному небу и втягивает ноздрями воздух, нюхая погоду, как животное.

Туман катится с моря волнами белизны. Непогода. Я смотрю, как она надвигается. Мы, как слепые, нащупываем путь по обрамленной туманом тропе над кручей.

— Отменный хар, — говорит Нора, словно это предмет для восхищения. Но он глушит звук ее голоса. Она растворяется в белом тумане, тает в нем. — Я вспоминаю день, когда ты родилась и когда я убила...

Голос удаляется, его вбирает туман. Туман кутает мне лицо, как холодный, мокрый саван. Я снова поднимаю взгляд и уже не могу понять, где Нора и где хар. Странный звук, похожий на плач, доносится из-под белого покрывала.

— Киты, — говорит Нора. — Заблудились в море.

— Разве киты могут заблудиться в море? Как странно.

— Люди могут заблудиться на суше. Почему же киты не могут — в море?

Я пытаюсь догнать ее.

— Так что, — кричу я сквозь туман, — в твоей семье все умерли и тогда родилась ты?

— Ну примерно, — отвечает ее далекий бестелесный голос.

— Продолжай!

Мне очень нужно слышать ее голос — даже важнее, чем узнать ее историю. Я не вижу края утеса и не знаю, где нахожусь. Я боюсь тумана — он словно чудовище из романа ужасов. Голос Норы — ниточка, на которой я вишу.

— Ну слушай, — задумчиво произносит Нора. — Вот как все это было...

Марджори — большая, ширококостная, рыжеволосая женщина — происходила из семьи военных, из Пертшира. Ее предки сражались абсолютно всюду, от Куллодена (на стороне побежденных) до Коруньи (на

стороне победителей). Тридцати пяти лет от роду она вышла замуж за Дональда Стюарта-Мюррея: больше никто на нее не польстился, да она и сама не придумала, куда еще можно себя деть. Она не посмотрела ни на то, что первая жена Дональда еще не остыла в гробу, ни на длину его списка утрат.

Первую свадьбу Дональда — с Евангелиной, в Лондоне, в незапамятные времена — почтил присутствием сам принц Уэльский. На второй свадьбе — гораздо менее пышной, у Святого Эгидия в Эдинбурге — почетным гостем был всего лишь герцог. Марджори надела бриллианты первой жены, но они, как и новобрачная, не блистали под унылым эдинбургским небом.

Дональд принялся восполнять утраченное потомство. Первой на свет явилась девочка, Дейрдре. Она почти сразу отправилась играть с Гонорией. Затем родился мальчик, которого назвали Лахлан, за ним почти сразу девочка, Эффи, а потом, через четырнадцать долгих лет, запоздалым послесловием — Элеонора...

— То есть ты? Я считаю, ты должна это рассказывать от первого лица.

— Почему?

— Чтобы держаться ближе к реальности.

— Я бы предпочла держаться подальше от этой реальности.

Молчание.

— И это все? — кричу я в туман, но ответа не получаю.

Когда я наконец добираюсь до дому, Нора на кухне варит какую-то неаппетитную смесь в старой тряпке.

— Вареный пудинг, — говорит она. — Давай рассказывай дальше.

Филиппа на кухне мешала в огромной кастрюле суп вроде ирландского рагу — туда пошло все, что ей удалось найти, не обязательно съедобное.

— Все, кроме кухонной раковины, — засмеялась она.

Суп был жидкий, какой-то протухший на вид. Он пах гнилой капустой, и казалось, что в нем плавают что-то живое.

— Попробуешь? — Филиппа махнула половником.

На ней были брюки Арчи и рыбацкая рубаха из толстого коричневого молескина. Волосы она повязала индийским шелковым шарфом на манер индейцев апачей. Она порылась в кармане рубахи и выудила нового, очень сонного Макпушкина. Попыталась его разбудить (тщетно) и сунула назад в карман. Судя по звукам, доносящимся из недр дома, там кто-то энергично пылесосил.

Я сидела за одним концом огромного соснового стола, что стоял у

Маккью на кухне, и через силу глотала едкий кофе, навязанный мне Филиппой. Гонерилья — в утреннем свете казалось, что глаза у нее косят, — нежилась на реферате, озаглавленном: «Как понять, является ли подлинным воспоминание, которое кажется мне таковым?» Она лениво мылась — время от времени с нее слетали невесомые пучочки из двух-трех волосков и дрейфовали по воздуху. Один аккуратно приземлился в кастрюлю с супом.

— Кажется, у нее какая-то парша, — сказала Филиппа, почесывая кошку за ухом.

Лосось, изрядно потрепанный жизнью, — от него, в сущности, осталась только половина — занимал центр стола. Для вечеринки лосося пошировали и попытались реанимировать, заменив недостающую часть серебристой шкуры пластинками огурца, а мертвый глаз — маслиной. Лосось был полуодет: часть огуречных чешуек отвалилась, открыв розовую плоть. Кое-где еще сохранились обрывки серебристой кожи, похожие на звездную коросту. Вдоль спины рыбы лежала дорожка креветок — то ли украшение, то ли неудачная попытка воспроизвести хребет.

— Ты не пришла к нам на вечеринку, — упрекнула меня Филиппа, швыряя в суп огромную пригоршню соли.

— Извините. Мне нужно было писать реферат.

В кухне дома на Виндзор-плейс было холодно — ужасным сырым холодом, вселяющим внезапную меланхолию. Окна запотели от варки супа и от полной сушилки мокрого белья, придвинутой к батарее. Я воровато взглянула туда в надежде, что какие-то вещи принадлежат Фердинанду, — может, там обнаружится предмет, который касался его тела. Но мой взгляд наткнулся на огромные застиранные трусы Арчи, и я поскорее отвернулась. Неудивительно, что от всех Маккью вечно припахивает кухней. Кроме Фердинанда, конечно.

— Как там поживает Фердинанд? — спросила я у Филиппы, стараясь, чтобы голос звучал небрежно.

— О, ты знакома с Фердинандом? Как это мило.

Жужжание все росло, и наконец в комнату вслед за «Гоблином»-канистрой выплеснулась миссис Маккью. За ней приковыляла миссис Макбет — она прицепила себе на ходунки авоську с припасами для уборки: тут были и жестянка полироли для мебели, и моющие средства, и «Доместос» с хлором, и большая розовая бутылка «Виндолена». По всей вероятности, дом Маккью видел подобное впервые. Шествие замыкал Герцог, который тут же проник на кухню. Я почти ожидала, что у него в зубах окажется метелка для пыли.

Миссис Маккью стала шумно пылесосить кухонный линолеум, подбирая все, что подворачивалось на пути, — скорлупу, кочерыжки, обломки карандашей, песок и шелуху, пригоршни кошачьей шерсти, одинокие кочанчики брюссельской капусты.

Филиппа явно почувствовала, что нужно какое-то объяснение:

— Наша старушка решила нам чуточку помочь с уборкой. И ее подружка, конечно, тоже.

— Стараемся быть полезными, — сказала миссис Маккью.

— А ванна-то у них, ванна-то, — вполголоса сказала мне миссис Макбет, недоверчиво качая головой. Она взмахнула «Доместосом», словно бутылкой с коктейлем Молотова.

— Так что, вас опять оттуда выпустили? — спросила я.

— Их не держат под замком, это же не тюрьма, — раздраженно ответила Филиппа. — И вообще, они вечно тут. «Там» и не бывают.

Миссис Маккью села рядом со мной и что-то пробормотала. Гонерилья открыла один злобный глаз и окинула ее наглым оценивающим взглядом.

— Обед! — воскликнула Филиппа.

Я рванулась к двери: мало на свете вещей страшней Филиппино супа. Но миссис Маккью придавила мое предплечье тяжелой рукой и сказала:

— Очень приятно тебя повидать.

Филиппа расплескала суп по мискам и плюхнула на стол большую упаковку уже нарезанного хлеба — с шумом, от которого кошка дернулась, но не сдвинулась с места.

— Негигиенично, — прошипела миссис Маккью и незаметно ущипнула Гонерилью; та покрепче ввинтилась в реферат, словно окапываясь для ведения долгой войны.

В кухню влетела Мейзи, сообщила, что умирает с голоду, разодрала упаковку хлеба и принялась набивать рот ватными кусками. С ней была еще одна девочка — с запавшими глазами, явно страдающая от аденоидов: Люси Оззер, старший отпрыск Роджера и Шейлы, одноклассница Мейзи в школе на Парк-плейс. У обеих девочек был одинаково запущенный вид — нечесанные волосы, мятая школьная форма. Миссис Макбет не удержалась, поплевала на платок и прошла им по лицу Люси Оззер.

— Мы можем и этой рыбы поесть, а то она долго не протянет, — сказала Филиппа, расставляя тарелки и раскладывая приборы.

Миссис Маккью подозрительно разглядывала рыбу. Лосось непроницаемо глядел на нее в ответ глазом-оливкой.

— Пищевое отравление, — прошипела миссис Маккью, когда

Филиппа отвлеклась на кастрюлю с супом. — У нее, считай, на лбу написано: «сальмонелла».

— А слово-то красивое, — заметила миссис Макбет. — Прекрасное вышло бы имя для девочки: Сальмонелла!

— Это от лосося название? — спросила Мейзи в пространство.

— Нет, — ответила ей Филиппа. — От фамилии человека, который открыл сальмонеллу.

— Мистер Сальмон? — скептически произнесла Мейзи.

— А у рыб есть лоб? — растерянно произнесла миссис Макбет.

— У рыб нет зуб, это уж точно, — ухмыльнулась Люси Оззер.

— Правда? — опешила миссис Макбет.

Мейзи взяла с тела рыбы обнаженный трупик креветки и принялась его разглядывать.

— А что едят креветки? — задумчиво спросила она. — Может, утопленников?

— Мы еще сделаем из тебя философа! — радостно сказала Филиппа.

Мейзи рискнула попробовать креветку, осторожно откусила половинку и объявила ее «блеванной». Миссис Маккью сказала, что не может себе вообразить, как выглядят креветки, когда плавают в море, и Люси Оззер предположила, что они похожи на насекомых. У всех собравшихся стал такой вид, словно их сейчас вывернет, и Филиппа резко хлопнула в ладоши:

— А ну хватит, больше ни слова на эту тему!

Затем она вытащила из кармана Макпушкина и с сомнением взглянула на него. Он и вправду казался чересчур вялым и безжизненным. Она слегка встряхнула его. Он вздрогнул и проснулся. Мейзи отобрала его у матери, посадила себе на плечо и скривила шею так, чтобы получилась норка.

— Сдается мне, это очень неудобно, — сказала миссис Макбет.

— Так и есть, — ответила Мейзи, неловко орудуя ложкой.

Каждый из нас выбрал себе наречие для ужина. Филиппа ела суп жадно, миссис Макбет — неопрятно, миссис Маккью — безрассудно, а я решила на «осторожно». Люси Оззер предпочла «никак».

— А это что? — спросила миссис Макбет, тыча пальцем в рукопись на столе.

— Я пишу роман, — ответила Филиппа.

— Зачем? — спросила миссис Макбет.

— Ну... а почему бы и нет? Это про любовь доктора и медсестры. Я собираюсь послать его в «Миллз и Бун». Арчи, конечно, считает, что яprostituирую свое искусство, — бодро сказала Филиппа (по-видимому, этот вопрос беспокоил многих), — но, насколько я могу судить, это

обманчивый аргумент, исходящий из того, что любое искусство по природе своей дидактично. Вы согласны?

Последний вопрос был обращен к миссис Макбет.

— Хм... — произнесла миссис Макбет, листая рукопись. Чтобы увернуться от вопросов, на которые у нее не было ответов, она принялась читать вслух: — «В васильково-голубых глазах Флик прыгали бесенята. Может, Джейк Маккриндл и считает себя выше нее, потому что он важная шишка и больничный доктор, а она всего лишь медсестра-практикантка. Но она ему скоро покажет...» Флик? Точно? Вы уверены?

— А разве Флик — это не лошадиное имя? — спросила Люси Оззер.

— Нет, то Флика, — сказала я. — «Моя подруга Флика».

— У тебя есть подруга по имени Флика? — заинтересовалась Филиппа.

— Кхм! [или что-то в этом роде] — громко произнесла миссис Макбет. — «Флик проработала в мужском хирургическом отделении всего два дня и уже успела дважды столкнуться с чрезмерно самоуверенным доктором Маккриндлом, который явно считал себя подарком от Бога человечеству, больнице Святого Вернона и тамошним медсестрам».

— А что, разве есть больница Святого Вернона? — спросила миссис Маккью, умудряясь одновременно вязать и есть суп.

— Может, ты подумала про букмекерскую фирму? — предположила миссис Макбет.

— Не важно, — презрительно сказала Филиппа, — это же беллетристика.

— «„Итак, доктор Маккриндл, — сказала Флик, прекрасно сознавая, какой эффект оказывает ее присутствие, — каков ваш диагноз?“ Он улыбнулся ей по-волчьи...»

— А мне кажется, волки не умеют улыбаться, — встряла Мейзи, но тут миссис Макбет засипела, закашлялась и порозовела, почти догнав цветом лососину; глаза у нее заслезились, а рот округлился изумленным овалом — она пыталась втянуть воздух.

— Геймлих! — рывкнула Филиппа, схватила ее сзади и принялась трясти и мять старушечье тельце, пока изо рта у миссис Макбет не вылетел ком слов, а с ним — большая рыбья кость.

— Пронесло, — хрипло сказала миссис Макбет, падая на стул, — словно встреча со смертью входила в ее ежедневный распорядок. Она принялась разглядывать рыбью кость, удивленно качая головой. — Надо же, рыбья кость. Откуда она могла взяться?

— От рыбы? — предположила Люси Оззер, саркастичное дитя.

Лосось промолчал. Миссис Маккью дала миссис Макбет сигарету, чтобы та поскорей оправилась, и сама тоже закурила.

— Я коплю купоны на тостер «Филипс», — сказала она. — Просто ужас сколько надо выкурить.

Наверху хлопнула дверь и потекла вода из крана. Интересно, не значит ли это, что Фердинанд где-то здесь. Я извинилась, вышла из-за стола и осторожно поднялась по захлавленной лестнице. К несчастью, в ванной комнате Фердинанда не оказалось, но ее заполнял необычный запах мужской чистоты — зубной пасты, пены для бритья и антибактериального мыла, — словно здесь только что мылся человек, привыкший к казенной гигиене и распорядку сильнее, чем все остальные Маккью. Мне казалось, что я различаю за запахом личной гигиены слабый след собственного животного запаха Фердинанда и что, если прислушаться хорошенько, я уловлю тающее в воздухе эхо его сердцебиения.

Ванная комната была одой шестидесятым — от сантехники цвета чахлого лютика с прозрачными акриловыми ручками кранов до сосновых панелей в елочку, которыми был обшит даже потолок, озаряемый тусклым светом встроенных светильников. Все стоки плотно забились комьями мыльных волос. Ванна была склизко-серая, а унитаз внутри покрыт бурой коркой. На подоконнике боролась за жизнь анемичная традесканция — ее листья тянул к земле толстый налет талька. На бачке унитаза лежала духовная пища разнообразных Маккью — «Журнал для ценителей резинок», «Бино» и древние выпуски «Философского ежеквартальника».

Однако — ни следа самого Фердинанда. Я заглянула в комнаты второго этажа, надеясь найти его распростертое спящее тело в свободной спальне, где я увидела его впервые. Но там не было никого — только Джанет, старая собачка миссис Макбет, спала на кровати. Она шумно храпела, до дребезга в грудной клетке, но проснулась, когда я села на кровать, и ткнулась сухим носом мне в ладонь. («Уси-пуси, она же насъ масенький клолисек», — загадочно выразилась миссис Макбет.)

Из прихожей донеслись голоса — я перегнулась через перила и мимолетно узрела Фердинанда. Бодрствующий, он казался дичее, и взгляд у него был голодный — словно он готов жрать сырое мясо и перекусывать хребты мелким зверушкам, если уж придется. К сожалению, он как раз покидал дом. Он чмокнул миссис Маккью в щеку и сказал:

— Пока, бабуля.

— Куда он идет, как ты думаешь? — спрашивает Нора.

— Не знаю.

Кто знает, куда уходят персонажи книг, когда они не нужны? Наверно,

во что-нибудь вроде чистилища. В состояние, подобное смерти или сну. Может быть, он там вместе с желтым псом, который так легко соскользнул со страницы.

— А где они могут быть? — Нору явно заинтересовал этот вопрос. — В Сент-Эндрюсе, на пляже? Это было бы хорошо.

— Что-то вроде: «Желтый пес бежал впереди мужчины, который шел по пустому отрезку пляжа, подняв воротник от резкого ветра и глубоко засунув руки в карманы кожаной куртки...»?

— Сделай погоду получше.

— «Желтый пес резвился в волнах, а за ним по пляжу шел мужчина. Он ступал босыми ногами по песку, наслаждаясь его теплом, а лицом впитывал лучи летнего солнца». Ну как?

— Тебе нужен сюжет, — говорит Нора. — Видит бог, сюжет тебе не повредит. Пускай что-нибудь случится.

— Например?

— Самолет свалится с неба, женщина выйдет из воды, бомба взорвется.

— Я не такую книгу пишу.

— А ты напиши такую.

— Ну ладно, я пошла. — Филиппа выкопала свой велосипед из груды хлама, загромоздившего прихожую Маккью. — У меня семинар со второкурсниками: «Существует ли Бог?» Кому-нибудь со мной по пути? Может, до автовокзала?

Она с надеждой взглянула на миссис Маккью и миссис Макбет.

— Только не мне, — сказала миссис Маккью и врубила пылесос, предотвращая дальнейшую дискуссию.

— Я, пожалуй, слегка пройдусь по кухне, — сказала миссис Макбет и потянулась за бутылку «Аякса».

— Будьте осторожны с чтением, — посоветовала я, ретируясь по коридору, чтобы меня не затянуло в пылесос.

Филиппа медленно ехала по Перт-роуд, поставив одну ногу на педаль велосипеда, а другой отталкиваясь от тротуара. Мы — Мейзи, Люси Оззер и я — вприпрыжку поспешали за ней.

У подножия Башни клубилась толпа. Большинство собравшихся явно не понимали, зачем сюда пришли. Кто-то размахивал самодельным плакатом: «ПОКОНЧИТЬ С АМЕРИКАНСКИМ ИМПЕРИАЛИЗМОМ! НЕМЕДЛЕННО!» (Я подумала, что вряд ли подобная проблема входит в

компетенцию университетского сената.)

Мы остановились попрощаться на другой стороне улицы, у входа в похоронное бюро.

— Если бы они с таким энтузиазмом изучали философию! — сказала Филиппа, рассеянно склоняясь, чтобы Мейзи могла поцеловать ее в щеку.

Мейзи и Люси направились в сторону школы на Парк-плейс, и мы проводили их взглядом.

— Они опаздывают, — с нежностью сказала Филиппа.

С задней стороны Башни, где поток студентов обычно то нарастал, то ослабевал, образовался затор из тел. Некоторые студенты пытались попасть в Башню — на семинары и лекции, — а другие старались им помешать. Я видела Шерон, которая размахивала плакатом: «СКАЖИ „НЕТ“ ФАШИЗМУ!»

Здоровенный регбист — Андреа как-то провела с ним бурную ночь — грудью проложил себе дорогу через узкий проход, соединяющий помещение студсовета с Башней. Среди толкучки и воплей «Штрейкбрехер!» он пробился в Башню и, как Моисей, разверзший воды Чермного моря, открыл дорогу другим.

— Ну что ж, до свидания, — сказала Филиппа, ободряюще хлопнув меня по спине (я едва удержалась на ногах).

Она взобралась на велосипед, опасно повилыла по Смоллзову проулку и скрылась.

Я скорей побежала по открывшемуся проходу, пока волны Чермного моря не сомкнулись снова.

— Спасибо, — кинула я на ходу футболисту как раз в тот момент, когда Шерон с боевым кличем племени сиу прыгнула ему на спину с разбегу и принялась отгрызать ему ухо.

— Единственный способ, которым женщина может завоевать уважение или хотя бы привлечь внимание героя мужского пола, — обладание полнейшей, детской невинностью... — Мэгги Маккензи расхаживала взад-вперед по площадке для лектора, словно зверь в клетке зоопарка; ее волосы уже зажали своей жизнью, — регрессия, которая в случае Клариссы, например, принимает крайнюю форму смерти...

— О чем это она? — шепнула мне Андреа.

Я пожалала плечами. Я была уверена (и, видимо, ошибалась), что Мэгги Маккензи будет рассказывать про «Мидлмарч», иначе я бы и не пошла на эту лекцию.

— Я думала, она будет рассказывать про «Мидлмарч», — прошипела Андреа.

— Может, она о нем и говорит, просто мы не поняли.

Андреа сегодня выглядела очень чопорно в фантазийном наряде пастушки от Лоры Эшли — такому платьицу позавидовала бы и Мария-Антуанетта. Кто бы подумал, что лишь несколько часов назад она содрогалась в пароксизмах похоти («Опять?!» — воскликнул изумленный Боб, когда мы пытались заснуть среди своих не обременяемых страстью фиолетовых простыней).

— Почему смерть — это регрессия? — шепнул мне Кевин в другое ухо. — Я не понимаю.

Я была, как колбаса, зажата в сэндвиче «Кевин-Андреа» на последнем ряду аудитории, построенной в виде амфитеатра. В этом ряду обычно отсыпались разнообразные бездельники.

— Не знаю.

Я полезла в карман за носовым платком. Я определенно скоро свалюсь с гриппом, если не с чем похуже. Но вместо носового платка я опять нашла скомканную бумажку — лишь поломав голову, я поняла, что это очередная блудная страница из «Расширения призмы Дж.». Как они ко мне попадают? Может, их кто-нибудь подсовывает? А может, они липкие, как бумага от мух.

Из текста я поняла, что Дж. (как обычно, страдающий паранойей) сцепился с неким мифическим зверем (похоже, нередкий случай).

«Сопение, сопение, бесстыдно раздутые ноздри твари, тяжеловесного самца — зверь его воображения, воплотившийся в мышцах и жилах, в изгибе хребта, чешуйчатый, как змей греха, воплощающий извечную тягу к плоти в мощных ударах...»

Я предположила, что мифический сопящий зверь — аллегория или метафора, но кто знает... Может быть, он реален в том смысле, в каком реален любой литературный текст — ведь любой текст реален, поскольку он существует; нельзя ведь существовать, не будучи реальным. И даже если он существует лишь в форме слов, сами слова должны существовать, иначе мы не могли бы их использовать, и даже Витгенштейн...

— Мисс Эндрюс! — Мэгги Маккензи поднималась по лестнице между рядами столов, высматривая студентов, которые ведут себя неподобающим образом. — Не погружайтесь в мечты, для вас это непозволительная роскошь.

В аудиторию бочком втиснулась Терри. В черных митенках и распадающейся тафтяной мантилке, она выглядела так, словно ее недавно эксгумировали. Судя по лицу, ей не удалось вчера спасти козленка. Мэгги Маккензи приказала ей сесть на первый ряд:

— Я позабочусь о том, чтобы вы не заснули.

Очевидно, она не подозревала, что Терри умеет спать с открытыми глазами. Оливия, которая на всех лекциях сидела в первом ряду, одолжила Терри бумагу и ручку (которыми та не воспользовалась) и снова принялась старательно конспектировать.

— Ролан Барт, — продолжила Мэгги Маккензи, — говорит, что...

— Опять он, — вздохнула Андреа.

Слабый крик донесся из глубины студенчества, знаменуя присутствие Протея. Кара сидела на другом конце амфитеатра, на безопасном расстоянии. Сегодня на ней был джемпер в радужную полоску, — похоже, его вязала горилла. Для другой гориллы.

— ...утверждает, что классический нарратив основан на Эдиповой драме с мужчиной в главной роли...

Андреа перегнулась через меня:

— Кевин, так вот про что на самом деле «Эдракония»?!

Вероятно, это была скорее шалость, чем подлинное любопытство.

Кевин закатил глаза, как корова на бойне, и произнес:

— Не говори глупостей.

Вышло довольно громко, и несколько человек обернулись — включая Мэгги Маккензи, которая нетерпеливо притопнула ногой и произнесла заклинание, роднящее всех преподавателей мира:

— Вы хотите нам что-то рассказать, мистер Райли? — И, не дожидаясь ответа, покатила дальше: — Как говорит Альтюссер, мы все находимся «внутри» идеологии...

— О чем она вообще? — пробормотала Андреа.

— Не знаю. Я ничего не знаю. Хватит меня спрашивать.

У меня начинала болеть голова.

Впереди нас сидела Дженис Рэнд со своей лысой подругой из христианского общества. Мне страшно захотелось пошвыряться в них чем-нибудь, но я боролась с искушением. Время от времени они передавали друг другу записочки на плотно сложенных квадратиках бумаги.

— Фрейд... полагая, что женщины обладают меньшими возможностями, поскольку знают, что их кастрировали...

— Что-что? — встревоженно переспросила Андреа.

— ...а также обладают менее развитым супер-эго...

Дженис и ее подруга яростно обменивались записочками. Мне удалось заглянуть в одну из них. Там было написано: «Что такое суперэго?» В письменном виде это слово смотрелось очень странно — как название соуса к спагетти или музыкального темпа: «спиритозо», «сфорцандо»,

«суперэго». Голова болела все сильнее. О, мне б таблетку анальгина (весьма поэтический крик о помощи). От усталости я не могла сосредоточиться.

Кевин сказал в пространство:

— Как известно, исследования показали, что ни один человек не может сохранять сосредоточенность больше десяти минут подряд, так что последние двадцать пять минут были потрачены совершенно бесполезно.

— Мистер Райли? Вы хотели что-то добавить? — резко спросила Мэгги Маккензи.

Кевин сполз со стула под парту и притворился глухонемым.

— Пассивная героиня в фаллоцентрическом мифе...

Меня незаметно объяли грезы о Фердинанде. Я мысленно составила список того, что я о нем знаю, — он хорошо относится к пожилым женщинам, он спит так, что и пушкой не разбудишь, возможно, у него голубые глаза (мне так и не удалось их увидеть), он — осужденный преступник. Из этих обрывков не выходило цельного характера.

Андреа рисовала в блокноте странные магические символы — кресты-филфоты, руны Ингваз, кадуцеи и прочее. Возможно, это было задание от форфарского учителя-волшебника. Дженис заметила филфот, похожий на свастику, и уже не могла хранить молчание: она возбужденно защебетала своей лысой подруге, что Андреа — «фашистка».

Кевин, который все это время незаметно ел банан, повернулся ко мне и, кивнув на Мэгги Маккензи, спросил:

— Как ты думаешь, она вообще собирается говорить про Джордж Элиот?

Мэгги Маккензи в отчаянии швырнула губку для стирания с доски куда-то в сторону задних рядов, не целясь. Губка ударила Дженис в висок и отскочила, и Дженис завизжала, как разъяренная мученица.

— Похоже что нет.

Вопль Дженис разбудил Протея, и он отчаянно завыл, словно вот-вот должен был свалиться с края Земли (кто их знает, этих младенцев, что они вообще думают). Кара принялась протискиваться по ряду, как опоздавший театральный зритель: «Извините, разрешите пройти, извините, пожалуйста». Наконец она добралась до своего отпрыска и объявила во всеуслышание: «Надо перепеленать».

— Я сейчас, кажется, упаду в обморок, — прошептала Андреа.

Аудитория изрыгнула студентов. Кевин деловито потрусил за Андреа и, подержав ее, как пригожую молочницу за доильный рукав, пыхтя,

произнес:

— Я должен кое-что прояснить. Драконы не страдают психологическими комплексами — эдипов, электриков, как их там. Понимаешь, драконы все — самки.

— Как же они тогда размножаются?

Из аудитории выбрела Кара. Она пахла землей, словно ее зарыли и только что выкопали. Длинные прямые жидкие волосы она замотала шарфом. На ней были черные резиновые сапоги и ситцевая крестьянская юбка. На щеке — полоса грязи (или чего похуже). От нее неприятно пахло — смесью куриного корма и ромашкового цвета.

— Не забудь ребенка, — напомнила я, хотя разве может кто-нибудь забыть своего ребенка? А даже если и может, то не должен.

Меня догнала Терри и сказала, что пойдет разыщет Чика и спросит его, куда он дел желтого пса. За ней из аудитории вышла Оливия, осторожно обогнув Кевина, с которым Андреа все еще спорила из-за логических несостыковок «Эдраконии».

— Но если драконы бессмертны, а Гриддлбарт — нет, что им мешает попросту дождаться, пока он помрет, и снова захватить власть?

— Это нелепо.

— Почему?

— Потому что, — произнес Кевин громко, словно Андреа была глухая, — это вопрос чести, а не целесообразности. Честь у драконов...

— Может, пойдём выпьем кофе? — сказала мне Оливия.

На ней было бархатное платье с высоким воротом и обтянутыми бархатом пуговичками от ворота до подола, так что, захоти кто-нибудь ее вскрыть, он мог бы воспользоваться ими как пунктирной линией разреза. Она была бледна и выглядела как пришлица из иного мира, героиня баллады, что вот-вот случайно окажется запертой в сундуке в день свадьбы или сбежит, бросив мягкие пуховые перины, с табором цыган...

— Эффи?

— А, да, кофе...

Но мы слишком поздно заметили, что на нас надвигается грузное тело Мэгги Маккензи.

— Я побежала. Занята как собака, — сказала Терри и исчезла с завидной ловкостью.

— Джордж Элиот! — рявкнула на меня Мэгги, как армейский сержант.

— Я почти закончила, — соврала я.

— Не лгите мне, мисс Эндрюс. Где ваш реферат?

Я махнула рукой в неопределенном направлении — на мир за стенами

кафедры английского языка, словно моя Джордж Элиот сейчас трудилась в библиотеке или играла в настольный футбол в здании студсовета.

— Идемте со мной, — тоном, не допускающим возражений, приказала Мэгги Маккензи, развернулась кругом и помчалась к лифту; мне пришлось бежать, чтобы не отстать от нее.

— Потом! — на ходу крикнула я Оливии.

В лифте было так тесно, что мы вдвоем едва туда влезли. Мне пришлось вжаться в угол, чтобы не вдыхать канцелярский запах Мэгги Маккензи.

В конце концов мы оказались у нее в кабинете, и она стала ходить вдоль полок, забитых книгами, вытаскивая по одной там и сям и вручая мне: критический разбор «Мидлмарча» для студентов, «Литература в перспективе» по Джордж Элиот.

— Это совсем не трудные книги, они тебя не перегрузят. — Она явно пыталась меня подбодрить. — Ну сделай усилие. Ты же всю свою жизнь пустишь под откос.

— Ничего подобного, — сказала я, но без особой убежденности.

— Ты не сдала ни одной работы за весь семестр, — резко сказала она.

Мэгги Маккензи принадлежала к когорте людей, верящих, что всего можно достичь — надо лишь приложить старания. (Полагаю, она была права.) Я опустила взгляд и заметила, что подол моей юбки (бывшего сари) отпоролся и обтерхался, а зеркальца, которыми она расшита, местами висят на ниточках. Типичнейший портрет девушки, в принципе не способной вовремя сдать домашнее задание.

— И на семинары ты почти не ходишь. Сейчас тебя тянет веселиться, это можно понять, но через двадцать лет...

С улицы донеслись нестройные обрывистые крики:

— Чего нам надо?

— Мира!

— Когда?

— Сейчас!

— Начинается, — с некоторым удовлетворением сказала Мэгги.

— Что начинается?

— Конец.

— Как, уже? — спрашивает Нора. — Ведь еще ничего не случилось.

— Ну хорошо, я пойду заканчивать реферат, — сказала я и попыталась бочком выбраться из кабинета.

Тут Мэгги вдруг напугала меня, вскричав:

— Бога ради, соберись, я тебя прошу! Пока не поздно! Как ты

думаешь, что с тобой будет?

Я полагала, что я состарюсь и умру (а если не повезет — то просто умру), но не произнесла этого вслух, так как Мэгги явно ожидала услышать нечто другое. Я лишь пробормотала что-то неразборчивое, и она схватила что под руку подвернулось — экземпляр «Крэнфорда», хотя не думаю, что выбор был сознательным, — и швырнула в меня через всю комнату. Целилась Мэгги, как обычно, плохо, ибо кидалась с отчаяния, а не со злости; «Крэнфорд» ударился в стену комнаты и сорвал оттуда страшноватую репродукцию Фриды Кало. Будь на месте Мэгги Филиппа Маккью, она попала бы мне точно между глаз, а потом поймала бы книгу на отскоке от Фриды.

— Чтобы реферат был у меня на столе в десять утра в пятницу, — распорядилась Мэгги Маккензи. — А не то... Потом сама будешь благодарить, вот увидишь.

Я сомневалась, что буду благодарить Мэгги Маккензи, но молчала — не было смысла злить ее еще сильнее. Она хотя бы задумывалась о моем будущем — в отличие от всего остального человечества, включая меня.

Я поспешила прочь, но меня остановило странное мычание, доносящееся из кабинета Марты Сьюэлл. Я прислушалась и уловила еще кое-какие животные звуки, а потом — отчаянные рыдания. Я поколебалась, стоя за дверью, и наконец постучала.

Открыл Джей Сьюэлл. У него за спиной я видела Марту, сидящую за столом. На ней было серое пончо, сделанное как будто из свалявшегося беличьего меха. Она прижимала руку ко лбу — ее поза воплощала отчаянное горе.

— Мы потеряли Малыша, — объяснил Джей.

— Мои соболезнования, — вежливо сказала я.

Пару дней назад Малыш болел, а теперь вот умер. Как-то очень внезапно. Конечно, я по-прежнему не знала, кто он такой.

— У нас нет детей. — Глаза Джея наполнились слезами. — Малыш был нам как сын.

Мне совершенно не хотелось такой эмоциональной близости с Сьюэллами. Вид Марты в прострации — притом что раньше она не проявляла вообще никаких чувств — пугал. Джей каким-то образом переместил меня внутрь комнаты, и при виде меня Марта зарыдала еще сильнее. Я неохотно протянула руку, погладила ее по плечу и заискивающе сказала:

— Мне очень жаль.

Она вдруг встала, оттолкнув меня, и завизжала на мужа:

— Мы должны его найти! Найти Малыша!

— Значит, он не умер? — осторожно осведомилась я.

Марта в ужасе взглянула на меня:

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Как выглядит Малыш? — Я поспешно перевела тему. — Вдруг я его видела?

— Он очень красив, — сказал Джей.

— У него прекрасные голубые глаза, — добавила Марта, чуть успокоившись и деликатно сморкаясь в бумажный носовой платок.

— Нет, не совсем так. Зеленые, — мягко поправил ее Джей.

— Чепуха, они вовсе не зеленые. Разве что с зеленым оттенком, — уступила Марта. — Возможно, точнее будет сказать — аквамариновые. Я согласна на аквамариновые.

Но Джей не соглашался.

— Не совсем аквамариновые, — хмурясь, произнес он. — Может быть, лазурные.

— Бирюзовые, — предложила Марта, словно игрок в бридж, который делает последнюю, совершенно ни с чем не сообразную ставку.

— Бирюзовые? — задумчиво повторил Джей. — Может быть, сизо-зеленые?

Кем бы ни был Малыш, он явно мог обратиться в прах, пока Джей и Марта решают, какого цвета у него глаза.

— Давайте скажем просто «сине-зеленые»? — участливо предложила я.

— Зеленовато-синие. — Джей Сьюэлл явно не собирался отступить дальше.

В дверях показалась голова профессора Кузенса.

— Я слышал шум. Могу ли быть чем-то полезен?

Он заметил меня, улыбнулся и сказал:

— Я бы вас представил, да не припомню вашего имени. — И со смехом обратился к Джею: — Я и своего имени не припомню, а ее — тем более.

— Кузенс, — серьезно сказал Джей, — вы профессор Кузенс.

— Я пошутил, — сказал профессор Кузенс чуточку пристыженно.

— Они потеряли Малыша, — объяснила я. — Он был им как родной сын. У него синевато-зеленые... зеленовато-синие глаза.

— И роскошная шуба, — добавила Марта.

— Фирмы «Кромби»? У меня однажды была такая. Совершенно роскошная, — с нежностью сказал профессор.

Но Марта не слышала — она погрузилась в лирические воспоминания.
— Цвета расплавленного шоколада. Мы даже собирались назвать его Херши, — печально добавила она.
— Правда? — вежливо откликнулся профессор Кузенс.
— Это мы так шутили, — серьезно произнес Джей.
— Вы можете навести справки в Армии спасения. Я слышал, они умеют отыскивать пропавших людей, — предложил профессор.
Джей и Марта уставились на него.
— Малыш — собака! [или «сабаака»] — осторожно объяснил Джей.
— Чистопородная веймарская легавая, — добавила Марта.
— Веймарская, — повторил профессор. — Это как Веймарская республика?
— Мне нужно писать реферат, — сказала я, бочком просачиваясь в дверь.
— Смотри в оба! Может, Малыш тебе в глаза бросится! — крикнул Джей мне в спину.
Закрывая за собой дверь, я слышала, как профессор Кузенс бормочет:
— Боже, как это было бы ужасно...

Кружным путем

Наконец я сбежала с кафедры английского языка в холодный, скудный дневной свет реального мира. Только дойдя до паба «Гровенор» на Пертроуд, я осознала, что по мостовой, следуя за мной, медленно едет машина. Я остановилась — знакомая ржавая колымага притормозила рядом, и открылась пассажирская дверь.

— Хочешь съездить проветриться? — спросил Чик.

Я колебалась: у «кортины» был такой вид, словно она разлагается на ходу. Чик, кажется, тоже претерпел некоторый упадок с тех пор, как я видела его в последний раз.

— Давай залезай, — сказал он тоном, который, видимо, считал весьма убедительным.

Когда я села к нему в машину впервые, это было глупостью; во второй раз у меня не было выхода, но в третий раз это будет чистым безумием.

— Мне надо писать реферат, — сказала я, забираясь в холодную вонючую машину. — Джордж Элиот.

— Это еще кто такой? — осведомился Чик, отчаливая от тротуара под мерзкий скрежет шестеренок в коробке передач.

— Это она.

— Правда? Я знал женщину по имени Сидней, она работала кочегаром на пароходах компании «Уайт стар». Верить, нет?

На приборной доске стоял подносик с жирной рыбой и жареной картошкой.

— Картошечки? — предложил Чик, беря с подноса что-то вялое и холодное. — Ну а я не откажусь, — сказал он, когда я жестом отказалась. Он ел картошку, не переставая управлять машиной. — Как там профессор? Хороший он мужик. А американочка?

— Терри.

— Это мужское имя, — сказал Чик.

— Она не мужчина.

Чик доел жареную картошку из бумажного кулька, вышвырнул бумажку в окно и вытер руки о колени. Мы колесили по Данди — вроде бы куда глаза глядят: нас заносило то в Хокхилл, то в Хиллтаун, потом обратно в Синдеринс и опять в Хокхилл. Чик заехал в газетную лавочку, в две разные букмекерские конторы, потом остановился у телефонной будки и вышел позвонить, потом навестил магазин ликеро-водочных изделий,

потом медленно (с неизвестной мне целью) проехал мимо здания шерифского суда и сделал небольшой круг в порту. Из одной букмекерской лавочки как раз выходил Ватсон Грант.

— Смотрите! — воскликнула я, пихая Чика локтем под ребра — он очень внимательно читал «Спортивную жизнь» и при этом, как ни странно, продолжал вести машину. — Там Грант Ватсон.

— Кто?

— Ватсон Грант, вы на него работаете, помните? Вы следите за его женой.

— Уже не слежу. Он не заплатил по счету. Мистер Средний Класс, блин, университетский преподаватель, — сказал Чик с некоторым отвращением. — Игроман несчастный.

— Не может быть!

— Еще как может.

— Наверно, его жена потому и завела любовника? — Я вспомнила скорбное лицо Эйлин Грант.

— Ставлю последний доллар, что она от него уйдет, — сказал Чик. — Вот тогда он и вправду влипнет.

— Почему?

— Страховой полис на его тещу.

— Миссис Макбет?

— Ты ее знаешь? — подозрительно спросил Чик.

— Значит, у Гранта Ватсона оформлена страховка на миссис Макбет?

— Нет, не у него, у его жены, как ее там?

— Эйлин.

— У Эйлин; у нее страховка на мать, но когда она уйдет от мужа, то и полис уйдет вместе с ней.

— Так, я, кажется, поняла. Если миссис Макбет умрет сейчас, точнее, если Эйлин Грант умрет сейчас, Ватсон Грант получит деньги. Но если Эйлин с ним разведется, он не получит никаких денег, когда умрет миссис Макбет, правильно?

— Мне нравится, как ты все разложила по полочкам, — говорит Нора. — Старайся почаще так делать.

— Да, но если все разложить по полочкам... — начал Чик, но был вынужден прерваться, так как уронил себе на колени горящую сигарету и едва увернулся от фонарного столба, который «торчал у него на дороге».

Что бы ни делал Чик, казалось, что он задумал недоброе — хотя бóльшая часть его поступков наверняка объяснялась самыми невинными

причинами. Он остановился отлить в общественном туалете на Замковой улице. Он заглянул в «Уоллес» за классическим местным вариантом ужина навynos — форфарским мясным пирогом и «щолукодобаы» (последнее на местном языке означало «еще один с луком добавьте, будьте так добры»). Я от пирогов отказалась. Проехав насквозь автовокзал на Морской — к большому негодованию шофера, пытающегося развернуть огромный рейсовый «Блюберд», идущий в Перт, — мы притормозили у ворот старшей школы, откуда как раз валила толпа учеников.

От толпы отделилась высокая хорошенькая девушка и подошла к нашей машине. У девушки были коротко стриженные темные волосы, и вся она была такая чистенькая и аккуратная в серой школьной форме, что мне захотелось в наказание переписать тысячу раз: «По одежке встречают». В руках у нее был огромный портфель, а на рукаве блейзера — желтые нашивки старосты.

Когда она подошла, Чик опустил стекло в машине. Не крикнуть ли, предостерегая девушку? Мне еще сильнее захотелось это сделать, когда он достал пачку мятных таблеток и предложил ей. Чик как две капли воды походил на персонажа воспитательных фильмов, убеждающих детей не брать конфеты у незнакомцев. Девушка взяла мятную таблетку, наклонилась, чмокнула Чика в щеку, сказала: «Спасибо, папа», слегка махнула рукой и пошла своей дорогой.

Я была поражена:

— Это что... сраная соплячка?

— Одна из, — резковато сказал он, трогаясь с места в скрежете шестеренок. Он догнал девушку и крикнул: — Ты, наверно, хочешь, чтобы я тебя подвез?

— Нет, спасибо, — сказала она.

— Вот и хорошо, потому что я не такси, блин!

Девушка засмеялась.

— У вас, должно быть, очень слабые гены, — сказала я Чику.

Следующим пунктом нашего назначения оказалось бюро ритуальных услуг в Стобсуэлле. Мы перешли в уже знакомый мне режим наружного наблюдения. Иными словами, Чик потушил сигарету, сложил газету и закрыл глаза.

— Хотите, чтобы я посторожила?

— Да, шумни, если что-нибудь резанет глаз, — ответил он.

Я почувствовала, как отсутствующего и невидимого профессора Кузенса слегка передернуло от ужаса. Всего через несколько секунд Чик

захрапел.

Когда он проснулся, я отрапортовала, что из здания никто не выходил, никто туда не входил и ничто не резануло мне глаз.

— Ясно, тогда надо зайти посмотреть, — сказал Чик, выгружаясь из машины.

Я пошла за ним в бюро ритуальных услуг, где нас приветствовал деловитый распорядитель. Как жаль, что Терри с нами не было — этот визит ее просто осчастливил бы. Я думаю, работа в похоронном бюро ей идеально подойдет. Впрочем, здешняя пресная обстановка ее разочаровала бы — внутри бюро больше походило на вестибюль конторы по продаже сантехники, напоенный ароматом освежителя воздуха.

— Мы пришли на последнее прощание, — сказал Чик распорядителю.

Оказалось, что в бюро ритуальных услуг нашли временный приют сразу несколько усопших, а Чик не знал, кого именно собрался повидать.

— Ну это... из «Якорной стоянки», — попробовал он.

Распорядитель был вежлив, но бдителен. Лишь когда Чик помахал недействительным удостоверением полицейского, нас наконец пропустили к нужному трупу.

— Смотрите, чтобы это не оказался кто-нибудь, кого я знаю, — предупредила я Чика. Я никогда не видела трупов, никто из моих знакомых не умирал...

Нора опять начинает загибать пальцы, считая покойников, и я велю ей перестать. Она пожимает плечами. Она сушит мокрые пряди волос перед камином, где горят сырые зеленые дрова, собранные на берегу.

Мы ждем, пока наш ужин — картофельный суп — достигнет полусъедобного состояния, и коротаем время, потягивая странный спиртной напиток, изготовленный Норой в импровизированном самогонном аппарате.

— Из чего? — подозрительно спрашиваю я.

Напиток выглядит и пахнет так, словно его зачерпнули со дна стоячего пруда.

— Из водорослей.

Огонь в камине — наш единственный источник света, весьма тусклый. Электричества здесь, конечно, нет. Его давно отключили. Мы бережем ресурсы — у нас осталось лишь несколько свечек и одна канистра керосина. Надо бы пополнить запасы, но море слишком беспокойно для «Морской авантюры». Неожиданно для меня Нора отлично управляется с лодкой — она может грести без усталости много миль, она умеет находить

путь по звездам, она знает каждый водоворот, каждый прилив и каждое течение в здешних, ее родных, водах. Но все годы, пока мы жили у моря, я ни разу не видела ее на воде. Где же она обучилась морскому делу?

— Я научилась от сестры, — говорит Нора, — она была «дитя воды».

Красавица Эффи, утонувшая в день моего появления на свет? Как же можно утопить «дитя воды»?

— Трудно, но можно, — мрачно говорит Нора. И напоминает мне, словно пытаюсь сменить тему: — Ты в зале ритуальных услуг и сейчас увидишь первого в своей жизни покойника...

К счастью, свет в зале, где лежало тело, был тусклый. Я замешкалась у двери — мне вдруг стало страшно заглядывать смерти в лицо. У меня так заколотилось сердце, что слышно было, думаю, и трупу. Чик созерцал содержимое гроба безмятежно, словно рыбок в аквариуме. Может, он перевидал много покойников?

— Да уж повидал свою долю, — кратко сказал он, словно каждому из нас выделяется норматив. — Мисс Андерсон!

Последние слова прозвучали так, словно он представлял мне покойницу. Я осторожно приблизилась.

— Она не кусается, — сказал Чик.

Да уж надеюсь. Чик взял меня под локоть, приглашая подойти поближе.

Гроб был выложен чем-то белым с рюшами, словно форма для суфле. В нем лежало тело старухи, которая, к счастью, оказалась мне незнакома. Кожа лица напоминала свечной воск, а поджатые тонкие губы наводили на мысль, что она умерла с жалобой на устах. Я вспомнила, что миссис Маккью назвала мисс Андерсон «сварливой бабусей».

— Так что, вы думаете — ее кто-то убил? — шепнула я Чику.

— С какой стати я буду так думать?

— А тогда зачем вы здесь? И почему вы были на похоронах Сенги?

— Она была моя тетя. Тетя Сенга.

— Тетя Сенга?

Может, она и приходилась ему тетей, но почему-то ни одно слово Чика не внушало мне доверия.

Я сказала ему, что, по словам миссис Макбет, мисс Андерсон ужасно боялась, что ее похоронят заживо.

— В самом деле? — сказал Чик, вытащил из кармана перочинный нож и безо всяких преамбул ткнул мисс Андерсон в жесткую жилистую руку.

Я взвизгнула, но тихо, учитывая царящую в заведении тишину и явно незаконный характер деяния.

— Она совершенно определенно мертва, — сказал Чик, словно только что оказал мне услугу; но я уже покинула помещение.

Вслед за этим мы совершили спиральный подъем по склонам Лоу, потухшего вулкана, у чьих усыпанных пеплом подножий был построен Данди. Мы припарковались, как туристы или влюбленные (хотя определенно не были ни теми ни другими), вылезли и обошли вершину, чтобы увидеть всю круговую панораму. На холмах Сидлоус лежал снег, а река Тей была цвета полированного олова.

— Приятное местечко, — сказал Чик. — Во всяком случае, издали.

Он вытащил из кармана очередную плоскую бутылку «Беллс» — я очень смутно вспомнила, что помогла ему прикончить предыдущую.

— Давай-давай, чтобы волосы на груди выросли, — сказал Чик. — Совсем как у Сидней.

Он захохотал — это был странный влажный хрип, перешедший в резкий сухой кашель и неприятное удушье, которое, судя по всему, можно было вылечить только сигаретой.

— Так что, вы думаете, кто-то убивает стариков? — не отставала я.

— Я такое говорил?

— Может, это Ватсон Грант. Может, он надеется убить миссис Макбет раньше, чем Эйлин от него уйдет, а других стариков убивает, чтобы отвести внимание от настоящей жертвы, миссис Макбет.

— Ты слишком много книжек читаешь.

Пошел снег — холодная мокрая гадость, тающая на лету.

— Ну, хватит наслаждаться природой, — сказал Чик и быстро залез обратно в машину.

Снег становился гуще — он кружился в вихрях на вершине Лоу, так что сидеть в машине было все равно что внутри гигантского стеклянного шара со снежинками. Данди исчезал за белым покрывалом, а Чик неторопливо приканчивал бутылку виски. Станным образом — странным, если принимать во внимание существенные недостатки в характере Чика, — мне было с ним спокойно. Словно в его присутствии со мной не могло случиться ничего плохого. Может, именно так чувствуют себя люди, у которых есть отец. Но откуда мне знать?

Я попыталась вытянуть из него еще какие-нибудь биографические подробности. В ответ он лишь изрыгнул поток хулы — на стерву и оценщика потерь, а в особенности на канареечно-желтый «капри» оценщика.

— Как можно оценить потерю? — спрашивает Нора, разливая картофельный суп, вязкий от крахмала.

— Может, это значит понять, что потеря была только на пользу? — предполагаю я.

— Не думаю.

Нора сегодня вечером явно мрачна, — видимо, это все аперитив из водорослей.

Мы двинулись обратно в город.

— Ты у меня уже кучу времени отняла, — буркнул Чик. — Это тебе, наверно, нечем заняться, а мне надо дело делать. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда.

— Это вы у меня отняли время! Мне нужно писать реферат...

— Слишком много диалогов, — вздыхает Нора. — Я предпочитаю описания.

Пока мы ехали по Нижней, нас сопровождал огромный зимний закат, будто намалеванный яркими красками, кроваво-алой и венозно-фиолетовой, на западной части неба. Словно где-то выше по течению творилась массовая резня. Лучи умирающего солнца, отраженные в воде, превращали Тей (в кои-то веки) в поток расплавленного золота. Скоро по-настоящему подморозит — в воздухе пахло холодом.

— Так тебе больше нравится?

— Да.

Я думаю, что ежедневный восход и закат солнца — это большое инженерное достижение. Конечно, я знаю, что движения небесных тел не сводятся к работе какого-нибудь механизма. Но мне нравится думать, что это именно так. Через несколько секунд солнце уже соскользнуло с неба — к антиподам, или куда оно там уходит, — и темнота потемнела еще сильнее.

Нора хмурится:

— Теперь ты просто играешь словами.

— Славный выдался закат-то, — сказал Чик. — Не хочешь поесть китайского? Можно пойти в «Золотую удачу».

— Ну... ладно, — сказала я.

— У тебя деньги есть? — спросил Чик, когда мы доели обед (в том числе он — вторую порцию бананов, жаренных во фритюре). — Я, кажется, оставил дома бумажник.

Море в проливе серое и зыбится — в него так же не хочется лезть, как в ванну с чужой грязной водой. Даже рассказуйки куда-то попрятались.

Последние дни были слишком ветрены — ветер взъерошил нам мозги и перепутал мысли. Воздух впитал влагу и держит ее, словно тряпка.

Мы сидим на кухне у камина, где горит сырой плавник с кусками старых птичьих гнезд. От чая осталась только труха на дне чайной шкатулки. Может быть, мы умрем от голода и жажды.

— Воды на острове хватает, — говорит Нора.

На острове, можно сказать, ничего и нет, кроме воды, — дождь поливает его уже много дней, ручейки переполнились, небольшие водопадики превратились в мощные водяные стены. Наверно, скоро начнет подниматься уровень моря. Моя мать — убийца. Я упоминала об этом? Похоже, мы застряли на этом клочке земли, словно таков наш удел по сюжету и нам никуда не сбежать.

— Шторм идет. — Нора принюхивается, как собака.

Но она всегда так говорит.

— Твоя очередь, — напоминаю я, бросая в камин еще одно жалкое полешко.

— А может, не надо? — спрашивает Нора. — Может, я вместо этого схожу в туалет, отвечу на телефонный звонок или сделаю еще что-нибудь нудное и отвлекающее от сюжета?

— Нет. И вообще, у нас нет телефона. — (К нам даже почтальон не звонит. Даже единойжды.) — Расскажи про свою красавицу-сестру, которая умерла в день, когда я родилась.

Нора вздыхает так глубоко, что ее вздохом можно было бы измерить глубину пролива.

— Это весьма неправдоподобная история, и тебе будет трудно поверить в ее истинность. Итак... сначала была Дейдре, которая умерла, потом Лахлан, потом — через год — Эффи, зачатая в грозу и рожденная во время землетрясения.

— В Шотландии?

— Маленького землетрясения. Они тут бывают. Иногда.

— Очень редко.

— Она родилась в день зимнего солнцестояния, когда мир погружается во тьму и все живое уходит обратно в землю. Когда земля спит. Однако Эффи была неугомонна и скоро совсем замучила хрупкую здоровьем Марджори. С виду казалось, что Эффи обладает природой саламандры, что ее стихии — огонь и воздух или какая-то иная нематериальная субстанция, но на самом деле она происходила из некой темной подземной дыры. Злобный дух, коварный келпи. Только Лахлан ее терпел, и то потому, что был слеплен из той же порочной глины. Когда они были вместе, их

подлинное «я» раскрывалось наиболее глубоко.

Эти двое были необузданны и дики. Марджори и Дональд, похоже, не знали, что с ними делать. Родив три раза за три года, Марджори так и не оправилась и скоро начала искать утешение в бутылке джина, а Дональд, конечно, был уже в преклонных годах, да и вообще никогда особо не интересовался своими детьми. Так что воспитание Эффи и Лахлана оставили на откуп череде нянек и гувернанток. Ни одна из нянек и гувернанток долго не выдерживала — ходили слухи, что одна из них даже попала в больницу (вышла какая-то история с какао и липучкой для мух). Точно известно, что одна «парадная» горничная покинула дом с рукой в гипсе и отступными в кармане. Какая бы беда ни случалась, Эффи и Лахлан неизменно оказывались неподалеку. Марджори называла это проказами и осушала очередной стакан джина.

В конце концов детей услали учиться: Лахлана в Гленалмонд, по семейной традиции, а Эффи — в школу Святого Леонарда. Порознь они вели себя несколько лучше, но все равно удивительно, что их не исключили. Кроме того, их отпускали на каникулы — тогда они бесились как могли и истязали все живое.

Они бродили по лесам и полям, как цыгане, протыкая булавками гусениц, разрезая червей пополам перочинными ножами, ловя рыбу и давя ее камнями. Еще был какой-то случай с кошкой лесничего — ее нашли висящей на дереве, с отрезанным хвостом...

— Ты уверена, что не сочиняешь?

— С чего бы мне сочинять?.. Их любимым местом было озеро. Кроме них, туда уже давно никто не ходил. Тамошний вид был мрачен — над черной водой нависали ивы, а со всех сторон подступал разросшийся лес. Каналы, когда-то питавшие озеро водой и служившие стоками, засорились, и от озера пахло затхлостью, застоем. Время от времени мутную воду пронзал темный щучий силуэт, подобный субмарине.

Когда Лахлану было семь лет, он швырнул сестру в озеро — такой уж он был мальчишка. К тому времени, как она добралась до берега и вылезла на сушу среди полугнилых камышей, она научилась плавать. Такая уж она была девчонка.

— Тогда она и стала дитятей воды?

— Да.

— А что потом? — Моя мать (которая мне на самом деле не мать) явно не очень хорошая рассказчица, правда? — И что, она была красивая?

— Да, — неохотно отвечает Нора, уступая моим навязчивым расспросам.

— А как она выглядела?

— Как положено — синие глаза, тициановские волосы, округлые руки и ноги, высокая грудь. Лично я всегда считала, что у нее глаза слишком широко расставлены. Как у лягушки. Еще она обгрызала ногти до мяса.

— А что она была за человек?

Нора пожимает плечами. Мне приходится вытягивать из нее каждое слово, как будто зубы дергать.

— Ну опиши ее, хотя бы неполными предложениями. Отдельными словами, если уж никак иначе, — настаиваю я. — Начни с буквы «а», если тебе так проще.

Нора набирает воздуха в грудь:

— Аморальная, бранчливая, воображала, грязнуля, духовно бедная (устар.), еле выносимая, ёра, жадная, зомби (ходячая покойница), изуверка, каналья, ленивая, мошенница, наглая, олигархичная, психопатка, сварливая, тиранка, удушенница (по-хорошему ее бы следовало удавить), фанфаронка, художница (точнее, вечно устраивала всякие художества), циничная, чертовски страшная (душой), шлюха, щекотливая, вБдра, дрянЬ, сЪехавшая с катушек, эксплуататорша, юдофобка...

— Что, правда?

— А кто ее знает. Возможно...яхтсменка (хорошая).

— Значит, у нее не было ни одной положительной черты?

— Нет.

— Ничего, что оправдывало бы ее существование?

— Нет.

Похоже, сильно запущенный случай соперничества сестер. Но ведь Эффи было уже четырнадцать лет и она уже уехала учиться в школу, когда родилась Нора? К тому же — как проспиртованная Марджори и стареющий Дональд умудрились зачать ребенка, пускай даже в качестве запоздалого послесловия?

— Ну хорошо, продолжай свой малоправдоподобный рассказ.

— Эффи в конце концов выросла. Вышла замуж, развелась (два раза) и умерла. Конец.

— Это нечестно!

— В эпоху постмодернизма все позволено. Что хочу, то и делаю.

Моя мать мне не мать. Ее сестра ей не сестра. Воистину мы все перемешались, как печенье в коробке.

Chez Bob

— Ты вернулась! — прогрохотал голос Брайана из недр «Краба и ведра».

— Я никуда и не ездила, болван ты этакий, — ответила мадам Астарти, пробираясь меж висячих драпировок из рыбацких сетей и стеклянных поплавок, составляющих дизайн интерьера в «Крабе и ведре», или просто в «Крабе», как его запросто называли местные.

Сюда часто заходили туристы, сочтя паб живописным, подлинным атрибутом местной жизни (в нем пахло сырой рыбой), но тут же вылетали обратно, не успев поднести стакан к губам. Причиной был не столько мрачный зеленый подводный свет внутри паба или чучела рыб с мертвыми глазами в стеклянных витринах по стенам, сколько негостеприимство и даже открытая враждебность местных жителей. Будь они на стороне генерала Кастера, ему удалось бы еще день простоять да ночь продержаться.

Мадам Астарти даже не нужно было смотреть в сторону бармена — он, меланхоличный мужчина по имени Дон (Рыцарь Печального Образа, как звали его местные за глаза), уже достал стакан, влил туда изрядное количество джину и плеснул чуть тоника, для порядка.

— Зато я побывал в аду и вернулся, — бодро заявил Брайан.

— Не преувеличивай, ты всего лишь ездил с Сандрой в Скарборо за покупками. — Мадам Астарти взгромоздилась на барную табуретку рядом с ним. — Кстати, где она?

— Скоро будет. — Брайан засунул в стакан с пивом столько лица, сколько получилось, и вдохнул испарения. Лицо исказил легкий спазм боли. — Я забыл вставить ортопедические стельки.

Мадам Астарти выразила соболезнования.

— Ах, Рита, почему я не женился на тебе?

— Потому что я не захотела, — сказала мадам Астарти и щелкнула его по костяшкам пальцев...

Чем? Вафлей в форме веера, оставшейся от мороженого? Хрустальным шаром? Боже, как это утомительно. У меня явно поднималась температура — меня бросало то в жар, то в холод. Я выпила две таблетки парацетамола, легла в постель с принадлежащей Бобу синей грелкой в виде плюшевого мишки и стала читать «Восстание индейцев». Потом я, видимо, задремала, потому что в следующий миг рядом со мной в кровати оказался Боб. Он

утверждал, что провел ночь в «Таверне» — студенческой забегаловке, для которой были характерны особо разнузданные дебоши. Очень странно — часом раньше оттуда позвонил Шуг и спросил, не знаю ли я, где Боб.

— Если придет Алиса, а также Бернард или Вольдемар, то придет и Глория, — серьезно сообщил Боб. — Бернард и Джеральд либо оба придут, либо оба не явятся. Алиса придет, только и если только будут одновременно Вольдемар и Джеральд. Значит, Глория не придет, если не придет Алиса.

— Боб, что ты несешь?

— Не спрашивай. Исходя из перечисленных выше посылок: а) Могут ли прийти все пятеро? Могут ли прийти только четверо, и если да, то кто именно? Могут ли прийти только трое, и если да, то кто именно? Могут ли прийти только двое, и если да, то кто именно? Может ли прийти только один человек, и если да, то кто? Может ли получиться так, что никто не придет? б) При каких обстоятельствах придет Алиса? в) Чьего отсутствия достаточно, чтобы гарантировать отсутствие Бернарда? г) Может ли прийти Бернард, если не придут ни Алиса, ни Джеральд?

К этому времени я, конечно, уже спала.

У мадам Астарти пульсировало в голове. Она подозрительно вглядывалась в остатки на дне стакана. Она еще не допила, а уже страдала от похмелья. Давным-давно один человек пытался подсыпать ей в стакан снотворного, чтобы продать ее в «белые рабыни». С тех пор мадам Астарти старалась, пьянея, сохранять максимальную бдительность. Впрочем, сейчас она уже явно не годилась в белые рабыни.

— Я никогда не могла понять, что это значит, — сказала Сандра.

Мадам Астарти казалось, что узкие красные губы Сандры формируют звуки на пару секунд позже, чем эти звуки слетают с губ. Мадам Астарти подалась вперед — сообщить Сандре, что она не в ладу сама с собой, — но потеряла равновесие и чуть не опрокинулась вместе с табуретом.

— Чего именно ты не понимаешь, дорогая? — спросил Брайан у Сандры. — Слова «продать», слова «белые» или слова «рабыни»?

Кожа на шее и груди Сандры с годами огрубела и стала пупырчатой, похожей на куриную. Сандра закинула одну покрытую искусственным загаром ногу на другую и покачала ступней, перетянутой золотыми ремешками босоножки.

— Рита, придешь в этом сезоне на нас посмотреть?

— Как будто я хоть один сезон пропустила, — ответила мадам Астарти.

Брайан и Сандра были не просто Брайан и Сандра: они по совместительству являлись «Великим Пандини и его прекрасной ассистенткой Сабриной». Без них не обходился ни один летний концерт и ни одно представление в летних лагерях по всей стране. Каждый вечер Брайан скидывал обыкновенный пуловер и полиэстеровые брюки и преображался в подобие графа-вампира благодаря цилиндру и черному плащу с алым атласным подбоем («Из „Дворца остатков“, по семьдесят пять пенсов за метр, то есть пятнадцать шиллингов за ярд, если считать по-человечески», как объяснила Сандра). Сама Сандра влезала в чулки сеточкой и черное атласное платье, готовясь к тому, что ее будут перепиливать пополам и «исчезать» из ящика.

— Дикки Хендерсон, вот он был великий артист, — произнесла Сандра.

— А он умер? — спросил Брайан.

— Может быть, — мрачно сказала мадам Астарты. От жары и шума в «Крабе и ведре» ей явно становилось нехорошо.

— Еще по одной? — бодро спросил Брайан, обращаясь скорее к себе, чем к кому другому.

— Ты и так уже перебрал, — сказала Сандра. — Я выпью портвейна с лимоном, и ты тоже, но полстакана, не больше. Рита?

— Не откажусь.

— Сигаретку?

— Давай.

— Ты слыхала про ту женщину? — спросила Сандра. Ее лицо то расплывалось, то снова обретало резкость. — Которую выудили из моря. Ужасное дело.

— А уже знают, кто она есть? — спросил Брайан, залпом опрокинул свой полстакана и с надеждой уставился на дно, словно ожидал, что напиток появится там снова.

— Кто она была, Брайан, — поправила Сандра. — Ее больше нет. Если я правильно запомнила, ее звали Анн-Мари Девин.

— Как?! — Мадам Астарты опрокинула напиток на себя.

— Анн-Мари Девин, — повторила Сандра. — Она была жрицей любви. Рита, эй, отомри?

— Жрицей любви? — эхом отозвался Брайан.

Сандра вытащила из пачки еще одну сигарету.

— На, закури, — обратилась она к Брайану.

О нет, подумала мадам Астарты, только не это. Они начинают...

— Бедная тетка, — сказал Брайан. — Интересно, как она выглядела?

— Вроде меня, — сказала Сандра, — хоть мне не родня.

— Вот это жуть.

— Поди, приняла на грудь, прежде чем утонуть.

Мадам Астарти застонала. Стены паба уже начинали вертеться вокруг нее. Надо скорей убираться из этого кошмара.

Ветер ревет, море воет. Нора стоит на мысу, как фигура на носу корабля. По-моему, она пытается вызвать бурю. Это отвлекающий маневр — она готова на все, лишь бы не заканчивать свой рассказ.

Моя мать мне не мать. Мой отец мне не отец. Отец Норы ей не отец. Воистину мы все перемешались, как печенье в коробке.

Внутри земного шара имеется другой шар

На первом этаже Башни царил хаос. Там клубилась шумная толпа — большинство собравшихся явно не очень понимало, что делать дальше. Многие, конечно, пришли только в надежде увидеть что-нибудь захватывающее.

— Ценность захватывающих зрелищ сильно преувеличена.

Несколько человек осаждали Роджера Оззера — он стоял на лестнице, ведущей в библиотеку, и ораторствовал. Он проповедовал кучке воинственно настроенных студентов — в основном функционеров из Общества социалистов. Многие из них сидели по-турецки на полу, и в целом это выглядело так, словно он проводит собрание учеников начальной школы. Социалисты-аппаратчики громко выражали свое мнение, — казалось, они вот-вот начнут размахивать цитатниками Мао. Я поняла, что у меня сейчас опять заболит голова.

Я заметила Оливию — она стояла поодаль от толпы. У нее был странно-безучастный вид, словно ее кто-то загипнотизировал. За головой у Роджера Оззера кто-то размахивал плакатом: «ВОССТАНИЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО И, КАК ВСЯКОЕ ИСКУССТВО, ИМЕЕТ СВОИ ЗАКОНЫ». Я решила, что это придумала Шерон, но Оливия сказала:

— Нет, это цитата из Троцкого.

— Что здесь происходит?

— По-моему, Роджер призывает уничтожить университет. Он хочет на его месте создать «Университет улиц» или что-то в этом роде, — устало сказала она.

— Улиц? А я думала, мы протестуем против войны... или против правительства...

Оливия равнодушно пожала плечами и вдруг в качестве эталонного поп-sequitur объявила:

— Я беременна.

Она была бела как молоко.

— Мои соболезнования... или поздравления? В общем, что хочешь.

— Угу, — двусмысленно сказала она.

Очередная фраза, выкрикнутая Роджером, кажется, разозлила его слушателей.

— Скажи, пожалуйста, я могу с тобой поговорить? — спросила Оливия.

— Со мной?

Но тут прискакал Робин в красных вельветовых штанах на лямках и футболке с длинным рукавом в бело-синюю полоску — словно ведущий детской передачи «Учись и играй». На одной лямке у него красовался значок в форме щита с надписью: «Староста школы».

Я спросила, вправду ли он был старостой.

— Это иронический комментарий по поводу природы власти, — объяснил он.

— Я тебя потом поймаю, — сказала мне Оливия и растворилась в толпе.

— Это настоящее! — с жаром воскликнул Робин. — То, что сейчас происходит, очень важно!

— А я не знала, что буддисты интересуются политикой.

— Буддисты?

— Вчера ты был буддистом.

— Ну и что, а сегодня я, может, маоист. Ты ничего не знаешь.

С его последними словами я спорить не могла.

К нам через мешанину тел пробились Шуг и Боб.

— Анархия рулит, — лаконично заявил Шуг.

Боб держал кулек из коричневой бумаги, доставал оттуда волшебные грибы и ел один за другим, словно леденцы. Он предложил кулек Робину.

— Вы — людишки без убеждений, верно ведь? — сказал Робин, отправляя в рот пригоршню псилоцибиновых грибов. — Ленивые гедонисты. Вас волнуют только собственные мелкие жизни.

— Его политизировали, — объяснила я Бобу и Шугу.

— Ух ты! — сказал Боб. — Больно было?

Рядом с Робинем появилась Шерон.

— Прямое действие, — сказала она, лихорадочно тряся сосками, — это единственный способ что-либо изменить.

— Именно! — согласился Робин.

— Херня, — сказал Шуг (очень лаконично, подумала я).

— Когда придет революция, вас и таких, как вы, поставят к стенке первыми! — прошипела Шерон.

Робеспьер, Сталин, Шерон — траектория развития политической мысли стала мне ясна. Шерон в полемическом задоре принялась разглагольствовать о том, как студенты будут править миром и как рабочие с местной часовой фабрики и хлебозавода возьмут на себя управление факультетом гуманитарных и общественных наук (кстати, вот это могло бы оказаться и к лучшему).

— А я думала, мы митингуем из-за Вьетнама... или из-за шахтеров... — удивилась я.

При виде моей тупости Робин вздохнул:

— Мы митингуем из-за всего!

— Из-за всего? Но это же очень много разного...

— Ты ничем не лучше своего парня, — обиженно сказал Робин.

Боб растерянно посмотрел на меня.

— Это он про тебя, — объяснила я.

— Мы поднимаем восстание! Нам не нужны легкомысленные люди вроде вас! — сказал Робин.

— И пятая колонна! — добавила Шерон, угрожающе глядя на меня.

Все это не улучшало моего самочувствия. Помимо головной боли, у меня началась ломота в руках и ногах, а горло будто натерли наждачной бумагой.

Боб и Шуг объявили, что «зависнут» тут и посмотрят, что будет дальше, а я пробилась через толпу и выбралась в коридор, надеясь не попасться на глаза Мэгги Маккензи.

Внезапно до меня донесся ее строгий голос — можно подумать, что, вспомнив о ней, я вызываю ее неким волшебным образом, — и я поскорее скрылась в женском туалете.

Там оказалась Терри. Она сидела на подоконнике перед зеркалами в компании неожиданной новой собаки: шелковисто-гладкой, очень элегантной и явно породистой — гораздо более утонченного воплощения собачьей сущности, чем давешний неуловимый желтый пес. Новая собака и Терри делили между собой пакетик шоколадного драже: одно Терри, одно собаке и так далее. Животное брало драже с ладони Терри губами, словно лошадь-чистюля.

— Познакомься, это Хэнк, — сказала Терри гордо, словно сама только что родила этого пса. — Я его нашла.

Она потерлась о мокрый собачий нос своим, чуть более сухим.

— Правда, он потрясающий?

Пес меланхолично воззрился на меня красивыми глазами цвета морской волны. Меня посетила ужасная мысль.

— Как называется эта порода?

— Боже, какая ты невежда. Веймарская легавая, как же еще.

— Да, я так и подумала.

Я не решалась разрушить новообретенное счастье подруги своими подозрениями по поводу того, откуда взялся Хэнк. Ибо кто это мог быть, если не Малыш? Терри встала и осторожно потянула за веревку, которой

была обвязана шея собаки.

— Нам надо идти. Купить всякое.

— Всякое?

— Ну да. Всякие собачьи вещи.

— Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?

— Нет, я справлюсь.

Терри соскочила с подоконника. Пес тенью последовал за ней, и она целеустремленно (этого наречия она еще ни разу не использовала на моей памяти) направилась прочь. Она даже темные очки сняла. Может быть, под панцирем ламии все еще таилась типичная американская девушка — бодрая, находчивая студентка, из тех, что подрабатывают бейбиситтингом и становятся королевами выпускных балов. Кажется, новой Терри я была уже не нужна.

Неужели меня так легко заменить? — думала я, выходя из женского туалета в коридор. И кем — собакой! Впрочем... а что, если это решение проблемы с Бобом? Можно подарить ему собаку, и она меня заменит. И будет относиться к нему лучше, чем я. Собаки не умеют готовить, зато не склонны осуждать ближних.

Меня так поглотила эта идея — я уже воображала Боба с игривым бордер-терьером, способным выполнять простую работу по дому, — что я не заметила Мэгги Маккензи, рассекающую Сумрак, и со всего маху врезалась в нее. Из меня это столкновение вышибло дух, но Мэгги, кажется, ничто не могло поколебать.

— Мисс Эндрюс, — резко произнесла она, — ввиду вашей неорганизованности я продлеваю установленный мною крайний срок. Я даю вам время до послезавтра, до десяти утра.

У меня так все перемешалось в голове, что я с трудом понимала, о чем она говорит.

— Если к этому времени ваш реферат не будет у меня, мне придется сообщить ректору, что вы не допущены к получению диплома.

Студсовет был полон людей, которые лихорадочно обсуждали оккупацию, подрывную деятельность и насильственный захват библиотеки. Все, кроме Андреа и Кевина, которые, мрачно терпя общество друг друга, вели долгий спор о каком-то запутанном моменте эдраконийской юриспруденции. Андреа, в платье-халате из марлевки, мучительно решала, съесть ли ей картофельный чипс с солью и уксусом.

В баре завязалась потасовка между регбистами и революционерами. Кевин сердито сказал:

— Они просто смешны. У них за душой ничего нету, кроме лозунгов и жаргона. В Эдраконии люди, если во что-то верят, готовы отдать за это жизнь. У них и оружие есть, настоящее — рапиры, кинжалы, толедские клинки. Откованные из лучшей стали, украшенные бронзой, серебряной и золотой гравировкой. Стилеты, глефы, палаши, бомбарды, фальконеты...

Я смылась под каким-то предлогом. Наконец я нашла Оливию в очереди в кафе — она пыталась удержать одновременно поднос с едой, неухватистое тело Протея и новомодную коляску «Макларен» в бело-синюю полоску. Коляска была сложена в подобие зонтика. Я предложила взять поднос, Оливия сказала спасибо и вместо подноса пихнула мне в руки Протея. У него на щеках пылала сыпь — признак режущихся зубов. Он целиком засунул в рот один маленький боксерский кулачок, словно пытаюсь себя съесть.

— Ты, случайно, не видела Кару? — спросила Оливия. — А то она меня попросила подержать его минуточку, а уже куча времени прошла.

— Увы, нет.

Она загружала поднос коробочками разных сухих завтраков и пакетиками молока.

— Как ты думаешь, он сможет это есть? Здесь не продают никакой детской еды.

Мы нашли место за столиком в углу. Оливия посадила Протея на колено, и мы стали ложкой совать ему в рот кукурузные хлопья. По-видимому, он нашел эту идею одновременно страшной и притягательной. Завидя приближение ложки, он неизменно разевал рот, как огромный птенец, а потом впадал в некий лихорадочный спазм, дрыгая руками и ногами и попискивая от новизны происходящего. Иногда он выплевывал «Рисульки» или шоколадные шарики, и они разлетались, как шрапнель.

— Я уверена, что его уже пора отлучать от груди, — смущенно сказала Оливия.

— Так называется то, что мы делаем? — Я и вправду ничего не знала.

— Роджер хочет, чтобы я оставила ребенка, — сказала Оливия.

— Оставила? — не поняла я.

Я забыла, что она беременна, и сперва подумала, что речь идет о Протее.

— Он говорит, что я могу жить с ним и Шейлой. — Она изумленно помотала головой. — Представляешь?

Я не могла себе такое представить.

— А Шейла знает?

— Нет. Но это не имеет никакого значения. Я сделаю аборт, — ровным

тоном сказала она.

— Ты уверена? Просто у тебя так хорошо получается с детьми...

— Я считаю, что неправильно рожать новых детей в этот ужасный мир, — печально сказала она. — Ну то есть любой человек хочет, чтобы его дети были счастливы, а ведь люди никогда не бывают счастливы, правда же? Я бы не вынесла мысли, что мой ребенок несчастен. Или что он состарится — станет беспомощным стариком или беспомощной старушкой, а меня рядом не будет, чтобы о нем позаботиться, потому что я к тому времени уже умру.

Я пыталась придумать что-нибудь жизнеутверждающее, чтобы возразить на эту трагическую тираду, но тут Протей капризно взвыл. Мы обе уставились на него, словно он хранил ключ к какой-то тайне, но он только снова засунул кулак в рот с таким видом, будто сейчас разревется.

— Он весь как в огне, бедненький, — сказала Оливия, кладя прохладную белую ладонь Протею на лоб. — Давай-ка я лучше унесу его отсюда.

В студсовете было шумно и дымно — то и другое было, скорее всего, не полезно для младенца и уж точно не полезно для меня, так что я вышла вслед за Оливией.

— Все равно спасибо, ты настоящий друг, — сказала Оливия.

Мне стало не по себе, потому что я никогда не считала себя ее подругой.

— Пока, — сказала она.

На улице, у главного входа в студсовет, стояла Мейзи, в полной школьной форме.

— Ну наконец-то, — сказала она раздраженным тоном женщины гораздо более старшего возраста.

— А мы разве договаривались встретиться? И разве ты сейчас не должна быть в школе?

— Ответ на оба вопроса — да. Идем скорей, мы опаздываем.

Послышался слабый крик — к нам со всей возможной (для него) скоростью трусил профессор Кузенс.

— Здравствуйте, — выговорил он, задыхаясь.

Я усадила его на скамью у студенческого общежития «Приморский склон». Мы созерцали железнодорожные склады и реку Тей (сегодня она была цвета сплава олова со свинцом), пока профессор не перевел дух.

— Нам надо идти! — сказала Мейзи.

— Это ведь дочка доктора Озера, верно? — спросил профессор. Он

принялся щелкать пальцами. — Нет-нет, не говорите мне, я сейчас сам вспомню.

Он извернулся всем телом в сверхъестественном усилии воспоминания.

— Вы имеете в виду Люси, — сказала Мейзи.

— Именно! — воскликнул он.

— Мы опоздаем. — Мейзи уже теряла терпение.

— А куда мы идем? Там хорошо? — с надеждой спросил профессор Кузенс.

— Нет.

Чик бегло кивнул мне. Он стоял на Балгейском кладбище у открытой могилы мисс Андерсон, напялив похоронное лицо — нечто среднее между мордой блаухаунда и Винсентом Прайсом, — и наблюдал, как тело мисс Андерсон предают земле. Могила была на новом участке у подножия холма. Дул пронизывающий холодный ветер, и одеяния священника так парусили, что я боялась — если он не побережется, то вдруг взлетит, как головка одуванчика. Небо начало плеваться дождем, и Тей приобрел цвет чистого свинца.

— Правда, ужасно будет, если она не мертвая? — счастливым голосом шепнула Мейзи, заглянув в новый, очень грязный дом мисс Андерсон. — Представь себе — просыпаешься, а ты в гробу. Похоронена заживо!

Последние слова она произнесла со смаком и поскребла воздух руками, скрючив пальцы — видимо изображая покойника, что пытается выбраться из могилы. Хотя на самом деле вышло похоже на сумасшедшую кошку. Кое-кто из скорбящих обеспокоенно взглянул на нее.

— Она мертвая, можешь мне поверить, — прошипела я, вспоминая жутковатую проверку перочинным ножом.

— Наша милая Люси — маленький вампирчик, правда? — нежно сказал профессор Кузенс.

Миссис Маккью, по чьему приглашению Мейзи попала на похороны — хотя одному Богу известно, с чего вдруг, — предостерегающе положила руку на костлявое плечо внучки, которая от энтузиазма могла вот-вот свалиться в могилу. Миссис Маккью была в похоронной шляпке — черной фетровой, с полями, привязанной к голове дождевым полиэтиленовым капюшончиком.

Профессор радостно помахал Чику. Он, кажется, наслаждался происходящим. Народу на похороны пришло немало, учитывая, что мисс Андерсон была «сварливая бабуся». Конечно, вместе с миссис Маккью явилась миссис Макбет, а также целый микроавтобус других обитателей

«Якорной стоянки».

— Развлечение себе устроили, — неодобрительно сказала миссис Маккью. — Я бы еще поняла, если бы они с ней дружили.

— Ты с ней тоже не дружила, — напомнила ей миссис Макбет.

Небольшой кучкой стояли родственники покойной, — похоже, у них, в отличие от жителей «Якорной стоянки», явных завсегдатаев похорон, не нашлось траурной одежды. Им было заметно не по себе в фиолетовом, сером и темно-синем. Кое-кто из родственников промокал глаза платочком, другие очень серьезно взирали на крышку гроба. У всех был неловкий вид слишком много репетировавших актеров.

— Близкие родственнички, — фыркнула миссис Маккью. — Уж близкими я бы их не назвала. Пока она была жива, они ею вообще не интересовались — не знаю, чего это вдруг сейчас обеспокоились.

Похоже, миссис Маккью взяла на себя труд произнести все традиционные формулы, положенные на похоронах.

Дождь взялся за дело всерьез, и профессор раскрыл зонтик с ручкой в форме головы утки (попробуйте произнести это вслух очень быстро) и притянул под него Мейзи и меня.

Дженис Рэнд, по-видимому, «не забыла, что старики» и тоже явилась — с опозданием, запыхавшись. Тем не менее у нее был чрезвычайно важный вид, словно она лично отправляла мисс Андерсон на свидание с Творцом.

Внезапный порыв ветра приподнял профессора Кузенса и оторвал его от земли, и мне пришлось срочно вцепиться ему в рукав. Тут я почувствовала, что чьи-то глаза сверлят мне спину («Не может быть!» — в тревоге воскликнул профессор Кузенс). Я увидела женщину, которая тогда следила за моим окном. Она стояла среди старых могил, выше по склону, и мрачно следила за похоронами, словно плакальщица-изгой или незамеченный призрак. Ее частично маскировал раскрытый зонтик, но красное пальто пылало, как сигнал светофора. Значит, это ее присутствие я ощущаю на каждом шагу? Или просто жизнь заводит ее в те же маловероятные углы, что и меня? А может, меня преследуют два человека: один из них мне видим, а другой — нет.

Я отвлеклась, когда миссис Маккью швырнула на крышку гроба ком вязкой глины. Послышался стук, профессор поморщился (Мейзи снова изобразила руками царапанье), и, когда я снова подняла взгляд, женщина исчезла.

— Не знаю, как вы, а я бы не отказалась от чашечки чайку, — сказала миссис Макбет, когда все начали отворачиваться от мисс Андерсон.

Миссис Маккью поставила на землю плетенную из рафии хозяйственную сумку, на боку которой рафией другого цвета были выплетены слова «Сувенир с Майорки». С виду было похоже, что сумка весит тонну. Время от времени она вздрагивала. Из одного угла высывалось грязно-белое ухо.

— Джанет, — шепнула миссис Макбет. — У ней опять лапки отнялись.

— Ахтунг, — шепнула миссис Маккью при появлении высокой худой женщины, — фюрер идет.

Миссис Макбет припарковала ходунок перед сумкой, а миссис Маккью перевела для меня:

— Это заведующая, миссис Дэлзелл.

Миссис Дэлзелл напоминала Мэри Поппинс — у нее был вид человека, вдохновляющего других на правильные поступки. У нее даже прическа была точно как у Джули Эндрюс в «Звуках музыки» (да и в большинстве других фильмов). Она царственно расхаживала вокруг могилы, проверяя, все ли надлежащим образом счастливы, и приглашая родственников усопшей в «Якорную стоянку» на «небольшое чаепитие».

Джанет незаметно для миссис Дэлзелл сбежала из корзинки и бросилась напрямик к мисс Андерсон. При виде собаки мэри-поппинсовская улыбка миссис Дэлзелл слегка поблекла.

— Чья собака? — рявкнула она, обводя подопечных вопрошающим взглядом.

Джанет принялась яростно рыть в углу могилы, пытаясь засыпать гроб землей.

— Это ведь ваша, так? — обличающе заявила миссис Дэлзелл, обращаясь к миссис Макбет. — Это ведь Джанет? — Миссис Дэлзелл нахмурилась. — Вы что, где-то ее прятали?

Подбежала Мейзи и схватила в объятия грязную, мокрую тушку собаки-землекопа:

— Она теперь моя! Миссис Макбет подарила ее мне.

Мейзи надула губки (выглядело это непривлекательно) и изобразила маленькую девочку (хотя, как все мы знали, на самом деле была семидесятилетней старухой в теле ребенка).

Миссис Дэлзелл это как-то не очень убедило, но она стала сбивать свою паству в стадо, подгоняя к воротам и ожидающему микроавтобусу.

— Следующая остановка — Шпандау, — громко сказала миссис Маккью, когда миссис Дэлзелл попыталась куснуть ее за пятку, тесня к автобусу.

Я пошла за ними к воротам, и Мейзи тоже начала закладывать пируэты

в ту сторону по дорожке. Мы подросли как раз в момент, когда профессора запикивали в микроавтобус. Я крикнула ему, но он не услышал. К счастью, Чик выудил его оттуда за худой локоть и увел в сторону.

— Стоит ему туда попасть, и он, скорее всего, уже больше не выйдет, — сказал Чик в пространство.

Далее последовала своего рода демонстрация ловкости рук, в результате которой Джанет водворили в плетеную сумку и вернули законной владелице. В исполнении миссис Маккью и миссис Макбет это выглядело как попытка бездарных актеров-любителей разыграть сцену из бондовского фильма.

Чик увидел Мейзи, которая играла в классики под дождем, не заморачиваясь с расчерчиванием квадратиков.

— Уж не знаю, кто ты, но тебя наверняка нужно домой везти, — грубо сказал он.

— Ее зовут Люси Оззер, — услужливо подсказал профессор Кузенс.

Мы влезли в машину, и начался обычный для сюжета кружной путь с отступлениями — лавочки букмекеров, магазины ликеро-водочных напитков и так далее, в том числе долгий визит Чика и профессора Кузенса в бар «Галеон» при отеле «Тей-центр». Мы с Мейзи предпочли остаться в машине и скоротать время игрой в свитч неприличными картами Чика.

По дороге на Виндзор-плейс мы проехали мимо университета — он весь бурлил: люди приходили, уходили и что-то делали с пылом, невиданным прежде в этих стенах. У Башни собралась толпа; с балкона четвертого этажа кто-то вывесил простыню, на которой красной краской (похожей на кровь, но, видимо, все же не кровью) были намалеваны слова: «ТИГРЫ ГНЕВА МУДРЕЕ КОНЕЙ РАЗРУШЕНЬЯ».

— Это еще что за хрень? — спросил Чик, тормозя, — на дорогу, прямо нам под колеса, вывалилась толпа людей. — Сраные студенты. — Он заметил Мейзи в зеркало заднего вида и добавил: — Извините за выражение.

— Я слыхала и похуже, — флегматично ответила она. — Смотрите, вон папа.

Она указала на фигуру, стоящую на газоне у здания студсовета. «Папой» оказался Роджер Оззер — опять в ораторском режиме: он вопил и жестикулировал, обращаясь к кучке студентов.

Пожалуй, Мейзи так заиграется и забудет, кто она.

— Он на самом деле не твой отец, — напомнила я.

— Правда? — удивился профессор Кузенс. — А ты так на него похожа.

Профессор вылез из машины и пополз улиточным шагом к Башне. Тут оказалось, что впереди нас стоит «скорая помощь», загораживая дорогу и добавляя драматичности происходящему в университете. Чик нетерпеливо забибикал. Санитар «скорой помощи» гневно взглянул на него и что-то произнес — я не разобрала слов, но жест, сопровождающий их, был недвусмысленным. Санитар с напарником принялись грузить в машину тело, похоже — бессознательное, пристегнутое к носилкам.

— Ой, смотри, это же Херр-увим! — радостно воскликнула Мейзи. — Как ты думаешь, он мертвый?

Я вытянула шею, чтобы разглядеть получше. И впрямь, на носилках лежал доктор Херр. Он был завернут в красное одеяло, по контрасту с которым казался еще бледней обычного — и правда похож на покойника. Я вылезла из машины и подошла к неподвижному телу.

— Вам плохо? — спросила я.

— Вы его знакомая? — спросил санитар.

— Что-то вроде, — неохотно призналась я. — Что с ним случилось? На демонстрации затоптали?

— На какой демонстрации? — Санитар огляделся вокруг. Заметил плакат и прочитал вслух: — «Тигры гнева мудрее коней разрушенья». Что это значит?

Санитар был невысок ростом, зато молод, с волосами песочного цвета и добрыми глазами — униформа придавала ему расторопный вид, как это часто бывает.

— А разве что-нибудь вообще что-нибудь значит? — Я улыбнулась ему; он улыбнулся в ответ.

— Извините, — сказал доктор Херр, с трудом садясь, — мне что, суждено испустить дух здесь на улице, пока вы флиртуете с этой... — он помолчал, подыскивая нужное слово, — девицей?

Санитар посмотрел на доктора Херра и кротко сказал:

— Для человека, что вот-вот испустит дух, вы в неплохой форме.

— Очень профессиональный диагноз, — буркнул доктор Херр и снова откинулся на носилках.

— Что с вами случилось? — опять спросила я. — Вы попали в демонстрацию?

Доктор Херр неприятно прищурился. Одно стекло маленьких профессорских очочков треснуло, придавая ему странно шутовской вид. Ресницы у него были светлые и коротенькие, как у свиньи.

— Не говори глупостей, — сказал он.

Впрочем, он явно не хотел объяснять, как оказался на носилках, и

санитар в конце концов открыл мне, что доктор Херр поскользнулся на обледенелом тротуаре и сломал щиколотку. Доктор Херр поморщился — не знаю, от боли в ноге или от прозаической природы своей травмы.

— Обледенелом? — спрашивает Нора. — Минуту назад у тебя шел дождь.

— Не только ты умеешь управлять погодой.

— Здесь нечего стыдиться, — сказал санитар. — У нас в травматологии полно бабусь, с которыми случилось то же самое.

— Ну спасибо, — сказал доктор Херр. Он притянул меня поближе и прошипел мне в ухо: — Я думаю, что меня столкнули. Я думаю, что меня пытаются убить.

— Стокнули с тротуара? — недоверчиво повторила я. — Если бы вас хотели убить, то уж наверняка столкнули бы откуда-нибудь повыше.

— Залезай, — скомандовал мне санитар.

Я колебалась.

— Пожалуйста, — слабым голосом сказал доктор Херр.

Я как раз пыталась придумать уважительную причину не влезать в карету «скорой помощи» (хотя на самом деле у меня таких причин было несколько), но тут Чик тронулся с места и укатил, скрежеща шестернями. Объезжая «скорую помощь», он громко загудел.

— Вот debil, — сказал санитар.

Мейзи радостно помахала мне из удаляющейся машины. Я вспомнила, как точно таким же образом увезли желтого пса, и испугалась, что Мейзи тоже исчезнет без следа.

— Спасибо, ты хорошая девочка, — пробормотал доктор Херр.

По прибытии в Королевскую больницу мы на некоторое время застряли в приемной — в основном потому, что доктор Херр никак не мог решить, кого записать близким родственником, меня или свою бывшую жену Мойру. Наконец — несмотря на мои протесты, что я ему вообще никто, — он выбрал меня. У того же стола, что и мы, регистрировалась женщина — рука у нее была пробита гвоздем. Я взглянула на ее анкету и увидела, что в графе «Ближайший родственник» она пишет «Иисус». Может быть, она приятельница Дженис Рэнд. Потом она приписала фамилию Иисуса — Барселлос. Насколько мне известно, это было тайное знание, не доступное никому, кроме нее.

Мы долго ждали — я коротала время в унылейшем разговоре с доктором Херром, в основном о его детских болезнях (корь, краснуха, коклюш, ветрянка, свинка, моноцитарная ангина, чума). Наконец в

приемную вышла медсестра и сказала:

— Доктор Маккриндл вас сейчас примет.

Она укатила доктора Херра на осмотр в закуток, отгороженный крикливыми занавесками в цветочек (наверняка оскорбляющими вкус доктора).

Прошло много времени, в течение которого ничего не происходило. Облупленную бежевую краску на стенах приемной разнообразил только плакат, призывающий меня чистить зубы после каждого приема пищи. Из закутка, куда увезли доктора Херра, вышел доктор Маккриндл и улыбнулся мне волчьей улыбкой. Прошло еще сколько-то времени. По коридору пробежала медсестра-практикантка с криком «Джейк, вернись!». Прошло еще сколько-то времени. Я прочитала стопку журналов «Друг народа», просмотрела свой реферат по Джордж Элиот, который добрался до фразы «Свою антипатию к стилистическому методу Джордж Элиот Джеймс рационализирует следующим странным утверждением: „Его диффузность... делает его чрезмерно обильной дозой чистого вымысла“», то есть не очень-то продвинулся, и еще дописала кусок «Мертвого сезона».

— Доброе утро, Рита! — бодро сказала Лолли Купер. — Чудесное утро, правда?

Куперы держали старомодную булочную — хлеб на продажу до сих пор пек муж Лолли, Тед, в пекарне, примыкающей к лавке. В Моревилле ходили слухи, что у Теда чудовищно вспыльчивый характер. Он обитал в пекарне, как напудренное мукой привидение, нечто вроде «белого кардинала», и все время насвистывал — в этой манере мадам Астарти чудилось что-то угрожающее. Лолли, напротив, была пышноволоса, любила одежду с рюшечками, воротнички «Питер Пэн» и большие банты, по-котеночьи повязанные на шее. Мадам Астарти казалось, что у Лолли Купер в доме всегда чистота и порядок, в холодильнике полный запас продуктов, а полотенца подобраны по цвету. Для мадам Астарти это была недостижимая высота.

— Чего вы желаете? — спросила Лолли, заламывая руки, словно женщина, хранящая ужасную тайну, хотя ее лицо при этом по-прежнему выражало чрезвычайную, почти избыточную бодрость.

— Маленький белый деревенский, пожалуйста, — сказала мадам Астарти, засмеялась и добавила: — Добавить еще «домик», и за этим, пожалуй, надо будет к агенту по недвижимости, а не к вам.

Лолли непонимающе взглянула на нее, не спуская с лица приклеенную улыбку.

— Не важно, это я так, — вздохнула мадам Астарти.

— И чего-нибудь вкусенького к чаю? — предложила Лолли, и они вместе исполнили привычный ритуал, пройдясь по всем подносам глазированных и кремовых кондитерских творений.

— Пончик с вареньем? — перечисляла Лолли. — Пирожок с изюмом?

Из недр лавки все это время доносился тонкий, слегка вибрирующий свист. Мадам Астарти подумала, что он напоминает мелодию «Oh Mein Papa». Раньше этот мотив не казался ей угрожающим.

— Челсийскую булочку? — продолжала Лолли с безумным видом. — Шоколадный эклер? Чайный кекс? Профитроли?

Я закрыла глаза, а когда открыла их, передо мной стояла женщина, которая сегодня следила за мной на Балгейском кладбище. Я дернулась и встала — слишком быстро, отчего у меня закружилась голова.

— Почему вы за мной следите? — спросила я.

Вблизи было видно, что у женщины кожа алкоголички — пятнистая, как у рептилии. Морщины на выдубленном солнцем лице. Волосы — медного цвета с прозеленью, словно женщина слишком много времени провела в бассейнах с хлорированной водой.

— Извините, — сказала она отрывисто, с жестким акцентом — южноафриканским или родезийским? — Может быть, вы мне поможете. Я ищу свою дочь.

— Кто вы такая?

— Эффи.

— Нет, это я Эффи, — сказала я.

Меня начало мутить. В больнице было ужасно жарко — совсем как в чересчур натопленной теплице.

Женщина рассмеялась — как-то странно, фальшиво; мне пришло в голову, что она, может быть, не в своем уме.

Я пыталась понять, кто она такая.

— Вы сестра моей матери, Эффи? Но вы же умерли. — Последние слова были явно невежливы.

— Нет, не сестра.

Но тут скорым шагом подошла санитарка и сказала мне:

— Можешь повидать отца, если хочешь.

— Отца? — растерянно повторила я.

Женщина пошла прочь, вонзая неуместно высокие каблуки-шпильки в больничный линолеум.

— Подождите! — закричала я вслед, но она уже протиснулась меж

качающихся дверей и исчезла.

Мне стало совсем нехорошо — как будто я сейчас потеряю сознание. Может, это меня, а не доктора Херра надо положить в больницу. (Но кого указать как ближайшего родственника? Моя мать мне не мать. Ее сестра ей не сестра. Ее отец ей не отец. Мой отец мне не отец. Моя тетя мне не тетя. И так далее.)

— Третий бокс, — сказала санитарка.

Конечно, я знала, что в третьем боксе находится доктор Херр, а вовсе не мой безымянный отец, выбравший это неподходящее место для воскресения из мертвых. Но на миг — пока я тянулась рукой к занавеске, чтобы ее откинуть, — меня охватила дрожь предвкушения. Если там лежит мой отец, что я ему скажу? И еще важнее — что он скажет мне?

Доктор Херр разглядывал гипс у себя на лодыжке.

— Я уверен, что это не единственный перелом, — простонал он, даже не взглянув на меня. — Я им говорил, что у меня тахикардия, но они и слушать не стали — могли хотя бы кардиограмму сделать. И еще я ударился головой — откуда они знают, что у меня нет сотрясения?

Я перебила его:

— Вы что, сказали этой санитарке, что вы мой отец?

— Нет, конечно, — с негодованием ответил доктор Херр. — Я даже и по возрасту не гожусь тебе в отцы. Хотя сейчас чувствую себя дряхлым стариком.

Он снял очки и потер переносицу.

— У меня голова болит, — сказал он опять.

Вообще-то, у него и вправду был нездоровый вид. Меня кольнула необычная жалость. Я придвинулась поближе и сжала его руку в своей. От него пахло антисептиком «Савлон».

— Ты хорошая девочка, — пробормотал он.

Как все ипохондрики, доктор Херр очень расстроился, обнаружив, что с ним в самом деле что-то не в порядке, и в конце концов поднял такой шум («Он часто впадает в истерику?»), что дежурный штатный врач решил: проще оставить его на ночь, чем уговаривать отправиться домой.

Меня прогнала санитарка — она пришла с судном и задернула занавески вокруг кровати таким театральным жестом, словно собиралась показать фокус с исчезновением доктора Херра. Я с минуту околачивалась рядом, но санитарка вдруг высунула голову из бокса и сказала:

— Это дело не быстрое. — И добавила с дежурной бодростью: — Не волнуйся, мы все сделаем для твоего папы.

Мне казалось, что уже очень поздно, хотя часы в приемной показывали

только девять.

— До свидания, — равнодушно сказала регистраторша, — всего хорошего.

На улице шел снег — большие мокрые хлопья красиво кружились на ветру, но таяли, едва коснувшись земли. Они проникали и ко мне за воротник — я пробиралась по Дадхоп-террас сквозь сильный встречный ветер. Мимо призрачным галеоном проплыл автобус. Замок Дадхоп, окутанный плащом снега, казалось, испускал зловещий свет. На улице никого не было, и я начала беспокоиться. Я оглянулась, но снег в темноте складывался в пугающие фантазмы, и я нервничала еще сильнее; лучше буду упорно переставлять ноги, не поднимая взгляда. Отчего Чик не появляется именно тогда, когда он нужен? А еще лучше — Фердинанд? Его уже слишком давно не было в моем рассказе.

— Да, верни Фердинанда, — настаивает Нора. — Ты бросила его на пляже, пора ему уже вернуться. Он единственный мало-мальски привлекательный мужчина во всей твоей истории.

Пожалуйста, простите мою мать (которая мне не мать) за такую настойчивость. Не забывайте, она девственница. Не говоря уже о том, что она убийца и воровка.

Остановимся на секунду. Мы подошли к критической развилке маршрута. Если я могу выбирать, который из рыцарей в сверкающих доспехах меня спасет — конечно, только от непогоды, но от очень уж мерзкой непогоды, — кого я предпочту, Чика или Фердинанда? Дурацкий вопрос, поскольку ответ может быть только один...

Снег устлал землю толстым покрывалом, и дорога почти опустела, но вдали светились желтые фары — по Лохи-роуд ко мне медленно приближалась машина. Она притормозила, слегка проехавшись юзом, на другой стороне дороги. Снег скрывал машину почти полностью. Это был «вулзли-хорнет». Водительское окно открылось, и в белой круговерти снега проступили прекрасные черты Фердинанда.

— Залезай! — скомандовал он, странным образом повторяя сказанные мне чуть раньше слова санитаря «скорой помощи»; мне удивительно повезло.

«Хорнет» оказался полнейшей противоположностью «кортины» Чика. Внутри пахло новой машиной, было тепло, а двигатель трудолюбиво жужжал, неся нас через метель, которая уже превратилась в настоящий буран. В машине был даже магнитофон, на котором играла весьма подходящая к моменту песня Джона Мартина «Благослови Господь

погоду».

Фердинанд, кажется, немного нервничал. Он сегодня не брился — со щетиной он казался старше и опаснее. Я обнаружила, что глаза у него зеленые, и обрадовалась. Темные тени под ними намекали на бессонную ночь — невыспавшийся, он был больше похож на уголовника. Я заметила, что темно-синий шерстяной джемпер облеплен грубой желтой собачьей шерстью. Пол машины был присыпан песком. Едва заметно пахло морским побережьем — гниющими водорослями. Я слишком хорошо знала этот запах.

— Куда тебе надо? — спросил он.

Голос был грубый, словно от простуды. Я предложила ему «Стрепсилс», но он отказался.

— Ну? — Фердинанд нетерпеливо постукивал ладонью по рулю.

— Что — ну? — рассеянно повторила я.

— Куда тебе надо?

— Куда угодно.

Он странно посмотрел на меня, так что я уточнила запрос, назвав адрес Терри на Клеггорн-стрит: мы были уже совсем рядом, и, кроме того, это позволяло успешно исключить переменную «Боб» из уравнения «я — Боб — Фердинанд».

Пока мы ехали, Фердинанд все время зорко поглядывал в зеркало заднего вида, но на дороге не было других машин — даже автобусы перестали ходить. Я попыталась завести вежливый разговор ни о чем, но Фердинанд явно был не расположен к болтовне и вообще мрачен. Он, однако, в конце концов открыл мне, что кружит по улицам в поисках собаки.

— Желтой дворняги сангвинического темперамента? — догадалась я.

— Откуда ты знаешь? — Он изумленно взглянул на меня. Потом прищурился и угрожающе спросил: — Ты что, следишь за мной?

— Что ты, Фердинанд, конечно нет.

— Откуда ты знаешь, как меня зовут?

— Я думаю, тебе следует его поцеловать, пока он опять не исчез, — встречается, увлекшись, моя мать (которая... и т. д.).

Лично я считаю, что гораздо лучше, если подобные отношения развиваются естественным путем, а не в результате вмешательства извне. С другой стороны, что, если у меня больше не будет такой возможности?

Внезапно — безо всяких предисловий — Фердинанд подался ко мне, прижался горячими губами к моим и начал страстно целовать.

— Надеюсь, он припарковал машину.

К счастью, мы уже давно остановились на красный свет и до сих пор стояли. У Фердинандовых поцелуев был сложный вкус — марихуана, «айрн-брю», скипидар и чайный кекс Таннока, с едва заметным привкусом жареного лука. Странная смесь, — вероятно, она пользовалась бы спросом, особенно у детей. Одному Небу известно, как развивались бы события дальше, не сменись в этот момент свет на светофоре.

Чуть погода Фердинанд небрежно поставил машину у еще открытой лавки на Сити-роуд и сказал:

— Я на минутку.

Из пелены снега выдвинулась машина и, бесшумно скользя, остановилась рядом с «хорнетом», но из нее никто не вышел, а из-за снега я не видела, кто сидит внутри.

Я уже задремывала, когда Фердинанд вышел из лавки, но не успел он сделать и шага по заснеженному тротуару, как из соседней машины выскочили двое мужчин и набросились на него. Один сказал ему что-то (я не разобрала слов), а второй тут же ударил его в живот. Фердинанд сложился пополам от боли и упал на колени. Я открыла дверь машины, хотя сама не знала, что могу сделать, — эти люди явно были не из тех, кто устыдится вежливого женского упрека. Но только я сделала движение, чтобы вылезти, как один из этих двоих с силой захлопнул дверцу машины. Стекло ударило меня по лбу, и я почувствовала, как там образуется синяк.

Человек наклонился так, что его лицо почти прижалось к стеклу. Он ухмыльнулся, показывая гнилые кривые зубы, и вдруг выхватил нож — огромный, охотничий, таким и медведя можно свалить; кривой, как ятаган. Зазубрины сверкали в свете фонаря. Владелец ножа зловец постукал им по стеклу, не переставая ухмыляться, как бандит из сказки. Смысл был ясен и без слов.

Двое рывком подняли Фердинанда на ноги, заломили ему руки за спину, впихнули в свою машину и укатили в вихре снега; машина, скользя, свернула за угол на Милнбэнк-роуд и исчезла из виду.

События приняли дурной оборот. Я посидела, ожидая, пока перестанет бешено колотиться сердце — я боялась, что оно вообще не выдержит. Я не знала, что делать дальше. Первое, что пришло в голову, — это заявить о нападении в полицию, но пешком я в такую погоду далеко не уйду и, уж конечно, не доберусь до полицейского участка на Белл-стрит — замерзну по дороге. На машине я, скорее всего, тоже не доеду — мир вокруг уже окончательно побелел, и к тому же я не сидела за рулем с тех самых пор, как училась водить старенький «Райли 1,5» Боба (история, которую по-прежнему незачем рассказывать).

— А если зайти в лавку? — говорит Нора. — Наверняка у владельца есть телефон.

Нельзя — лавка уже погрузилась во тьму, железные решетки опущены, окна закрыты ставнями.

— Ну так постучи к незнакомым людям.

Я как раз собиралась это сделать, но не успела даже вылезти из машины, как из снежной пелены, будто из ниоткуда, возникли синие вспышки полицейской мигалки. Я только подумала, как удачно силы охраны законности и порядка выбрали момент, — и тут меня вытащили из машины, заковали в наручники и швырнули в заднюю часть черно-белого полицейского автомобиля. При этом один из полицейских равнодушно информировал меня, что я арестована, так как нахожусь во владении краденым транспортным средством и была пособницей в ограблении.

— Ограблении?

Полицейский кивнул в сторону лавки, которая уже опять была ярко освещена и ждала покупателей. Владелец стоял на пороге и удовлетворенно взирал на мое бедственное положение.

Второй полицейский взглянул на часы и сказал:

— Боюсь, вам придется провести ночь в камере.

Он завел машину и...

— Мука, — сказал Генри Мэкин, глядя на очередной труп.

Труп лежал на столе для вскрытия, словно свежепойманная рыба. Патологоанатом провел пальцем по телу покойницы и стал разглядывать слой белого порошка, налипший на пальцы.

— Мука? — удивленно повторил Джек Баклан. — Простая или блинная?

А не то...

Нет, нет, нет, это нелепо. Я совершенно очевидно сделала неверный выбор. Начнем сначала — хоть это и значит, что мне придется пожертвовать поцелуем.

— Но он существует — он же записан.

Видимо, нет, раз у меня не осталось о нем никаких воспоминаний. О, чего бы я не дала, чтобы снова вернуть этот поцелуй — но так, чтобы не проходить еще раз через все остальное.

Снег устлал землю толстым покрывалом, и дорога почти опустела, но вдали светились желтые фары — по Лохи-роуд ко мне медленно приближалась машина. Она притормозила, слегка проехавшись юзом, на другой стороне дороги. Снег скрывал машину почти полностью. Это была «картина». Водительское окно открылось, и в белой круговерти снега проступили безобразные черты Чика.

— Залезай! — скомандовал он. — В такую погоду можно и жизни лишиться, знаешь ли.

Я влезла в машину, и мы начали пробиваться через метель. Наша машина была единственной на дороге. Что за героическая коняга эта «картина». И какая она знакомая и родная. И Чик тоже знакомый и родной.

— А как это вы все время оказываетесь рядом, если вы за мной не следите?

— А может, и слежу, — сказал он, закуривая и предлагая сигарету мне. — Шутка, — добавил он, увидев мое лицо. — Ха-ха-ха.

— А что, Мейзи благополучно добралась до дому?

— Кто?

Едкий дым «Эмбасси регал» наполнил машину и на миг изгнал даже вонь дохлой кошки.

— Ты что, с фронта вернулась?

Я спросила, что он имеет в виду, и он указал мне на лоб:

— У тебя тут фингал — первый сорт.

Он повернул ко мне зеркало заднего вида. В самом деле, на лбу была синяя шишка величиной с яйцо малиновки — там, где меня ударила дверца «хорнета». Как странно. Вот следов поцелуя у меня на губах почему-то не осталось.

«Картина» добралась до пересечения Дадхоп-террас и Лохи-роуд,

когда я вдруг кое-что вспомнила. Чика пришлось поуготоваривать, но в конце концов он повернул обратно и доехал до Королевской больницы.

— Вернулась? Так скоро? — жизнерадостно сказала регистраторша (впрочем, ее заметно обеспокоил мой растерзанный вид).

— Я кое-что забыла.

Я обшаривала приемную, пока не нашла искомое. Мой реферат по Джордж Элиот лежал на полу, под стулом, зажатый между «Журналом для женщин» и «Еженедельными новостями».

— Вам тоже всего хорошего, — сказала я, выходя, но регистраторша не подняла головы.

Чик высадил меня у поворота на Клеггорн-стрит. Даже отважная «кортинка» не смогла бы снова вернуться в центр города в такую ночь. Задние огни машины быстро исчезли за белой пеленой.

Терри стала настоящей хозяйюшкой с тех пор, как я ее видела в последний раз. Мрачное логово на Клеггорн-стрит превратилось в уютное любовное гнездышко. На каминной полке тлели ароматические палочки с запахом пачулей, на проигрывателе фирмы «Амстрад» крутилась «Lieve and Lief», в камине пылал огонь, мрак развеивали церковные свечи, а на плите чинно тушилось мясо по-бургундски. Хэнк, причина этого пароксизма хозяйственности, растянулся на матрасе на полу, который служил Терри ложем. Она заменила засаленное постельное белье на свежее и даже купила красное бархатное покрывало — подходящий фон для ее нового сожителя.

— Уютно, а? — спросила Терри, подкладывая в камин обломки досок, найденные в уличном контейнере со строительным мусором.

Она была одета во что-то вроде кринолина, а пахло от нее сандаловым мылом и мясом — странная и неприятная смесь запахов, видимо призванная улаживать Хэнка. Терри даже приготовила сосиски в тесте («Готовое тесто, ничего сложного»). Они были как раз на один укус собаке, и время от времени Терри метала в сторону Хэнка сосиску-другую.

Она присела на край матраса, перелистывая книгу под названием «Готовим на двоих», и сосредоточенно покусывала губу, погружаясь в очередной рецепт.

— Как насчет «яблочной Бетти» на десерт? — спросила она (я не поняла, кого именно — меня или Хэнка).

Я представила себе, как она приветствует его, когда он возвращается домой с работы («Здравствуй, милый!»). Встречает его в дверях бокалом мартини и поцелуем — только что сделанная прическа, свежий макияж и

широкая улыбка а-ля Мэри Тайлер Мур.

Пока я отогревалась перед огнем, мы прикончили бутылку «Дон Кортес», с которым Терри готовила мясо по-бургундски, и почали «Пиат д'ор», которое успело охладиться снаружи на подоконнике. Когда Терри открыла окно, чтобы достать бутылку, вихрь снежинок влетел в комнату, словно невидимая рука осыпала нас морозным конфетти.

Мы пили холодное вино, и Терри похвалялась передо мной свежкупленным собачьим приданым — валлийское одеяло (шерстяное, с розово-зеленым узором в виде пчелиных сот) из «Драффенса» и всякая всячина из зоомагазина на Док-стрит: замшевый ошейник, простеганный кожаный поводок и коричневая керамическая плитка с надписью «СОБАКА». Может, ей стоит купить парную с надписью «ЧЕЛОВЕК»? Еще Терри раздобыла табличку на ошейник, с выгравированным именем и адресом Хэнка. Я заметила, что Хэнк взял ее фамилию, а не наоборот.

— Милый, — сказала она и погладила собачий бок, отливающий золотом в свете свечи и каминного пламени.

Она стала тихо рассказывать псу, как они будут жить вместе — ходить на пляж в Броти-Ферри, ездить на экскурсии в Сент-Эндрюс, гоняться за кроликами в Тентсмюирском лесу, ежедневно прогуливаться до Балгей-парка и весело резвиться меж надгробий, под которыми покоятся обыватели Данди. При слове «прогуливаться» Хэнк перевернулся на бок и застонал.

Когда Терри вышла на кухню — посмотреть, как там ужин, — я рискнула тихо сказать: «Малыш?» Эффект меня напугал и расстроил — Хэнк слетел с постели, отчаянно виляя хвостом, и принялся ходить вокруг, обнюхивая меня с энтузиазмом, словно мое тело несло новости откуда-то издалека.

— О, да вы поладили, — великодушно сказала Терри по возвращении с кухни — пес как раз поднял лапу в элегантной мольбе и заглядывал мне в глаза, словно ожидая услышать некую мудрость.

Я размышляла, не подходящий ли сейчас момент, чтобы сообщить Терри про Хэнка, — хотя для такой новости подходящий момент явно никогда не наступит, — как Терри упала на колени, обвила руками шею пса и сказала:

— У меня нет слов, чтобы сказать, как я счастлива. Последний раз я была такой счастливой еще при жизни мамы.

О боже.

Я воспользовалась преобразованием Терри и заставила ее новую

личность помочь мне с рефератом по Джордж Элиот. К этому времени мы уже были пьяны, и я, кажется, начала слегка бредить, но тем не менее упорно шла вперед и дошла до конца (другого выхода все равно не существует): «Схематическое единство и цельность видения Элиот неминуемо приводят нас к заключению, что комментарий Джеймса, называющего роман „сокровищницей деталей“, представляет собой искаженный и в конечном итоге предвзятый взгляд на роман и, в сущности, выдает отвращение Джеймса к самой концепции „Мидлмарча“».

Сил идти домой у меня уже не было, и в конце концов мы улеглись вповалку с Терри и Хэнком. Несмотря на усталость, я никак не могла заснуть; в конце концов я провалилась в сон под дребезжание тележки молочника, развозящего утреннее молоко, и во сне пыталась уломать Джордж Элиот сесть на заднее сиденье «картины», а она никак не соглашалась.

Когда я проснулась, небо за окном было цвета старой кости. Я лежала на холодной стороне матраса. Терри все еще спала, обвив руками своего возлюбленного и уткнувшись носом ему в шею. Я выползла из постели и закуталась в валлийское одеяльце. Меня терзало похмелье, явно переходящее в поражение мозга. Я готова была убить за чашку горячего чаю, но свет опять отключили. Я поклялась, что, пока живу, никогда не буду принимать электроснабжение как нечто само собой разумеющееся. Я оделась, натянула сапоги, облачилась в пальто и приготовилась уходить.

Но не успела я выйти, как проснулся Хэнк и принялся царапать в дверь, просясь наружу. Терри, судя по ее виду, нормально заснула впервые за двадцать один год, и я сказала: «Ну хорошо, Хэнк, малыш (компромиссное обращение), пойдем погуляем». Я открыла ему дверь квартиры, а сама нацарапала Терри записку о том, что мы пошли гулять, — иначе она проснется и запаникует, увидев, что он пропал. Потом я какое-то время искала его новый ошейник и поводок, свой реферат по Джордж Элиот, а также свою сумку, шарф и перчатки. Наконец я двинулась вниз по лестнице — неторопливо, предполагая, что дверь подъезда закрыта, как обычно. Однако, добравшись донизу, я обнаружила, что дверь открыта и чем-то подперта — жильцы съезжали с квартиры (похоже, не заплатив по счету).

Я протолкнулась мимо грузчиков, кантующих холодильник, выбежала на улицу, коварно скользкую от снега, и успела заметить Хэнка, исчезающего за углом в конце Пейтонс-лейн, — хвост его вращался, как вертолетный винт. Пока я добежала до того угла, Хэнк уже успел пересечь уходящую вверх Сити-роуд, лавируя между буксующими машинами, и

понесся вверх по Пентленд-авеню, видимо следуя некой загадочной собачьей карте, хранящейся у него в голове и показывающей дорогу в Балгей-парк. Я бежала за ним, выкрикивая обе клички по очереди, как попало, но он, опьянев от свежего воздуха и открытого пространства, не обращал внимания. Догнав его наконец-то у входа в парк, я почти не могла дышать — так больно было легким от ледяного воздуха.

Я не успела надеть на Хэнка ошейник — пес умчался прочь, подсакивая, как щенок, по тропе, ведущей к обсерватории Миллса. Будучи добродушным и воспитанным, он время от времени останавливался, чтобы я могла его нагнать. Холод был жуткий, кусающий и гложащий, а небо — зимнее, низкое, серое, без единого солнечного лучика, хоть как-то красящего унылый снежный пейзаж. Зимняя серая пелена давила на всех, в том числе на усопших.

Вслед за Хэнком я дошла до обсерватории, а потом мы двинулись вниз по склонам кладбища, где покойные жители Данди — китобои, прядильщики и судовладельцы, ткачи и модистки, капитаны и кочегары — терпеливо ждали под покрывалом травы. Ждали дня, который, может быть, никогда не придет. Спит ли мой отец на таком же кладбище? Может быть, лежит где-нибудь в братской могиле для нищих. Может, даже не закопан как следует — только прикрыт листьями и ветвями. Или обглодан дочиста рыбами на дне морском. Или обратился в прах и развеян по ветру?

— Кто знает, — говорит Нора.

— Так, значит, возможно, что он жив?

— Возможно, — со вздохом признает она.

А моя настоящая мать, в противовес ложной, которая сейчас сидит рядом?

— Она мертва, я полагаю?

— Целиком и полностью.

Есть ли у меня во всем мире хоть один кровный родственник?

Хэнк нетерпеливо ткнулся носом в мою обтянутую перчаткой ладонь, чтобы я наконец сдвинулась с места. Я погладила его роскошную бархатную шубу и вдохнула запах мяса из теплой пасти.

Пес привел меня обратно к выходу из парка и терпеливо сел, ожидая, пока я надену на него ошейник и поводок. Но не успела я застегнуть ошейник, как подъехала машина и затормозила — резко, словно ее вел каскадер. Из машины выкарабкались знакомые фигуры, похоже охваченные наплывом чувств. Сьюэллы были одеты по погоде — Джей в ветровке, Марта в ботинках фирмы «Морленд», дубленке до пят и большой шапке с меховой опушкой. Марта при виде пса встала как вкопанная, выкрикивая

его имя, а Джей бросился к нам, скользя на ледяном тротуаре, и в конце концов свалился неподобающей кучей к ногам чрезвычайно счастливого Хэнка и не столь счастливой меня.

Марта поспешила к нам со всей возможной скоростью — насколько позволял снег. Она ступала мелкими шажками, чтобы не шмякнуться на тощую задницу, и не переставая выкрикивала: «Мой мальчик, мой мальчик, мой сыночек!» Джей вскарабкался на ноги и, к моему ужасному удивлению, внезапно сжал меня в медвежьих объятьях, вмяв лицом к себе в ветровку, — я чувствовала сладкий, почти женственный запах его средства после бритья и мятной конфетки для освежения дыхания.

— О боже! — воскликнул он, отпуская меня. — Как мы можем вас отблагодарить? Эдди, проси чего хочешь.

— Эффи.

Чего я хочу? Упитанного тельца? Сундук с драгоценностями, поднятый со дна морского, полный жемчуга, опалов, подобных синякам, и изумрудов, похожих на глаза дракона? Отца? Фердинанда? Диплом? Но вокруг кипели такие страсти, что попросить что-нибудь казалось мне ужасной холодной расчетливостью. Джей вытер глаза рукой и сказал Марте:

— Давай-ка отвезем нашу детку домой.

Марта же — у нее по лицу струились слезы — произнесла заржавелым голосом:

— Я никогда в жизни не была так счастлива.

Все слова покинули меня.

Правда, не навсегда.

Я стояла и смотрела, как машина со счастливой воссоединенной семьей скрывается вдаль, буксуя на заледенелой Пентленд-авеню. Ошейник и поводок Хэнка все еще были у меня в руках. Один-два собаководельца, презревших непогоду, странно поглядывали на меня — словно я прогуливала невидимую собаку. Я стояла долго, замерзая все сильнее. Я не знала, что делать, и наконец, так ничего и не придумав, повела свою невидимую собаку гулять по парку.

В конце концов я направилась домой. У меня не хватало храбрости сказать Терри, что я потеряла ее собаку. Шансов нет, что мне удастся раздобыть точно такого же веймаранера прежде, чем Терри заметит пропажу. А может, заплатить Чику, чтобы он снова украл Хэнка? А может — хотя это самая маловероятная перспектива, — Марта и Джей Сьюэлл

пойдут навстречу Терри и договорятся с ней о чем-то вроде совместной опеки?

Эти невозможные мысли клубились у меня в мозгу, пока я на Блэкнесс-авеню пропахивала грязную серую кашу, в которую уже превратился снег. На Перт-роуд мне встретился профессор Кузенс — в странных резиновых галошах, с головой, обвязанной красным шарфом, словно он был ребенком или старомодными методами боролся с зубной болью. Может, у него еще и варежки пришиты к резинке, продетой через рукава.

Я предложила ему руку — он угрожающе скользил по тротуару, рискуя вот-вот упасть.

— Тротуары не посыпаны песком, — бодро заметил он, — вот так происходят несчастные случаи, знаешь ли.

Может быть, между профессором Кузенсом и мною возникла некая волшебная связь и мы с ним теперь как две варежки на резинке — мне придется до конца жизни развлекать его. Впрочем, это не самая плохая перспектива на остаток жизни.

— Вот здесь я живу, — сказала я, придавая ему нужное направление на Пейтонс-лейн.

— А! — воскликнул профессор Кузенс. — Дом нашего земляка-поэта, дандийского барда!

Но беды случаются на суше и на море,
И даже не пытайся бегством спастись
от уготованного тебе горя.
Ибо что Господь судил, то исполнится
до конца:
Например, тебя может убить камнем
или упавшим куском стекла.

Бедный Данди! Неужто тебе навеки суждено остаться городом Макгонагалла и «Санди пост»?

Старые скрипучие кости профессора не враз одолели подъем на верхний этаж, но в конце концов восторжествовали.

— Здесь воздух совсем разреженный, — пропыхтел он, прислонясь к дверному косяку и переводя дух.

Я могла только гадать, в каком состоянии обнаружу квартиру, когда открою дверь.

Не кажется ли вам, что пришло время рассказать еще часть истории моей преступной матери (которая мне на самом деле не мать)? Мы дрожим на кухне, прячась от бури, которую вызвала Нора. Слабый огонек бьется в дровяной печи. Нора (зачем — известно лишь ей, женщине со странностями) вся обвешана бриллиантами: они у нее на шее и в ушах.

— Настоящие? — спрашиваю я.

— Настоящие, — подтверждает она.

— Краденые?

— Что-то вроде.

— Евангелинины?

— Может быть.

Я безнадежно вздыхаю. Это все равно что выжимать кровь из камня или дергать зубы у тигра. Отнимать пустышки у младенцев. Она что, хранила эти богатства все время наших прибрежных скитаний? Может ли она объяснить, как они к ней попали? Что за загадка эта женщина, моя мать (которая мне не мать).

Чтобы вырвать у нее рассказ, я выбираю подход терпеливого психотерапевта. Сейчас попробуем выудить кое-что из глубин.

— Расскажи мне, что первое ты помнишь из своей жизни, — говорю я ободряющим тоном.

Наверняка я сейчас услышу что-нибудь невинное, детские воспоминания, что кирпичиками ложатся в основу характера. Впрочем, мое первое воспоминание — как я тону — отнюдь не идиллия. Может, это пережиток родов — впечатления момента, когда я плавала в околоплодной жидкости (ибо все мы рыбы)? И все-таки даже сейчас, когда я пишу эти строки, я чувствую, как ледяная вода заполняет мне ноздри, уши, легкие и тянет меня вниз, в глубины забвения.

Мое второе воспоминание немногим лучше. Мы ждали автобуса — одного из бесчисленных автобусов моего беженского детства. Нора, отвлекшись на огромную гору нашего багажа, которую надо было погрузить, забыла про меня и оставила на скамье на автовокзале. Автобус проехал две мили, и только тут Нора обнаружила недостачу. Когда она внезапно вскочила со своего места в конце салона и завопила: «Моя детка! Моя детка!» — водитель автобуса ударил по тормозам, решив, что Норина детка оказалась под колесами. Пока он разобрался, что случилось, Нора спровоцировала истерику у половины пассажиров и приступ астмы у чувствительного юнца-библиотекаря, который вскоре после того оставил свое поприще и отправился в кругосветное путешествие в поисках острых

ощущений, сравнимых с дико вопящей рыжеволосой женщиной в автобусе. Разумеется, библиотекаря я придумала.

— И все же я не была твоей деткой, — задумчиво говорю я. — Так ведь? Но чья же я тогда детка, ради всего святого?

— Мне казалось, что ты хочешь услышать о моем первом воспоминании?

— Да, расскажи, пожалуйста.

— Я очень маленькая, а они очень высокие.

— Они?

— Лахлан и Эффи. Им в это время было, наверное... шестнадцать и восемнадцать. Может, чуть больше. Может, чуть меньше.

— Я поняла.

— На дворе лето. Они взяли меня с собой к озеру на пикник. Я всегда была их любимицей, кошечкой или собачкой, игрушкой. Беда лишь в том, что они очень плохо обращаются со своими любимцами и игрушками. Солнце палит, и черная вода блестит под его лучами. Насекомые пляшут и скользят по поверхности воды. Пахнет гниющими водорослями и крутыми яйцами...

(Давно уже надо было попробовать с ней воспоминания под гипнозом!)

— Мы сидим на небольших мостках, и Лахлан с Эффи болтают ногами в воде, а у меня ноги не достают. У меня в пальце заноза из гнилой доски, и еще я обожглась крапивой, но, когда я начинаю плакать, Эффи грозит, что, если я не перестану хлюпать, огромная рыба-ведьма, которая живет в озере, приплывет и проглотит меня.

— Рыба-ведьма?

— Рыба-ведьма. Лахлан говорит, что не может есть яйца без соли, и с размаху швыряет яйцо в озеро. Оно падает в воду со всплеском, словно камушек. У Лахлана красное от жары лицо. Он говорит, что ему скучно. Она тоже говорит, что ей скучно. Они курят. Они строят друг другу рожи.

— Они начинают гоняться друг за другом — бегают по лесу, визжа от смеха. В обществе друг друга они всегда ведут себя очень по-детски. В конце концов им это надоедает, и они решают поплавать по озеру в маленькой лодочке с веслами. Сначала они сажают в лодку меня — я чувствую на себе руки Эффи, скользкие от пота. Волосы у нее на шее влажные, и ситцевое платье прилипло к телу.

— Лахлан выгребает на середину озера, там прыгает в воду и начинает притворяться, что тонет. Эффи ныряет за ним — она входит в воду, как нож, и они наперегонки плывут к берегу. Лахлан плывет баттерфляем — в

туче брызг он похож на мельничное колесо, но Эффи ему не догнать, она стремительна, как выдра, и обгоняет его на два или три корпуса. Они выбируются на берег и отряхиваются, как собаки. Потом начинают снова гоняться друг за другом и с визгом и хохотом убегают в лес.

— Все стихает. Я долго жду, чтобы они за мной вернулись. Еще дольше до меня доходит, что они не намерены за мной возвращаться. Я засыпаю на солнце. Когда я просыпаюсь, кожа у меня красная и болит. Солнце уже садится за верхушки деревьев, и холодает. Я боюсь, что сейчас из воды огромным лососем вынырнет рыба-ведьма и съест меня.

— Я снова засыпаю. Просыпаюсь я на рассвете — на озере лежит туман, но к тому времени, как меня приходят искать, он уже успевает рассеяться и солнце снова стоит высоко в небе. Я единственная пациентка местной больницы, страдающая одновременно от солнечных ожогов и от переохлаждения. Эффи и Лахлан сказали, что я от них убежала, но я думаю, что на самом деле они хотели от меня избавиться.

— Почему?

— Потому что они были плохие, разумеется.

— Но ведь ты же научилась плавать и управляться с лодкой от своей сестры, разве нет? — удивляюсь я. — Или это было позже?

— Не от нее, она меня никогда ничему не учила. Я научилась на случай, если она захочет меня утопить.

Chez Bob

Я ожидала застать Боба спящим, но он сидел на диване, смотрел «Учись и играй», ел яблочное пюре «Хайнц» из баночки и непринужденно болтал с невидимым собеседником:

— И таким образом, я признаю, что определенность и истина всякого знания зависят единственно от познания истинного Бога, так что, пока я не познал Его, я не мог в совершенстве познать ничто другое. Имеет ли право Декарт сделать такой вывод?

Заметив нас, Боб поднял взгляд и сказал:

— Привет.

— Привет, — дружелюбно отозвался профессор Кузенс.

Боб кивком указал на Протея, делящего с ним диван, и виновато произнес:

— Я только доедаю то, что он не захотел.

Протей был подперт подушками в полусидячем положении. С головы до ног его покрывали подозрительные пятна — не только яблочное пюре, но, как услужливо подсказал Боб:

— Мармит, рисовая каша «Амброзия» и «Завтрак-готов». Эта тварь прожорлива, как баклан.

Да, верно говорят, что рыбак рыбака видит издалека.

Профессор Кузенс осторожно взгромоздился на единственное свободное сиденье — стул, некрасиво задрапированный трусами Боба с картинками из «Доктора Кто».

— Почему Протей здесь? — спросила я у Боба.

— А, эту тварь так зовут? — Боб задумчиво осмотрел младенца.

— Это мальчик. Это ребенок Кары, ты его уже сто раз видел.

— Ах да! — воскликнул профессор Кузенс. — Конечно, такая крупная девушка, от нее всегда пахнет скотным двором. А он славный парнишка, правда?

— Но почему он здесь? — терпеливо допрашивала я.

Боб со вздохом кроткого страдальца оторвал глаза от Большого Теда, Маленького Теда и их веселых друзей:

— Потому что эта девушка его тут оставила.

— Какая именно из всех возможных миллионов, если не миллиардов, девушек мира?

— Она сказала, что она твоя подруга.

— Терри?

— Нет.

— Андреа?

— Та, красивая. — Лицо Боба просветлело, как у набожного католика при упоминании Мадонны.

— Оливия?

— Она сказала, ей нужно что-то сделать, и попросила тебя приглядеть за ним.

Видимо, Протей теперь играет роль Курилки в игре «Жив Курилка». Или «письма счастья», которое надо обязательно переслать дальше. Возможно, он — принеся удачу и богатство всем, кто послушно передаст его дальше, и злополучные последствия тем, кто не передаст, — в конце концов попадет обратно к Каре. Сколько лет ему тогда будет? И сколько нужно времени, чтобы младенец, переходя из рук в руки, обошел весь земной шар? (Вот это был бы интересный эксперимент.)

— А не проще ли найти его мать и отдать его ей? — предложил профессор, разматывая с головы красный шарф, словно марлю с вареного пудинга.

— Эта, как ее, сказала что-то типа того, что Карен пойдет на собрание женского, как его там, на Виндзор-плейс, — сказал Боб.

— Ты имеешь в виду Кару?

— Я имею в виду?..

— На собрание группы борьбы за раскрепощение женщин?

— Круглое окно! — завопил вдруг Боб, обращаясь к телевизору.

Протей заерзал от ужаса.

Все ли в порядке с Оливией? И уж не аборт ли она пошла делать? Если я ее подруга, то, кажется, не очень хорошая.

Я предложила профессору чашку чаю, но тут отключили свет — к большому отчаянию Боба, которому теперь не суждено было увидеть, что именно покажут зрителям через круглое окно.

Боб наконец узнал профессора Кузенса и стал с жаром объяснять ему идею своей дипломной работы.

— Это про Джекила и Хайда, потому что речь идет типа об одном из универсальных мифов западного общества. — Боб увлеченно размахивал руками, словно жук с нарушенной координацией конечностей. — *Прасюжеты, праистории, прамифы, понимаете?*

Профессор заметно обеспокоился и спросил Боба, давно ли тот заикается.

— Враг изнутри! — воскликнул Боб, игнорируя вопрос.

— Стивенсон? — Профессор морщил лоб, стараясь угнаться за мыслью Боба.

— Нет, «Звездный путь», — терпеливо разъяснил Боб. — В результате сбоя транспортера капитан Кирк превращается в двух людей сразу — хорошего Кирка и плохого Кирка.

— А, дуалистическая теория добра и зла! Манихейство, зороастризм...

— Да, да, но самое интересное то, что хороший Кирк не может жить без плохого Кирка. О чем это нам говорит?

— Ну...

— И потом еще другой эпизод, «Свет мой, зеркальце», в котором у всего экипажа «Энтерпрайза» есть двойники...

— И все двойники — плохие? — догадался профессор.

— Именно! И тогда Кирку приходится использовать одну штуку, которая называется «танталово поле»...

От этого критического анализа меня отвлек Протей, который попытался съесть фишку-цилиндр из игры «Монополия». Наверно, это хорошо, что он схватил фишку, а не лежащий рядом с ней большой кусок марокканского гашиша, но все же наша квартира — не место для ребенка.

— Я пойду с вами, — сказал профессор, когда я принялась собирать вещи Протея; еще вчера ни одной из этих вещей у него не было.

— Ага, — сказал Боб, — она сказала, что пришлось купить ему всякой фигни.

Оливия потратила на Протея целое состояние. Она купила пеленки, ползунки «Mothercare» — белые, как шерсть новорожденных ягнят, — поильные чашечки, мисочку с кроликом Питером, подставку под яйцо из тонкостенного костяного фарфора, пастельно-голубого мягкого кролика, комбинезончики «Osh-Kosh» в бело-синюю полоску, как фартуки мясников, вельветовые ботиночки и столько всего для вытирания, чистки и увлажнения, что хватило бы на небольшой филиал «Бутс».

— Его сумка вон там, — сказал Боб. — В ней должно быть все, что тебе нужно. Его курточка в коридоре. Я его перепеленал, и ему пора спать, но если он голодный, то в сумке есть детское питание.

— Что-что? — Я изумленно уставилась на Боба.

— Что такое? — Он принялся набивать косяк и, ввиду отсутствия телепередачи, открыл альманах программы «Синий Питер» за 1968 год.

— Ничего, просто мне на минуту показалось, что ты разговариваешь как взрослый.

— Только не я, — бодро сказал Боб.

В коридоре профессор Кузенс пытался сложить коляску Протея. Это

походило на эпизод из комедии, в котором герой пытается разложить пляжный шезлонг.

— Куда мы идем? — спросил профессор, когда мы двинулись в непростой путь вниз по лестнице.

— На собрание группы борьбы за раскрепощение женщин.

— Для меня это будет первый раз, знаете ли. Я постараюсь вписаться.

— Погоди! — крикнул Боб мне вслед, выуживая что-то из-под диванной подушки. Он протянул мне пожеванную и чудовищно грязную соску-пустышку. — Ты без этого не обойдешься. Она работает лучше, чем пластырь. Поверь мне, я все перепробовал.

Чего не знала Мейзи

— Насыщение пяти тысяч человек, — бодро сказала Филиппа, делая сэндвичи из ломтей ватного хлеба и остатков лосося; лосось к этому времени покрылся радужной зеленоватой пленкой, и даже Гонерилья потеряла к нему интерес.

На этом собрании группы борьбы за раскрепощение женщин, если правду сказать, было всего восемь человек, и четверо из них — Андреа, профессор Кузенс, миссис Маккью и миссис Макбет — не принадлежали к группе; Шерон взяла на себя труд громко и пространно указать нам на этот факт.

— Он мужчина! — возмутилась она, когда профессор занялся заливать чаем бесконечную жажду миссис Маккью и миссис Макбет.

Он ковылял вокруг стола с чайником, спрашивал, кому сколько молока и сахара, предлагал чайные ложки и вполголоса бормотал извинения за то, что чай заварен из пакетиков. Сам профессор еженедельно покупал четверть фунта листового дарджилинга в чайной лавке Брэйтуэйта, и ему был невыносим Филиппин «Тай-фу» — настой цвета дубовой коры.

Миссис Маккью подозрительно нюхала чай, словно он мог быть приправлен мышьяком.

— Она тоже думает, что ее кто-то пытается убить, — объяснила я профессору.

— Ну вы же знаете эту пословицу... — тихо и доверительно обратился он к миссис Маккью.

— Если вы параноик, это еще не значит, что за вами не охотятся? — догадалась она.

— Именно! — ухмыльнулся он.

Шейлу Оззер, измазанную овсянкой и жевкой из хлебных сухариков — и, вероятно, прячущую младенца где-то на теле, — впечатлили способности гейши, открывшиеся у профессора Кузенса. Она пожаловалась, что Роджер не опознает чайник, даже если таковой свалится ему на голову (весьма привлекательная перспектива). Кажется, она пребывала в блаженном неведении относительно того, что ее муж собирается подселить свою беременную (или уже не беременную) любовницу к ней в барнхилльскую виллу из песчаника.

— А Кары нет? — спросила я. — И Оливии тоже?

Некому забрать у меня Протея (сейчас уложенного на кровать в

свободной спальне, где некогда почивали Фердинанд и Джанет). Джанет мирно спала под кухонным столом на первом этаже, но что же с Фердинандом, где он?

— Он пошел гулять с собакой, — сказала Филиппа. Герцог вопросительно взглянул на нее; она в ответ нахмурилась. — Не с этой собакой, понятно, поскольку эта собака находится здесь, а мы не имеем права игнорировать свидетельства наших органов чувств, ибо тогда войдем на территорию казуистики и неестественного сомнения, которое тоже хорошо, но лишь на своем месте. Конечно, кое-кто возразит, что истина фактических заявлений может быть установлена индуктивно из частного опыта. Может ли восприятие дать нам сведения о мире, который не зависит от нашего мышления? Познаваем ли вообще такой мир? Тождественно ли «быть» и «быть воспринимаемым»? Является ли собака лишь суммой чувственных данных — запаха собаки, звука собаки, ощущения собаки, вкуса собаки и так далее?

Филиппа запнулась и, наткнувшись на пристальный взгляд Герцога, неловко сказала:

— С другой собакой. Фердинанд пошел гулять с другой собакой.

— Вкуса собаки? — непонимающе повторила миссис Макбет.

Кухня Маккью была полна двух вещей, которых Андреа боялась больше всего на свете, — еды и стариков. Поэтому Андреа бледнела и ерзала. Она пожаловалась, что Шерон отвела ее на сегодняшнее собрание под конвоем, предварительно зачитав ей свод этических правил, регулирующий поедание яиц из общего холодильника. Андреа заявила, что и пальцем не трогала это яйцо, отчетливо помеченное «Ш».

— Совсем как Шалтай-Болтай, — мрачно сказала она. На ней было платье и фартук с рюшечками — этот наряд вполне уместно смотрелся бы в викторианской детской.

— А я думала, что собственность — это воровство, — обратилась я к Шерон.

— Собственность — это собственность, — сердито ответила она.

— Что это значит? — Меня разозлила тавтологичная сентенция типа «я — это я», «дверь — это дверь», «кошка — это кошка».

— «Бревно бревном останется», — процитировала миссис Макбет.

— Это что, игра? — обрадовался профессор.

Миссис Маккью намазывала маслом ломоть селькиркского бэннока. Миссис Маккью и миссис Макбет все утро пекли, но первым делом хорошенько отскребли всю кухню от поколений живущих там микробов (о

чем миссис Маккью громко сообщила мне на ухо).

— Бэннок? — предложила миссис Маккью, пуская блюдо по кругу.

— Я думала, это битва такая была, — сказала Андреа, хмурясь при виде подсунутой ей под нос огромной массы калорий.

— Я и сама страсть какая охотница до масенького кусочка бэннока, — кокетливо сказала миссис Макбет в пространство. Она была вся обмотана большим фартуком и слегка припорошена мукой.

— О, и я тоже, — с жаром отозвался профессор Кузенс. — Я просто счастлив, когда передо мной стол ломится от вкуснейших яств, приготовленных заботливыми ловкими руками представительниц прекрасного пола.

— Что-что? — ядовито вонзилась в него Шерон. Ее лицо некрасиво искажилось наигранным недоверием.

— Я сказал... — любезно начал профессор Кузенс.

— Я слышала, что вы сказали, — грубо оборвала его Шерон. — Я просто не могу в это поверить.

— Тебя, случайно, не ждут где-нибудь на баррикадах? — спросила я.

— Борьба за дело феминизма и за дело социализма — едины! — провозгласила Шерон и незаметно для себя съела кусок ирландского чайного кекса, который миссис Маккью только что намазала маслом. Между передними зубами у Шерон застряла изюмина, что выглядело очень некрасиво, но я решила ей об этом не говорить.

Андреа, очень бледная, деликатно грызла треугольник «пограничного пирога», а миссис Макбет тем временем настойчиво подсовывала ей овсяную полоску.

— Я люблю печь, — сказала миссис Макбет. — У меня, как говорится, рука набита на выпечку.

Она посмотрела вниз, на свою миниатюрную ручку, но потом вдруг сконфузилась и заковыляла прочь, на ходу ласково потрепав Андреа по плечу. Андреа слегка вздрогнула.

— Это не заразно, — уверила ее я. — Старость не проказа, не передается через прикосновение.

— Она ужасно маленькая, — шепнула мне Андреа, кивнув на удаляющуюся спину миссис Макбет. — Она всегда была такая? Или мы тоже такими станем?

— Что такое? — осведомилась миссис Маккью. — Шептаться, знаете ли, невежливо.

— Я сказала, что она кажется очень маленькой, — погромче повторила Андреа.

— Кто? Кто кажется очень маленькой? — переспросила Филиппа.

— Эта... маленькая женщина, — беспомощно ответила Андреа, поскольку миссис Макбет к этому времени скрылась из виду.

— Она имеет в виду миссис Макбет, — сказала миссис Маккью, намазывая маслом все, до чего ей удалось дотянуться.

— Миссис Макбет? — с сомнением повторила Андреа.

— Это совершенно нормальное имя, — сказала миссис Маккью. — Очень многих людей зовут так.

— Ну, во всяком случае, их не зовут «Так», — сказал профессор и засмеялся.

— Слушайте, здесь вам не деревенский женский кружок, — сердито вмешалась Шерон. — У нас на повестке дня важный вопрос — о плате за домашний труд.

Миссис Маккью достала уже знакомое нам вязанье и нахмурилась:

— Плата за домашний труд? А кто же будет платить?

— Плата за грех, — неопределенно сказал профессор. — У вас, кажется, нет термоса для кипятка.

Последние слова были обращены к Филиппе.

— С чего бы мне вдруг понадобился термос для кипятка? — удивилась она.

— Для кипятка, разумеется, — объяснила миссис Маккью.

Но прежде чем мы успели продолжить разговор («А для чего мне кипятки?» и т. п.), в кухню ворвалась Мейзи, а за ней по пятам — Люси Оззер.

— Привет, Эмили, — небрежно сказала Шейла при виде Люси.

— Люси, — поправила ее Люси.

Шейла повнимательней разглядела свою старшенькую, но, кажется, это ее не убедило.

— Бутерброд с рыбой? — завлекательно проворковала Филиппа, придвигая блюдо к Мейзи и Люси.

Пока что ни на один бутерброд никто не польстился. Миссис Макбет прибрела обратно на кухню и ужасно удивилась, словно ожидала попасть в другую комнату в совсем другом доме (а может, и в совершенно другом году).

Профессор оторвал свои тощие кошачьи окорока от стула и пододвинул другой стул миссис Макбет со словами: «Садитесь, пожалуйста, миссис Макбет». Шерон, похоже, готова была лопнуть от возмущения при виде столь грубо нарушаемых принципов женского равноправия.

Глядя на Мейзи, я вспомнила, что в нашу последнюю встречу легкомысленно доверила ее сомнительным заботам Чика.

— Ты как вчера вечером, нормально добралась домой? — спросила я.

Она закатила глаза («Не надо так делать», — слабо сказал профессор Кузенс).

— Смотря что подразумевать под словом «нормально», — пробормотала она с полным ртом бэннока.

— Она поздно пришла, я знаю, — сказала Филиппа.

— У меня была репетиция по флейте, — неумело соврала Мейзи, но тут сдавленный вопль возвестил, что проснулся Протей; только бы он не свалился с кровати.

Прежде чем уложить младенца, я вытащила из-под кровати рукопись Арчи. Протей слишком молод и не вынесет разлагающего влияния Дж. со товарищи. Последняя глава, добавленная к рукописи, оказалась особенно мерзкой. Дж. — или его двойника, поскольку в последнее время он обзавелся как минимум одним двойником, — истязала с крайним садизмом женщина, одетая лишь в кожаные сапоги на высоком каблуке. Еще странней было то, что к «Расширению призмы Дж.» присоединились «Палаты страсти» — словно рядком встали два воображения, надписанные «ОН» и «ОНА». Мне стало страшно при мысли о том, что выйдет, если смешать одно с другим. Не успеет Флик оглянуться, как на нее напялят сапоги с высоким каблуком и заставят бегать вверх-вниз по бесконечным лестницам европейских многоквартирных жилых домов, спасаясь от гнусных чудовищ воображения (Паранойи и Меланхолии).

Я перепеленала Протея, кое-как упаковав его в неуклюжий махровый квадрат и закрепив булавками (очень осторожно, чтобы не пронзить нежную младенческую плоть). Я не знала, что буду делать, когда иссякнет запас купленных Оливией пеленок. Может, придется стирать. (Ужасная мысль.) Я покачала Протея на колене и показала ему вид из окна. Он протянул пухлую ручку, пытаясь поймать низко летящую чайку. Сегодня Тей был цвета бесконечности, и при виде его я вдруг пала духом. Со мной никогда не случается ничего хорошего. Меня преследует сумасшедшая тетка, мне навязали чужого младенца, у меня в бойфрендах навечно застрял Боб, и какой-то ужасный вирус проник мне в кровь и пытается захватить власть над моим телом, как инопланетянин, каковым и является.

О, будь только здесь Фердинанд! Он повелительно обнял бы меня, и я бы растаяла под испепеляющим взглядом его глубоких, обеспокоенных глаз. Он бы обвел контур моего лица удивительно нежными пальцами... и,

может быть, по-волчьи улыбнулся бы мне... зарылся бы лицом в мои волосы и сказал раскаленным от страсти голосом: «О Эффи! Еще никогда ни одна женщина так...» Тут Протей побагровел, и я поняла, что он чем-то подавился. Я постучала его по спинке, настолько сильно, насколько осмелилась, но он по-прежнему не мог дышать.

В отчаянии я перевернула его вверх ногами, взяла за щиколотки и потрясла. К счастью, эта крайняя мера помогла — у него изо рта вылетел комок бумаги, подобно совиной погадке. Судя по отчаянному воплю младенца, ничего страшного с ним не случилось. Когда он успокоился, я развернула бумажный ком — это оказался особенно знойный диалог из произведения Филиппы. Да, пожалуй, «Палаты страсти» стоит снабжать предупреждением об опасности для здоровья.

Вернувшись на первый этаж вместе с Протеем, я обнаружила, что профессор пытается организовать присутствующих на игру в слова — явно позаимствованную из методики Марты Сьюэлл. При виде меня он воскликнул:

— «Без „и“» — вы же знаете эту игру, верно, дорогая?

Вспомнив о Марте, я тут же почувствовала себя ужасно виноватой перед Терри. По кухонным часам Филиппы было четверть второго. Терри наверняка уже проснулась (хотя кто ее знает) и гадает, не сбежал ли Хэнк, он же Малыш, в самоволку.

Профессор тем временем объяснял правила игры.

— Берутся три слова, и вы должны составить из них предложение. Например, «рыба», — он учтиво поклонился в сторону останков лосося, — «стол» и... дайте подумать... «эритрофобия».

— Эритрофобия? — неуверенно повторила миссис Макбет.

— Страх покраснеть, — объявила Филиппа.

— Я не знала про такое, — сказала Мейзи.

— То есть... — с сомнением произнесла Шейла Оззер, — «у лосося на столе была эритрофобия». Так?

— Совершенно верно! — с жаром воскликнул профессор Кузенс.

— Дурацкая игра, — заметила Люси Оззер.

— Прекратите немедленно! — надулась Шерон, но никто не обратил внимания.

— Еще раз, — потребовала миссис Маккью.

— Ну... «кошка», — сказал профессор Кузенс, завидев Гонерилью, которая как раз проникла на кухню, — «свекла» и... «казу».

— Да, это посложнее, — признала Филиппа, но тут миссис Макбет

тихо, испуганно вскрикнула: Гонерилья вскочила на стол и положила перед ней обмякший трупик Макпушкина.

— Ёлки-моталки и святые угодники! — воскликнула миссис Макбет.

Последовало несколько драматических минут — Мейзи пыталась делать хомяку искусственное дыхание, миссис Маккью достала флакончик нюхательных солей и так далее, но в конце концов нам пришлось констатировать смерть несчастного создания.

— Их надолго не хватает, — вздохнула Филиппа. — Они еще хуже леммингов.

Мейзи стойко пережила внезапную кончину последнего из Макпушкиных и уже начала объяснять профессору сложное устройство хомячьего рая, который представляет собой подразделение рая для грызунов (довольно густонаселенное благодаря хотя бы усилиям семьи Маккью), который сам, в свою очередь, является подразделением рая для мелких млекопитающих и так далее.

— А этот рай для хомяков, — осведомился профессор, рассеянно поглаживая покрытое шелковистым мехом маленькое тельце, — в нем тоже есть подразделения? Для сибирских хомяков, золотистых, карликовых и так далее?

— Карликовых? — тихо переспросила миссис Макбет, но профессор уже ринулся с головой в очередную игру.

— Нужно взять слово из пяти букв, — сияя улыбкой, объяснял он, — например, «роман». Тот, который книга, а не тот, который человек.

— Какой человек? — спросила Шейла.

— Ну, любой человек. Любой человек по имени Роман. Нужно назвать по одному слову из пяти категорий — город, реку, цветок, писателя и композитора — на каждую из пяти букв. Например, на букву «н» будут Ноттингем, Нил, настурция, Набоков и... погодите... какой есть композитор на букву «н»?

— Луиджи Ноно, — сказала Филиппа.

— Кто?

— Он написал «Il canto sospeso», — сказала Филиппа, — лаконичную, довольно загадочную работу, в пятьдесят пятом году, а затем — «Intolleranza» в шестидесятом. Спорная фигура, интересовался социальными вопросами, находился под влиянием Веберна.

— А может, Айвор Новелло подойдет? — спросила миссис Маккью.

— Да, это гораздо лучше, — согласился профессор Кузенс. — Ну хорошо, давайте возьмем другое слово из пяти букв, например... «балет». Эффи — вас ведь Эффи зовут, верно?

Я кивнула.

— Хотите начать?

— Я?

— Начинайте с буквы «б», — подбодрил меня он.

— Почему не с «а»? — удивилась миссис Маккью.

Я вздохнула:

— Б...

— Город, река, цветок, писатель, композитор, — подталкивал меня профессор Кузенс.

— Бирмингем, бальзамин, Бартельми, Берлиоз.

— Вы пропустили реку, — сказала дочь Оззера.

Мы стали вспоминать реку на букву «б», но не успели — профессор ахнул:

— «Герцогиня Мальфи!»

Видимо, он как раз сейчас должен был читать по ней лекцию — или думал, что как раз сейчас должен читать по ней лекцию.

— Мы с Роджером ездили туда на медовый месяц, — неопределенно сказала Шейла. — Побережье Мальфи, на Неаполитанской Ривьере.

— Нет-нет, — мягко поправил профессор, — побережье называется Амальфи.

— Неаполитанская Ривьера, — повторила миссис Макбет. — Звучит как название мороженого.

— А я была на Ривьере, — вдруг сказала миссис Маккью. — На Французской Ривьере. Давным-давно, когда я еще была не замужем, когда Арчи еще не было на свете. Я туда ездила с одним человеком по имени Фрэнки. — Она вздохнула. — Он был богатый. Очень романтично — мы гуляли под иностранной Луной и курили такие французские сигареты. Мы поехали туда в кремовом «бристолье» Фрэнки...

— Бристольский кремовый торт? — перебил профессор, с надеждой оглядывая стол.

— Нет, кремовый «бристоль» — это машина.

— А я сроду не бывала дальше Блэргаури, мы туда по ягоды ездили, — печально сказала миссис Макбет.

— *La Terrazza dell'Infinità*, — мечтательно произнес профессор. — Терраса бесконечности! Это на побережье Амальфи, рядом с... не помню с чем. Я однажды пережил там нечто совершенно прелестное.

— В самом деле? — В Филиппе очнулся автор любовных романов.

— «Ей лицо закрой!» — пробормотал профессор.

— Кому? — подозрительно спросила миссис Макбет.

Я решила, что лучше переменить тему, и спросила Андреа (которая уже прикончила весь «пограничный пирог» и, похоже, готова была в любой момент вытошнить его обратно), как поживают ее заклятия. Вдруг она сможет наколдовать мне веймарскую легавую?

— Вы страдаете синдромом Туретта? — заботливо осведомился профессор.

— Не проклятия, а заклятия, — объяснила я. — Магические заклинания.

— О, как интересно! — воскликнул профессор, прижав руки к сердцу.

— Ну? — подтолкнула я Андреа, которая смотрела на профессора как на сумасшедшего.

— Смотря что тебе нужно.

— Ты можешь кое-что удвоить?

— Удвоить? Что именно?

— Собаку.

О, сколько проблем решилось бы сразу, если бы на свете жили одновременно Хэнк и Малыш!

— Клонирование! — презрительно фыркнула Филиппа. — Это невозможно. В Шотландии — точно. К тому же подумайте, сколько это повлечет за собой этических проблем!

— Наоборот, решит этические проблемы, — сказала я. Зачем я вообще завела этот дурацкий разговор?

— Магия! — мечтательно воскликнул профессор Кузенс. — Вы в нее верите?

Я не верила. Но жалела об этом.

Смачно грохнула входная дверь, и на волне ледяного воздуха в кухню вплыл Арчи. Он был явно недоволен тем, что за его столом удобно устроились не только профессор Кузенс, но еще и миссис Маккью с миссис Макбет.

— Прямо дом престарелых какой-то, — проворчал он, сверля злобным взглядом мать, которая в ответ подвинула ему стул и сказала:

— Сядь, сынок, дай отдых ногам.

— Вы опоздаете в школу, — сказала Филиппа в пространство, и все нервно посмотрели на часы — все, кроме Мейзи и Люси Оззер.

— Образование — это всё, — вдохновляюще сказала миссис Маккью.

— Ну, не всё, — запротестовала миссис Макбет. — Оно не хлеб и не вода, не погода, не чай...

— Не овца, — подсказала Мейзи.

— Овца? — нахмурилась Филиппа.

— И не черепица для крыши, — вставил профессор, уловив дух новой игры, — не наволочка, не...

— Прекратите немедленно! — выкрикнула очень возмущенная Шерон, хлопая в ладоши, как воспитательница в детском саду. — Это чудовищная, полнейшая ерунда.

Так оно и было.

Является ли создание трансцендентально связного представления мира по-прежнему желательным?

Я покинула резиденцию Маккью и принялась толкать колясочку с Протеем вдоль Лужайки Магдалинина Двора, а потом вниз по Риверсайд. Может, Протей теперь мой? Его мать явно потеряла к нему интерес. Я припарковала колясочку у скамейки и села, обдумывая, как именно поменяется моя жизнь, если остаток ее я буду вынуждена заботиться о младенце. Протей задремал, не ведая о своем сомнительном будущем в моих руках.

Слабое солнце кое-как растопило остаток снега и отполировало Тей до цвета чистого серебра. Воздух слегка отдавал ароматом сточных вод. На мосту не было поездов, зато вдали, на песчаных отмелях посреди реки, нежились на солнце тюлени. Отсюда они выглядели как едва шевелящиеся аморфные валуны, но я знала, что вблизи они пестрые и крапчатые, как птичьи яйца. С водосточной трубы грациозно вспорхнула цапля и улетела прочь.

Я закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Внезапно (и совершенно нелогично, по-моему) у меня поднялось настроение. Меня снова охватило то же странное чувство, что тогда у стоячих камней в Балниддри, — нечто вроде бурления в крови и пузырьков газа в мозгу, словно я замерла на грани чего-то сверхъестественного, глубокого, словно еще миг — и мироздание развернется, тайное знание посыплется на мою голову, как манна с небес, и мне откроются все загадки вселенной, быть может — сам смысл жизни и... но, увы, этому не суждено было случиться, ибо как раз тогда темная тень накрыла весь мир.

Ледяные межзвездные вихри завертели мусор вдоль дорожки и погнали вверх по Тею огромное цунами, которое накрыло автомобильный мост и начисто снесло железнодорожный. Вулканический пепел поднялся в воздух и окутал землю, вытесняя воздух и застыл дневной свет. Ужасная фигура, что была причиной всего этого, встала передо мной. Облаченная во вдовый траур, подобный полуразмотанному савану, сия дочь Немезиды скрежетала зубами и заламывала руки, преисполняя воздух стонами и причитаньями. Черный дым шел от ее макушки, а ее аура состояла исключительно из окалины и вулканического шлака. Да, то была Терри!

Она возбужденно размахивала веером из черных страусовых перьев. На ней были длинные черные перчатки и гагатовые серьги, как подобает

женщине в трауре, ибо она открыла судьбу своего возлюбленного, встретив на улице Сьюэллов с кротким Хэнком — Малышом на поводке, и вступила с ними в поединок, бросив вызов Джею, с его шестью футами двумя дюймами роста и выносливостью опытного бегуна трусцой. Лишь удача — вместе с Мартой, что отбросила достоинство и налетела на противницу, пинаясь и царапаясь, как уличный боец, — принесла Джею победу.

— Я его потеряла, — уныло сказала Терри, опускаясь на скамью и закуривая сигарету. — Значит, теперь нам надо раздобыть его обратно.

Она воззрилась на Файф, лежащий за рекой.

— Ты хочешь похитить Хэнка? Но ведь у тебя ничего не вышло с козленком? — напомнила я.

— Тем более нужно постараться сейчас с собакой. — Терри отбросила окурок и встала. — Так что... ты умеешь взламывать замки?

— Нет, — устало ответила я, — но знаю кое-кого, кто умеет.

Мы успели дойти до Роузэнгла, когда Терри сморщила нос, словно учуяв какую-то вонь, и спросила:

— А этот ребенок у тебя откуда?

У меня еще осталась засаленная карточка Чика — «Бюро частных расследований „Премьер“! Выполним любые задания, не спрашивая лишнего». Бюро оказалось неподалеку, в бульжном проулке, в лабиринте вокруг «Гробовой фабрики», чьи печальные призраки сегодня не тревожили живущих. Вывеска на двери гласила: «Кинлох-хаус». Легко было представить себе, что в этом здании когда-то трудились огромные загадочные механизмы — зубастые шестерни и молотящие поршни. Сейчас оно превратилось в лабиринт обветшалых офисов: все — обшарпанные, большинство пустует, а в остальных гнездятся подставные конторы для еще более сомнительных предприятий.

По дороге наша компания приросла за счет Андреа, сбежавшей от безумных Маккью. Андреа настороженно отнеслась к затее с похищением — ее отец был членом городского совета в Молтоне. Ее убедил только наш довод, что эта история будет полезна ей как писателю — например, послужит материалом для рассказа: «Антея — похитительница детей», что-нибудь такое. Я хотела свалить на нее заботу о ребенке — тяжело быть вором-домушником, если приходится таскать с собой большого толстого младенца, — но осознала свою ошибку, когда Андреа позеленела при виде Протея, измазанного едой (не помогли даже мои объяснения, что это всего лишь шоколадный пудинг «Робинсон»).

На самом верхнем этаже мы нашли еще одну карточку «Бюро частных

расследований „Премьер“, приклеенную на дверь жвачкой. Дверь была заперта, а стекло в ней закрыто военных времен клеенкой для затемнения. Терри забарабанила в дверь, и через некоторое время — не сразу — нам осторожно открыл Чик, у которого теперь был еще более потасканный вид, если такое вообще возможно.

— А, это вы, — сказал он.

Мы, кажется, застали его за перетаскиванием старого шкафа для бумаг по истертому линолеуму. Чик пыхтел, и капли пота проступали на зарождающейся лысине. Пастозно-бледный, взмокший, — казалось, его сейчас настигнет сердечный приступ. Впрочем, он так выглядел при любой нашей встрече.

— Чего вам вообще надо? — мрачно спросил он. — Надеюсь, не денег — стерва меня до нитки обобрала. Ну не стойте столбами, помогите мне.

Шкаф для бумаг оказался легче, чем я ожидала, — он был пуст.

— Я думал завести женщину, — сказал Чик, разглядывая шкаф с таким видом, словно и впрямь собирался держать в нем женщину. — Чтобы печатала, подшивала бумаги... всякое такое...

Не подойдет ли ему Андреа с ее секретарскими талантами? Но она только что втащила Протея на пятый этаж и теперь лежала на полу, пыхтя, с закрытыми глазами.

— Будь как дома, устраивайся поудобней, — сказал Чик, перешагивая через ее распростертое тело, чтобы достать кулек жареной картошки из лотка с надписью «Входящие». — А я и не знал, что у тебя есть ребенок, — продолжал он, обращаясь ко мне. И предложил Протею холодный ломтик картошки.

— Это не мой.

— Будь осторожна, — сказал Чик. — За похищение сажают.

— Кстати, раз уж зашла речь... — встряла Терри...

Сьюэллы снимали большой полуотдельный дом под названием «Бирнам», примостившийся на склоне Лоу, где-то на середине высоты. В дом мы попали без всякого труда: мы еще не успели вытащить Протея из машины, а Чик уже открыл отмычкой замок задней двери. Я попыталась прикинуть, насколько бросаются в глаза четверо взрослых и младенец, проникающие со взломом в дом на тихой улице. Скорее всего, очень сильно.

— Ты уверена, что их нет? — в сотый раз прошипела Андреа.

— Нету, я же тебе сказала, — раздраженно ответила Терри. — Я слышала, как они говорили, что поедут в Эдинбург. А собаку оставят.

— Как удобно для сюжета, — бормочет Нора. — Если это можно назвать сюжетом.

Андреа вызвалась вести машину, в которой мы будем скрываться с места преступления, и по этой причине собиралась остаться снаружи, в «картине». Но под допросом Чика она созналась, что не умеет водить.

Оказавшись в «Бирнаме», мы стали заглядывать поочередно в каждую комнату, переговариваясь шепотом, словно прихожане в церкви (или воры-домушники во время кражи).

— Мне кажется, это все как-то... незаконно, — пробормотала Андреа.

— Потому что оно и есть незаконно, блин, — буркнул Чик. — Я вам вот что скажу: если меня посадят за кражу собаки, которая притом даже на бегах не выступает, кое-кто мне за это заплатит.

Последняя фраза была явно адресована мне, но я не обратила внимания.

— Он только ругается ужасно, а внутри добрый, — утешила я Андреа, которая глядела на Чика в ужасе — раньше она его не встречала.

Терри обнюхивала комнаты в поисках собачьего следа и запаха.

— Он точно здесь, — сказала она с убежденностью медиума.

Я никогда не бывала в таком чистом доме — чистом, как выставочный образец или жилище роботов. Интерьер был оформлен в оттенках магнолии. Все вещи стояли по линейке, в раковине не нашлось бы даже немойтой чашки, и все подушки были тщательно взбиты. Мы крались по дому на цыпочках, как воры-медвежатники — точнее, воры-собачники.

В спальне ночная одежда Сьюэллов была аккуратно сложена в изножье кровати — его бордовая пижама, ее кружевное нечто, больше подходящее для медового месяца. Я положила Протея на перину — толстая, стеганая, атласная, она так и просила на ней развалиться, и я поддалась неодолимому соблазну и легла рядом с Протеем, сонно сосущим палец. Я бы точно заснула, если бы в этот момент внезапно, непонятно откуда не выскочил Хэнк — Малыш, отчаянно гавкая и скаля зубы.

Чик и Протей синхронно заорали, Андреа попыталась грохнуться в обморок, но Терри упала на колени и воздела руки горе, как дева-мученица, призывающая скорую смерть. Я не сомневалась, что ее сейчас разорвут на куски, но, к счастью, тут Хэнк — Малыш узнал ее и упал к ней в объятия. (Влюбленная девица — ужасное зрелище.)

— Ах, истинная любовь, — ехидно сказал Чик. — Ну хорошо, задача выполнена — мы можем идти?

Он вытолкал всех на лестничную площадку — и в этот миг мы услышали самый страшный из всех возможных звуков: в замке входной

двери поворачивался ключ.

— Черт, черт, черт, черт, черт, — выразительно сказал Чик.

— Может, это воры, — шепнула Андреа.

Вероятность, что в один и тот же дом одновременно залезут две группы воров, была нулевая, но я не стала на это указывать. Вместо этого я осторожно показала вниз, туда, где у подножия лестницы Марта и Джей складывали сумки с покупками на пол из терраццо, оглядываясь — где же любимый песик, почему не бежит их встречать. Песик не бежал, поскольку Терри всем телом придавила его к полу.

— Где мамочкин маленький пусик? — кричала Марта, а Джей восклицал:

— Малыш, где ты, мальчик?

Но тщетно — Терри руками зажала мамочкиному пусику морду, так что единственной частью тела, которой он мог приветствовать хозяев, оставался бесшумно молотящий хвост. Вдруг Джей взлетел по лестнице — так быстро, что никто из нас не успел среагировать, — и в удивлении остановился при виде нашей живописной группы на верхней площадке. Он нахмурился, пытаясь понять, что происходит.

— Вы ведь Мартины студенты? — растерянно произнес он. — Это что, какой-нибудь студенческий розыгрыш?

Он увидел Чика, явно непохожего на студента, и заметно встревожился. Тут Хэнк — Малыш вырвался у Терри из захвата и бросился на Джея, чтобы его приветствовать. Терри бросилась за псом, чтобы удержать его, и в результате пес и Терри врезались в Джея одновременно. Именно так и происходят несчастные случаи.

Наверно, то, что было дальше, можно объяснить с помощью законов физики — опорные точки, рычаги и прочее; тот факт, что выше уровня перил располагалась бóльшая часть Джея, чем под ними; соотношение суммарной массы Хэнка — Малыша/Терри против одного Джея. Но как ни объясняй, в итоге тело Джея перевалилось через перила и полетело вниз, в пролет лестницы, так быстро, что с его губ не сорвался даже крик. Мы уставились друг на друга в немом изумлении — все, кроме Протея, который уснул, положив голову мне на плечо.

Я поспешила взглянуть через перила вниз. Джей распростерся внизу, на первом этаже, и кровь собиралась лужицей на мозаичном полу вокруг его головы. Глаза были открыты; лицо если что и выражало, то удивление.

— Мертв, как ручка двери, — пробормотал Чик.

— Кажется, говорят «мертв, как забитый гвоздь», — поправила Андреа, не отрывая глаз от залитого кровью пола.

В наступившей глубокой тишине, нарушаемой лишь скулением верного Хэнка — Малыша, отчетливо доносился из кухни голос Марты, безмятежно трещавшей про кашемировые свитеры и «оазис культуры» — Эдинбург. В любую секунду она выглянет в прихожую и увидит своего мужа, только что бывшего живым и здоровым, в виде покойника (это все равно что труп, только чуточку длиннее), мертвого, как деталь строительной фурнитуры.

Протей вздрогнул, проснулся и заплакал, нарушив транс, в который мы все погрузились. Я отчаянно рылась в карманах, ища соску-пустышку, но нашла лишь рваный лист бумаги — беглую страницу «Расширения призмы Дж.», в которой Дж. падает в пролет лестницы и погибает.

Чудовищный крик разорвал тишину пригорода — Марта обнаружила внезапную кончину мужа.

— Дайте зажигалку, — настойчиво прошипела я Чикю.

Он поднял бровь, словно сейчас было не время начинать курить (хотя если не сейчас, то когда?) и вручил мне просимое — безвкусную вещицу с голой женщиной на корпусе. Я выхватила зажигалку и подожгла лист. (Что ж, попробовать, во всяком случае, не повредит.) «Расширение призмы Дж.» злобно зашипело, занялось аквамаринным пламенем (а может, и бирюзовым, кто его там разберет) и превратилось в тонкую угольно-черную пленку, которая взмыла ввысь, повисела над лестничным пролетом и распалась дождем мелких обугленных фрагментов, похожих на черный снег.

— Твою мать, куда он делся? — произнес Чик, глядя вниз, в прихожую.

Ибо теперь там не было ни окровавленного Дджея, ни визжащей Марты, ни каких-либо иных признаков жизни или смерти. Как будто нас всех постигла массовая галлюцинация.

— Сюр какой-то, — пробормотала Андреа.

— Смываемся нахер, — скомандовал Чик.

Мы единодушно поддержали его инициативу, выбежали из дома и как попало залезли в машину — в итоге Хэнк — Малыш краткий нереальный миг восседал за рулем «картины». Наконец Чик и пес разобрались, кто где должен сидеть, и как раз когда «картина» отъезжала от «Бирнама» (с Чиком на водительском месте), мы узрели машину Сьюэллов, которая появилась из-за угла и остановилась возле дома. К моей радости, Джей не только управлял машиной, но и череп у него был совершенно цел. Марта заметила нас и слегка скривилась, узнавая. Терри и бывшего своего пса она не видела, так как они залегли на пол.

— Значит, он умер, а потом он... не умер? — растерянно произнесла Андреа.

— Очевидно, — сказала я.

— Вот это — магический реализм, — поясняю я Норе.

Терри попросила Чика высадить ее на автовокзале. Я решила, что она хочет отправиться куда-нибудь вроде Балниддри и временно залечь на дно — Сьюэллы, конечно, догадаются, кто похитил их собаку.

— Не надо меня провожать, — сказала она и потянулась меня поцеловать, но потом передумала.

Хэнк (я полагаю, так он теперь будет зваться во веки веков) лизнул ей ладонь и терпеливо сел рядом.

— Теперь мы преступники, — мечтательно сказала Терри, — и должны бежать туда, куда бегут все объявленные вне закона.

— Где это? Глазго? — спросил Чик.

— Нет, но тоже кончается на «о», — ответила Терри.

— Это что — Алеппо? — спросила я. — Труро? Фарго? Опорто? Кито? Сохо? Пуэрто-Рико? Киото? Чикаго? Бильбао? Рио-де-Жанейро? Ио? Эльдorado? Келсо?

— Кто бы подумал, что столько разных мест кончаются на «о», — устало сказала Андреа.

— Это еще не все, если хочешь знать.

— А где это Ио? — поинтересовался Чик.

Мы вернулись в «картину», которая показалась нам странно пустой. За неимением спиртного Чик глотнул укропной водички Протея. Сам Протей не стал бодрствовать, дожидаясь отбытия Хэнка и Терри. Он сидел у меня на коленях, сонно клюя носом. От него исходил ядреный запах хорошо выдержанных пеленок.

— Если б я могла найти Кару и отдать его обратно! — пожаловалась я Андреа.

Раз уж я стала на путь преступления, то не имею права брать на себя ответственность за воспитание невинного младенца. (Впрочем, Нору подобные соображения никогда не останавливали.)

— Она будет на сегодняшней вечеринке. В Броти-Ферри.

— Почему ты раньше не сказала?

— А откуда я знала, чей это? — обиделась Андреа. — Для меня они все на одно лицо.

Броти-Ферри, некогда рыбацкая деревушка, теперь сходила за богатый буржуазный пригород Данди. Вечеринка намечалась в огромном доме, больше похожем на маленький замок, чем на нормальное жилье. Не дом, а игрушка из красного песчаника в стиле шотландской фантазии — винегрет из консольных выступов, ступенчатых гребней, фронтонов, причудливых башенок с узкими бойницами. Что-то такое могло привидеться в бреду викторианскому архитектору.

— «Форрес», — сообщил Робин.

Дом был построен в девятнадцатом веке для джутового магната, но сейчас в нем обитали буйные студенты — дантисты и медики. Робин и Боб были первые, кто попался нам, когда мы вывалились из автобуса с Протеом на руках и направились к нужному дому.

— Напомни мне, чтобы я никогда в жизни не заводила детей, — пробормотала Андреа.

Боб возбужденно объяснял Робину, что произошло в только что просмотренной им заключительной части последнего приключения доктора Кто, «Проклятие Пеладона».

— И тогда этот посол расы злобных инопланетян — мозг на колесиках, по сути...

— Как ты думаешь, где Шуг? — Андреа прервала этот поток утонченной кинокритики тоном, каким могла бы разговаривать с шимпанзе, страдающим легкой формой умственной отсталости.

— Без понятия, — сказал Боб.

— Он тебе что-нибудь говорил? — не отставала Андреа. — Про меня, например?

— Он сказал... — Боб закрыл глаза.

— Это он так думает, — пояснила я.

— Он сказал... «Не забудь принести тайские палочки!»

Андреа понюхала воздух и направилась по следу, ведомая чутьем влюбленного носа. Боб ушел за ней, а я осталась с Робинем на кухне, освещенной одинокой желтой лампочкой. Какие-то люди — все в сумеречном состоянии, вызванном употреблением наркотиков, — приходили и уходили. Вероятно, врачи и дантисты завтрашнего дня. Угощение было обычное для студенческой вечеринки — два больших каравая хлеба, кусок красного шотландского чеддера, дешевое вино и железный бочонок газированного пива. Бочонок стоял в буфетной, среди луж пролитого напитка. На столе — винные бутылки, почти все пустые. Рядом — ящик молочника, полный бутылок с балниддрийским бузиным шампанским, к которому пока никто не притронулся.

Робин вылил остатки из большой бутылки «Хирондели» в два пластмассовых стаканчика и передал один мне. На кухню прибрела Миранда, убийца козлов и наркоманка, — ее окружала практически видимая аура дурмана. Миранда принялась хлестать из горла «Молоко тигра». Заметив Робина, она одарила его летаргическим «привет». Меня она, похоже, не узнала. Можно ли доверить ей Протея? Вряд ли. Я спросила, не видала ли она Кару, и она неопределенно махнула рукой в сторону двери, а потом завалилась на стул и, кажется, отключилась.

Я выбралась из кухни и пробилась через толпу в коридоре и на лестнице. Робин тащился за мной по пятам. Мы оказались в комнате размером с небольшой бальный зал — она выглядела чем-то средним между вокзалом и борделем. По обеим концам комнаты располагались каминные, отделанные красно-белым мрамором (тем самым, что так похож на сырое мясо). По стенам — огромные зеркала в позолоченных бронзовых рамах. С потолка свисала большая тяжелая люстра опалового стекла в форме пальмы, а из стен росли ее уменьшенные версии. Я чуть не представила, как меня кружит в вальсе лихой кавалерийский офицер — я в развевающихся пышных юбках из муслина-де-суа, с запястья свисает бальная карточка...

— Правда? — Робина явно возбудило мое видение. Что-то склизкое, похожее на серебристый след улитки, поползло у него по бороде.

— Нет, неправда.

К сожалению, люстра не горела — зал освещался только балнидрийскими свечами, расставленными с полным пренебрежением к правилам пожарной безопасности: того и гляди одну из них опрокинут, и она подожжет изодранные обвислые шторы.

Мебели в зале не было, если не считать двух нелепых шезлонгов, покрытых истертым почти до небытия красным бархатом. На них, как мокрые мешки с песком, валялись люди. По полу вдоль стен — где, наверное, когда-то стояли элегантные золотые стульчики, на которых отдыхали дамы, — теперь лежали старые грязные матрасы. На одном матрасе, в дальнем конце комнаты, я заметила Боба — он уже присосался к кальяну.

Бальный зал все еще использовался по назначению — во всяком случае, отчасти: кто-то установил в нем примитивную цветомузыку с красным, синим и зеленым прожекторами и изредка мигающим стробоскопом, действующим на нервы. Танцоров (если их можно так назвать) было немало. Среди них оказалась Андреа, все еще без-Шуговая. Она танцевала в уникальном стиле, отточенном ею на музыкальном

фестивале на острове Уайт, так что ее танец напоминал конвульсии осьминога с четырьмя конечностями.

Как ни странно, в толпе обнаружилось несколько преподавателей, видимо наиболее передовых. Хотя вряд ли этот эпитет был применим к доктору Херру — он стоял в углу, имея бледный вид, и беседовал со своим архиврагом... Арчи-врагом. Мне показалось, что он пьян, — впрочем, разница между доктором Херром трезвым и доктором Херром пьяным чрезвычайно мала.

К нам подтанцевала Андреа, и Робин спросил (скорее со страхом, чем с надеждой):

— Можно тебя пригласить?

— Нет, нельзя, — сказала я и пихнула ей в руки Протея; она попыталась сбежать. — Только пока я не найду Кару!

Не успела я сказать еще хоть слово, как ее поглотила толпа, и она исчезла.

Робин уже танцевал под «Spirit in the Sky»^[63] — с закрытыми глазами, дерганно и расхлябанно, как марионетка. Я даже подумала сперва, что у него начался какой-то припадок. Музыка сменилась на «A Whiter Shade of Pale»^[64], и Робин открыл глаза, схватил меня и прижал к своей худой птичьей груди. Его стариковская футболка пахла дешевыми благовонными палочками и потом.

Меня подташнивало, и я чувствовала какую-то отдельность от происходящего. Уж не наелась ли я опять брауни, сама того не заметив? У меня звенело в ушах — я трясла головой, но не могла избавиться от этого звона и почти обрадовалась, когда подвернулась возможность опереться на Робина. Он начал меня целовать, но, к счастью, помешали его общая неуклюжесть в сочетании с бородой и усами. У меня появилось очень странное ощущение — словно мои мозги заменили сыпучим зерном. Когда я склоняла голову набок, все зерно пересыпалось на ту сторону.

— Я в последнее время много думал, — говорил в это время Робин мне на ухо, очень тихо и так близко, что я чувствовала, какие мокрые у него губы, — про «Пожизненный срок». Про динамическое взаимодействие между персонажами и темой. Понимаешь, Кенни — вечный чужак...

— А я думала, чужак — это Рик.

О нет, мне ни в коем случае нельзя ввязываться в этот разговор.

— Мне нужно найти Кару, — пробормотала я.

Робин принялся неумело расстегивать мои пуговицы. На мне было столько слоев одежды, что он добрался бы до тела лишь назавтра. Я

решила воззвать к сыну владельца агентства недвижимости:

— Робин, мне, кажется, нужно еще выпить.

— Конечно, я сейчас принесу, — сказал он и ринулся прочь по бальному залу, уже усыпанному грязными пластиковыми стаканчиками и окурками (как обычных сигарет, так и косяков).

Комната кренилась и моталась, как тонущий океанский лайнер. Странная центробежная сила действовала на мое тело; я поняла, что должна немедленно сесть, и тихо опустилась на свободный угол омерзительно грязного матраса.

Внезапно я осознала, что оставшуюся часть матраса занял Роджер Озер — он как пиявка присосался к первокурснице моложе его в два с лишним раза. Я бы спросила Роджера, как поживают его жена и любовница, но не могла говорить как следует: язык распух так, что уже не помещался во рту, а центробежная сила пыталась утащить меня в черную дыру. Голова была тяжелой, как небольшая планета. Во рту пересохло, словно туда насыпали цемента. Я увидела на полу открытую банку пива «Экспорт», схватила ее и сделала большой глоток — но тут же выплюнула и выкашляла все обратно вместе с пеплом и бычками. Кто-то навис надо мной и спросил: «Тебе плохо?» Это была Шерон — она неритмично дергалась под «Go ask Alice»^[65], и ее соски прыгали у меня перед глазами. Ее голос то грохотал, то уплывал куда-то, словно мы были под водой. В конце концов ей надоело говорить со мной, не получая ответа, и она принялась болтать с Роджером — так фамильярно, что их определенно роднил не только интерес к марксизму или совместно прочитанный Кернкросс.

Я решила пересечь зал и добраться до Боба, хотя вряд ли он мог чем-то помочь в моем состоянии. Однажды я потеряла сознание в баре «Лэдиуэлл» в обществе Боба, и он, не зная, что делать, попросту лег на пол рядом со мной. В результате нас обоих оттуда вышвырнули. Я посмотрела в тот конец зала — Боб был уже без кальяна, зато со специалисткой по «Финнегану»: она распростерлась у него на коленях в неожиданном гедонистическом самозабвении.

Я встала, и зал немедленно распался на тысячи маленьких точек, словно я шагнула в картину пуантилиста. Не могу поклясться, но мне показалось, что в дальнем конце зала мелькнул силуэт неуловимого желтого пса. Интересно, что это — галлюцинация или мираж? И не являются ли поиски желтого пса теперь моей задачей, раз Терри сбежала в загадочное место, которое кончается на «о»? А может, желтый пес, как Лэсси, теперь пытается указать мне дорогу к Каре?

Я героически прокладывала себе путь по выжженной земле бального зала, где теперь танцевали под Сантану. Но, прибыв на тот конец, не обнаружила никаких признаков ни Боба, ни желтого пса. В зале было очень жарко и душно, и огромная толпа бесцельно перемешивалась, увеличенная и искаженная в тусклом свете свечей зеркалами и моим собственным искаженным видением. Давление у меня все падало, и вокруг смыкалась чернота. Я знала, что если не выберусь из зала, то упаду в обморок — а привлечь внимание упоротых медиков из «Форреса» мне было совершенно ни к чему.

Наконец я пробилась к выходу из зала, проскочив мимо Давины...

— Вот, — говорю я Норе. — Ты должна мне фунт.

...и попала, похоже, в бывшую бильярдную, где воздух был чуть посвежей. Здесь, однако, никто не размахивал киями, а зеленое сукно стола было занято явно бесчувственным телом Гильберта — он лежал на электрической железной дороге, к большому недовольству тех, кто хотел в нее поиграть. Вокруг прямо на полу сидели кучки людей — мужского пола, без единого исключения — и играли в «Риск», «Дипломатию», маджонг и, конечно, го. Го...споди, как скучно. Скука, висящая в этом помещении, вполне могла превратить в камень живого человека, и я поскорее сбежала, задержавшись лишь для того, чтобы перевернуть лежащего навзничь Гильберта на бок, как учит техника первой помощи.

Я толкнула дверь на другом конце бильярдной — она открылась в небольшую комнату, где было совершенно темно, если не считать света от телевизора, в котором показывали «Папину армию». В дверях я столкнулась с Шугом, который обнял меня со словами: «Что, решила гульнуть, красавица? Ну что, ты и я... того? А?» Он был очень пьян, и мне пришлось отпихнуть его и напомнить, что он «Бобов кореш» и потому не имеет морального права меня трахнуть. А где же сам Боб? Шуг зашуганно вздрогнул (рано или поздно это должно было случиться) и сказал: «Нинаю».

Я упрямо шла дальше. Поднявшись по небольшой лестнице для слуг в загадочные верхние области дома, я попала в холодную спальню, где зря старался керосиновый обогреватель. На холодном махровом покрывале двойной кровати лежали дочка Джилл с непроизносимым именем, еще два спящих ребенка неопределенных лет и — к моему огромному облегчению — Протей.

— Добро пожаловать в детскую, — сказала Кара и раскурила косяк.

— Так ты его, значит, нашла? — Я взглядела в мирное спящее личико

Протея.

— Тебе нехорошо? — спросила Кара. — Ты что-то бледная.

— Я и чувствую себя бледно.

Кара потянулась ко мне, схватила меня за запястье и деловито посчитала пульс.

— Я прошла курсы скорой помощи Святого Андрея, — сказала она, но тут же отпустила мою руку и сказала равнодушно: — Ты умерла.

— Хочешь остаться тут и посидеть с детьми? — спросила Джилл.

Мертвая бибиситтерша. Хороший вышел бы заголовок для чего-нибудь. Несмотря на окутавшую мозг пелену, я постаралась его запомнить, чтобы потом сказать Робину.

Я пошла дальше, спустилась по другой небольшой лестнице и стала заглядывать в другие комнаты — я сама не знала, ищу ли что-то. Возможно, я, как профессор Кузенс, должна была узнать искомое, когда найду его. В маленькой задней комнате обнаружился одинокий юноша с бульбулятором, окутанный невыносимым запахом горячей сальвии. Я сбежала от запаха и попала в другую комнату с телевизором — на сей раз это был портативный «Филипс», стоящий прямо посреди комнаты на полу. На экране бомбили какую-то страну, но зрителей не было, и я подумала, что мой долг — остаться и посмотреть несколько минут, но тут меня обуял страшный голод, и я решила попробовать найти дорогу обратно на кухню.

Вместо этого я попала, кажется, в какое-то совершенно отдельное крыло «Форреса». Этот дом явно проектировал Борхес, а строил Эшер^[66]. Я понятия не имела, куда выходят окна — на север, юг, запад или восток, и даже — на каком я этаже. Я осторожно заглянула в комнату, которая когда-то, вероятно, была большой верхней гостиной, а сейчас представляла собой фантастическое зрелище разврата, достойное кисти Босха, — при свете нескольких чадящих свечей на полу хаотически-самозабвенно извивались обнаженные тела.

— Не мешайте, пожалуйста! — сказал бестелесный голос. — Здесь идут серьезные занятия по массажу!

Я поспешила скрыться; впрочем, я не осталась бы здесь ни за какие коврижки. Следом я оказалась в ванной, ледяном дворце, где сохранилась вся оригинальная обстановка и оборудование — хитросплетения медных труб и разрисованный цветами кафель, который выглядел бы уместней в баре «Спидуэлл»^[67]. Древняя ванна, подобная вычурному катафалку, с выщербленной и потрескавшейся эмалью, стояла посреди помещения.

Воды в ней не было, зато был юноша — полностью одетый и притом в цилиндре. На краю ванны сидел другой юноша, в парадном пиджаке из шотландки с узором «черная стража». Он держал в руках альбом «Сержант Пеппер» и объяснял лежащему в ванне, как плохо себя чувствует. Их разговор был словно позаимствован из пьесы Робина:

— Понимаешь, старик, по правде, хреново. Типа ну какой смысл в этом во всем?

Юноша в ванне сочувственно кивал:

— Да-да. Смысл жизни. Счаст-Лифф ли ты и все такое.

Перед омерзительно грязным унитазом стояла на коленях, словно молясь, девушка. Она тихо стонала. Это была первокурсница, которую я недавно видела в объятиях Роджера Озера. Она легла на пол, прижавшись лбом к холодному грязному кафелю. Я перевернула ее на бок, как учит техника первой помощи (может, я больше ни на что и не гожусь в этой жизни) и велела парню с «Сержантом Пеппером» приглядывать за ней, но сомневаюсь, что он меня послушался.

Мне нужно было глотнуть свежего воздуха. По чистой случайности я наткнулась на главную лестницу дома — огромный деревянный полет фантазии, подделку под яковинский стиль, с резными чертополохами^[68], грифонами и странными геральдическими знаками. Высокие флероны столбиков в самом низу были исполнены в форме атакующих виверн, готовых наброситься на утратившего бдительность случайного гостя. Я опасливо проскочила мимо них и оказалась в квадратном холле, таком большом, что его снабдили собственным камином — черным, чугунным, литым, в форме створки раковины. У решетки было мягкое сиденье из красного бархата — я села туда, сторожко поглядывая на Кевина, который, устроившись тут же, пил «айрн-брю» из большой бутылки.

— Вечеринки — ужасная гадость, — уныло сказал он.

— Кевин, мне по правде очень плохо. По-моему, мне нужен врач.

— В Эдраконии врачи — одновременно и алхимики. Они превращают низкие металлы в золото и так далее. Конечно, с тех пор как Сумрак накрыл всю землю, появились новые странные болезни. Например, истончение.

— Истончение?

— Да. По названию понятно.

Может, это и случилось с Безымянным Юношей — он истончился до невидимости. И это же теперь происходит со мной. Я обрадовалась, когда к нам присоединился Гильберт — у него был удивительно свежий вид для

человека, что лишь недавно лежал без сознания.

— Отлично отвисаем, а? — бодро сказал он.

— Или падучая болезнь, — упорно продолжал Кевин.

— Ты не видал желтого пса? — спросила я у Гильберта, не обращая внимания на Кевина.

— Желтого пса? — повторил Гильберт. — Я и не знал, что бывают желтые собаки. Нет, к сожалению.

Я протолкалась наружу. На газоне за домом развели костер, и он полыхал вовсю. Воздух звенел от мороза, и искры взлетали крохотными иголочками света в ночное небо, кишащее звездами. Люди тащили из дома старую мебель, чтобы поддерживать огонь. Я увидела, как пламя в облаке пыли с ревом взлетело вверх по занавеске бального зала. Другие люди плясали вокруг костра, словно члены ковена лунатиков. Среди них была Андреа. Она заметила меня и подтанцевала поближе.

— Это как планетарий, — сказала Андреа, любуясь на звезды и небеса; рот у нее был открыт от изумления. — Вроде... планетария под открытым небом!

Я сказала ей, что Шуг в доме наверху, и она стремительно утанцевала прочь. Я вдруг озябла, и меня стало тошнить. Я искала глазами Кевина или Гильберта, но их не было видно. Внезапно передо мной воздвиглась грозная фигура — кошмарный Арчи в брюках клеш, слишком молодежных для него. К тому же они явно были ему малы и жали.

— Ты, — произнес он. Было очевидно, что он сильно пьян.

— Я, — подтвердила я.

— Ты не видала Херр-урга? — спросил Арчи, неуверенно обшаривая глазами сад. (Хорошо, что профессор Кузенс этого не видел.)

— Кого?

— Доктора Херра, — раздраженно повторил Арчи, — он...

Но ужасный взрыв заглушил все его дальнейшие слова.

— Это что, развязка?

— Нет.

Я решила, что «Форрес» взорвался от бомбы или утечки газа, но тут к нам подбежал юноша в цилиндре, которого я только что видела в ванне, и, переводя дух, сказал, словно это все объясняло:

— Бузинное шампанское!

— Протестующие используют бузинное шампанское? Как это? — удивился Арчи, но я не стала задерживаться для объяснений.

Мне казалось, что стены смыкаются и душат меня, хоть мы и были на открытом воздухе. Я стала искать выход из сада — такой, чтобы не

проходить через дом. Я чувствовала, что падаю. Падаю и истончаюсь — и тут чьи-то руки обхватили меня сзади и удержали на месте. Воспаленному мозгу почудился мужественный запах Фердинанда.

— Пора уложить вас в постель, юная дама, — сказал знакомый голос.

— Фердинанд, — пробормотала я и благодарно склонила голову ему на плечо, прежде чем окончательно истончиться.

Я медленно просыпалась под монотонный шум дождя. Что-то прохладное и гладкое, как мыльный камень, прижималось к моему телу, повторяя его контур. Я перевернулась на другой бок и увидела...

...доктора Херра.

Я приподнялась в постели и с ужасом воззрилась на него. Он медленно открыл глаза, и я видела, как его мозг просыпается и постепенно их догоняет.

— Эффи, — сказал он, зевая и тиская бледный стебель своего пениса — мальчишеское движение, лишенное всякой сексуальности.

Может, это был какой-то факультативный семинар? Может, у меня теперь станут оценки лучше? Или, наоборот, хуже?

— Доктор Херр, чем именно мы с вами занимались? — жалобно спросила я.

Он пошарил на тумбочке у кровати, ища свои очки, нацепил их и сказал:

— Думаю, мы уже на «ты», да? И зови меня Херрард.

Я твердила себе: это не самое ужасное, что могло со мной произойти. Бывают вещи и похуже (хотя я так и не придумала, что именно может быть хуже).

С моря напал на город противный холодный туман. Время от времени уныло взреывала туманная сирена, отдаваясь странным унылым эхом у меня в костях.

— А разве может быть туман и дождь одновременно?

— Может, если я захочу.

— Чаю? — предложил доктор Херр, неопределенно махнув рукой в сторону кухни. — Света нет, — добавил он на случай, если я скажу «да».

Без коммунальных служб — как на доске для игры в «Монополию» — доктор Херр был беспомощен. Я взглянула на часы.

— Нет, спасибо, — сказала я. — Мне нужно идти. Нужно сдавать реферат.

Но сперва мне нужно было найти Боба. Потому что последний раз я его видела в массажной комнате в «Форресе» в масляных ручках

специалистки по «Финнегану». Интересно, сможет ли он мне членораздельно объяснить, что происходит? Я в этом сомневалась. Неужели он бросит меня раньше, чем я брошу его?

Нора идет по полосе прибоя. Это ни суша, ни море. Нора говорит, что граница между ними — портал в иной мир. Она не боится, что волна плеснет ей в резиновые сапоги. Время от времени она подбирает камешек или ракушку и сует в карман большого мужского плаща. Я подозреваю, что под шерстяным шарфом у нее все те же бриллианты. Она вглядывается в море — упорно, как моряк, что пытается увидеть на горизонте землю. Она нюхает ветер.

— Приближается, — говорит она.

— Что?

— Конец.

Она идет прочь. Карманы у нее набиты камнями. Я бегу следом, пересиливая ветер.

— Ну так что же? Объясни, что там было с браками, разводами и смертями.

Нора вздыхает и с почти театральной неохотой возобновляет свой рассказ:

— Эффи отправили в Лондон к каким-то дальним родственникам Стюартов-Мюрреев, «заканчивать образование». Жаль, что ее саму там не прикончили. Лахлан изучал юриспруденцию в Эдинбурге, а когда началась война, он пошел в армию, а Эффи вернулась домой в Гленкиттри, где целыми днями маялась без дела, жалуясь на скуку, — «аж глаза на лоб лезут». А хуже скучающей Эффи не может быть на свете ничего. Я с нетерпением ждала утра, когда можно будет уйти в школу — я ходила в местную начальную, — лишь для того, чтобы оказаться подальше от Эффи. Я для нее была «байстрючка», «соплячка». Она должна была за мной присматривать, поскольку Марджори все время болела, но на самом деле пальцем о палец не ударила. Няnek тогда уже не было — лондонский дом давно продали, эдинбургский сдавали компании по управлению недвижимостью, и деньги упорно, незримо утекали из кармана Стюартов-Мюрреев.

— Школа в Керктон-оф-Крэйги была маленькая; ученики — в основном дети окрестных фермеров. Я проводила с ними много времени и после уроков...

Нора умолкает с задумчивым видом. Я предполагаю, что ей неприятно вспоминать то время, когда у нее была нормальная жизнь, друзья, когда ее

будущее все еще таило россыпь возможностей.

— Я всегда думала, что я дурная девочка, потому что не люблю ни Дональда, ни Марджори. Я боялась, что это значит — я вырасту такая же, как Эффи, и буду любить только себя, и больше никого. Но я не виновата, что Дональд был сварливым занудой, а Марджори — пьяницей. Они едва достаивали меня словом, а друг друга — и вовсе никогда. Они были как люди, потерявшие душу.

Какой метафизический образ мысли у моей матери (которая мне не мать).

— Потом рядом с нами расквартировали какой-то армейский полк, и Эффи перестала скучать. Помню, один раз она явилась домой, когда мы все завтракали. Косметика у нее размазалась, волосы растрепались, и пахло от нее спиртным, сигаретами и чем-то еще, противным и вульгарным. Она считала себя красавицей, но по временам бывала самым безобразным созданием на свете.

Дональд начал орать на нее, называя позорной шлюхой, течной сучкой и так далее. «Ты что, хочешь еще одного байстрюка ошлепетить?» — кричал он.

А Эффи ответила: «Нет, если он окажется таким же тупым, как первая».

— Это что, подсказка?

Нора не обращает внимания на мой вопрос.

— Как бы там ни было, в конце концов она забеременела — отцом мог быть любой солдат из полка, но она охомутала офицера и вышла за него замуж.

Потом война кончилась...

— У тебя в рассказе время летит очень быстро, и ты пропускаешь все детали.

— У нас нет времени на детали. Муж Эффи... кажется, его звали Дирк, но я точно не помню: он произвел очень слабое впечатление на всех нас, а меньше всего — на Эффи... Итак, муж Эффи демобилизовался. Кажется, он был дипломированный землемер. Дирк — будем называть его так, хотя его и не так звали, — начал поговаривать о покупке миленького домика в городе, окруженном садами, на юге страны, и о детях. Думаю, Эффи просто не приходило в голову, что у Дирка может быть какая-то жизнь, не связанная с войной. Она бросила его, как только впервые увидела в штатском.

Марджори к тому времени уже умирала. У Дональда случился первый инсульт. Меня послали в школу — в Святого Леонарда, — где все учителя

очень подозрительно относились ко мне, поскольку я была «сестрой Эвфимии», и мне пришлось учиться изо всех сил, доказывая, что я на нее совсем не похожа.

Лахлан работал в юридической фирме в Эдинбурге. У него была маленькая унылая квартирka в полуподвале на Камберленд-стрит, недалеко от бывшего особняка Стюартов-Мюрреев, в котором теперь расположилась страховая компания... вот тебе деталь, раз уж ты так настаиваешь...

После развода Эффи часто ездила к нему и жила у него подолгу. Из них вышла очень мерзкая парочка. Я понятия не имела, чем Эффи занимается весь день, пока Лахлан на работе.

Мне один раз пришлось поехать туда с ночевкой — прямо перед смертью Марджори. Мне было лет тринадцать. Меня положили спать на диване, и Эффи сказала: «Какой ужас, для меня теперь нет места. Лахлан, мне придется спать с тобой» — и засмеялась. Им обоим показалось, что это ужасно смешно. Им почему-то не пришло в голову, что Лахлана можно положить на диван, а мы с Эффи уместимся на кровати.

Были выходные. Лахлан и Эффи никуда не пошли, задернули занавески и все выходные только пили и курили. Я надеялась, что они хотя бы сводят меня погулять в замок. В конце концов я пошла одна, много часов бродила по Эдинбургу и в итоге заблудилась. Полицейский показал мне дорогу обратно. Жаль, что он не проводил меня до места. Может быть, тогда меня забрали бы социальные службы и отдали в другую семью, в нормальную жизнь. Квартира была как помойка — бутылки, пепельницы, грязные тарелки, даже нижнее белье. Лахлан валялся без чувств на диване, а Эффи была настолько пьяна, что едва могла говорить.

Вернувшись домой, я узнала, что Марджори умерла в местной деревенской больнице. В час смерти она была совсем одна — дежурившая при ней сиделка вышла покурить.

Лахлан, который вырос точно таким тщеславным, слабым и эгоистичным, как предсказывал его детский характер, решил, что пора ему жениться, и обручился с нервной дочерью судьи. Эффи была в ярости, ревновала как кошка и немедленно выскочила замуж сама — за человека, с которым случайно познакомилась в поезде. Назло Лахлану, я думаю. Новый муж Эффи — будем звать его Эдмундом — был богат. Он чем-то торговал и разбогател на военных поставках. Хотя Лахлан вечно обзывал его «торговцем подержанными машинами», потому что зять предложил отдать ему по дешевке свой старый «бентли».

Жена Лахлана, Гертруда, его разочаровала^[69]. Ее выбрали в качестве

племенной кобылы для продолжения рода Стюартов-Мюрреев, а она оказалась бесплодной.

У Дональда случился еще один инсульт, приковавший его к постели. Возвращаясь домой из школы, я погружалась в запах лежачего больного. Дом был полон сиделок — они приходили и уходили. Чаще уходили, поскольку Дональд в роли пациента был ужасен и сиделки не выдерживали больше пары недель. Одна вообще ушла на следующее же утро после прибытия, так как Дональд запустил ей в голову полный урыльник.

А потом явилась Мэйбл Оггородд.

— И что?

— И началась другая жизнь.

Брайан крутанул трость и подкрутил усы ради мадам Астарти.

— Будь добра, принеси мои сигареты из уборной, — попросила Сандра.

Они стояли за кулисами (мадам Астарти подумала, что, в сущности, всю жизнь свою провела за кулисами), ожидая знака, чтобы выйти на сцену распиливать и исчезать.

В пустой уборной есть что-то очень меланхолическое, думала мадам Астарти. Даже странно пугающее. Ей вспомнился фильм «Страх сцены». И еще клоуны. Мадам Астарти всегда побаивалась клоунов. Они какие-то... несмешные.

Пачки сигарет нигде не было, но на длинной вешалке висела одежда, а на плечиках, прицепленных на дверь, — пальто. Мадам Астарти обыскала все карманы — осторожно, поскольку никогда не знаешь, что найдется в чужом кармане. Она подергала дверцу шкафа. Дверца как будто застряла, и мадам Астарти пришлось повиснуть на ручке всем телом. Она чуть не опрокинулась назад — дверца вдруг подалась и...

Chez Bob

Войдя в квартиру, я услышала, как Боб разговаривает в спальне. Сперва я решила, что это обычная абракадабра, которую он несет во сне. Но постепенно в его речах проступила своеобразная логика.

— Запишите следующие предложения на языке логики предикатов: а) у шахтеров особый случай; б) у университетских преподавателей нет особого случая; в) у шахтеров более тяжелая работа, чем у университетских преподавателей; г) прибавка, которую получают шахтеры, будет больше, чем у университетских преподавателей; д) ни одна группа не получит прибавку больше, чем шахтеры; е) если у одной группы более тяжелая работа, чем у другой, первая группа получит прибавку больше, чем вторая; ж) одна группа получит прибавку больше, чем вторая, только если у первой группы особый случай, а у второй группы нет особого случая. И это, — добавил Боб тоном отчаявшегося человека, — еще даже не самая трудная часть, верно?

— Верно, — сказал другой голос.

Он звучал устало, словно его обладательница (голос был женский, что весьма интересно) слушала Боба уже давно. Я — бесшумно, как ворсобачник, — прокралась по ковру к двери спальни.

Боб продолжал:

— Ш — шахтеры, П — преподаватели, О (X) означает «у X особый случай», Т (X, Y) — «у X более тяжелая работа, чем у Y», Б (X, Y) — «X получит прибавку больше, чем Y». Универсум рассуждения — группы работников. Покажите с помощью формального вывода, что из (в), (е) и (ж), вместе взятых, следует (б). Ты, случайно, не знаешь, как это делать? — с надеждой обратился он к безымянной собеседнице. — Моя девушка думает, что я совсем безмозглый.

— И что, она права?

— Ха, ха, — сказал Боб. — Ты очень остроумная, правда?

Дверь спальни была приоткрыта, и я легонько подтолкнула ее; она открылась чуть шире — ровно настолько, чтобы моему взору предстал обнаженный Боб, возлежащий на смятых пурпурных простынях.

— Мозг и мозг, что такое мозг? — сказал Боб нелепым голосом.

Я еще чуть-чуть приоткрыла дверь, чтобы увидеть его собеседницу. Специалистка по «Финнегану» стыдливо прикрывала простыней грудь, но под простыней, видимо, была также обнажена.

— О чем ты говоришь? — обреченно спросила она.

Я распахнула дверь.

— Жопа, — красноречиво сказал Боб, увидев меня.

Специалистка по «Финнегану» очень реалистично завизжала.

— Это «Звездный путь», — услужливо подсказала я ей. — Эпизод называется «Мозг Спока», из третьего сезона.

С этими словами я закрыла дверь спальни. Больше мне ничего не пришло в голову.

Я уже собиралась уйти, но тут зазвонил телефон. Я взяла трубку и молча выслушала то, что говорил голос на другом конце. Наконец я сказала:

— Ясно. Хорошо, я ему передам.

Я снова открыла дверь спальни, и Боб поднял руки, словно желая сказать «не стреляй».

— Боб, у меня плохие новости, — мрачно сказала я.

— Свет отключили? — принялся гадать он. — У нас кончился чай? Ты от меня уходишь?

Последнее прозвучало особенно уныло.

Я вздохнула:

— Нет, ни то, ни другое, ни третье. Твой отец умер.

Бедный Боб-старший — я его едва знала. Наше общение ограничивалось редкой беседой за чаем о садовых или государственных делах. Но все же это у меня сейчас текли слезы по щекам, а Боб беспомощно пялился на специалистку по «Финнегану», пока она одевалась и уходила.

Какие-то на редкость ужасные сутки выдались.

— Клепаный корабль! — воскликнула мадам Астарти, когда из гардероба вывалилось тело и упало прямо на нее.

Большой переполох

Мадам Астарти открыла киоск раньше обычного и сейчас сидела в нем с чашкой чаю, рассеянно тасуя колоду Таро и думая, съесть ли весь «Кит-Кат» сейчас или оставить две палочки на потом. Вдруг она услышала странное тиканье. Она вышла из киоска, дошла до военного мемориала и подозрительно осмотрела его. Обезвреженная торпеда определенно тикала, словно будильник, готовый разразиться звоном. Мадам Астарти огляделась вокруг: кажется, кроме нее, никто не заметил. Торговец рыбой Фрэнк отпирал свою палатку, возясь с неподатливым замком.

Тут мадам Астарти осознала, что слышит еще один звук — на этот раз подобный жужжанию большого злого насекомого.

— Смотрите-ка! — изумленно крикнула она Фрэнку, указывая в синее небо, где нарезал круги, спускаясь все ниже, небольшой самолет — один из его моторов дымился.

Фрэнку наконец удалось рывком открыть ставни — именно в этот момент самолетик упал в море, издав что-то вроде хлопка. Через несколько минут в воде показалась женщина; она вышла из моря на пляж. Такое не часто увидишь, подумала мадам Астарти.

Фрэнк не мог отвлечься на выходящую из воды женщину: он кричал — из-за зрелища, открывшегося ему в ларьке. На прилавке, где обычно красовались тушки камбалы и трески и ведра с моллюсками-трубачами, теперь лежал совершенно иной улов — мертвое женское тело с ломтиком лимона в зубах, украшенное веточками петрушки.

— Когда Мэйбл Оггородд приехала в долину ходить за Дональдом, ей было тридцать четыре года. Она была пассивна, как мебель, и благодушна, как лужайка для боулинга.

(Как причудливы фигуры речи моей матери-которая-мне-не-мать.)

Мэйбл была очень религиозна; в детстве она утверждала, что у нее бывают видения. Малоизвестная христианская секта чрезвычайно строгих взглядов, к которой принадлежали родители Мэйбл, этого не одобряла, и на Мэйбл наклеили ярлык фантазерки-еретички, которая того и гляди скатится в папизм и идолопоклонство. Сейчас Мэйбл больше не интересовалась церковными институтами и ритуалами, но утверждала — как до нее Жанна д'Арк, — что Господь лично беседует с ней все время, иногда посылает Своего Сына перемолвиться с ней словечком, а время от времени ей

выпадает встреча тет-а-тет с самим Святым Духом. Еще Мэйбл, тоже подобно Жанне д'Арк, в одиночку сражалась с врагом. Только в случае Мэйбл это были войска Сатаны, а не англичане (разница есть, кто бы там что ни говорил).

Мэйбл и сама была англичанка. Она родилась в Бристоле в семье потомственных моряков, несмотря на сухопутную фамилию. Уже много веков Оггородды бороздили моря, служили в экипажах военных кораблей, погружались под воду в субмаринах и водили по океану суда с полными трюмами рабов. Последний мужчина в роду Оггороддов — брат Мэйбл — пошел ко дну в Южно-Китайском море, когда его корабль торпедировали, и семья была весьма разочарована тем, что мореходные гены вымрут вместе с Мэйбл, которая решила остаться непорочной, как монахиня.

Все свое детство Мэйбл мечтала о собственных детях, но отказалась от личного счастья и отинула всякую мысль о браке, когда под Тобруком ее жениху — Дадли — пуля пробила сердце. И это несмотря на маленькую Библию, которую Мэйбл подарила ему на прощание. Библия аккуратно поместилась в нагрудный карман и должна была останавливать пули и спасать Дадли жизнь — в соответствии с историей, вычитанной Мэйбл в одном журнале. После того как Библия фатально не справилась с задачей, Мэйбл не сразу определилась, веру во что ей следует отбросить — в Бога или в печатное слово. Она выбрала второй вариант и с того дня ни разу не открыла журнал или даже газету. После смерти жениха Мэйбл пошла учиться на медсестру. Раньше она рассчитывала, что он останется в живых, и собиралась народить столько детей, что при необходимости хватило бы укомплектовать весь британский военно-морской флот.

На шее Мэйбл носила простенький золотой крестик — его подарил Дадли, когда последний раз приходил на побывку. Цепочка была такая тонкая, что уже начала исчезать в складках и выпуклостях вокруг подбородка Мэйбл. Ибо Мэйбл была толстая. Вежливого слова тут никак нельзя было подобрать. Ее личный Бог никак не ограничивал ее аппетит или число потребляемых ею калорий — и даже наоборот: у Мэйбл было ощущение, что Господь активно поощряет ее к еде. Она рассуждала так: ее тело сотворено Господом, а следовательно, приумножать это тело — значит возносить Господу хвалу. Ведь это Господь посылает на землю всяческое изобилие — даже пироги с нутряным салом и «черную булку», — и кто она такая, чтобы этим пренебрегать? Лахлан, впервые увидев Мэйбл, назвал ее коровой. В самом деле, она странным образом напоминала корову джерсийской породы — и цветом волос, и длиной ресниц, и колыханием обширных яловых боков. Однако при всей своей массивности она была

статной, почти величественной — скорее похожа на великую королеву племени дикарей, чем на дойную корову. И ела она — а ела она много — деликатно, как кошка.

«Хорошо утрамбована», — бормотал Дональд, у которого сохранилась речь, хотя почти все остальное было отнято. Он, вопреки обыкновению, привязался к новой сиделке. Мэйбл была неизменно мила с ним и так усердно осыпала его словами «благослови вас Господь» и «как Бог свят вас любит», что он поддался на пропаганду. Мысль о том, что Бог, может быть, все еще любит его, несмотря на все недостатки, странно изменила характер Дональда — он стал почти выносимым. Кроме того, Дональд, хотя ему было уже за семьдесят, все еще любил поглазеть на женскую грудь и получал значительное, хоть и греховное, удовольствие, разглядывая пухлые дойки Мэйбл в вырезе дешевой блузки, когда сиделка наклонялась, обихаживая его и помогая справиться ту или иную нужду.

К несчастью для Дональда, у него была парализована вся левая сторона тела, и он не мог воплотить свои мысли в действие.

Все слуги, какие были в доме, давно уже уволились. Им надоел невыносимый характер Дональда (до того, как Господь его благословил) и невыплата жалованья (Стюарты-Мюррей так и не свыклись с тем, что слугам следует платить). Мэйбл бодро взяла на себя всю работу по дому. Пухлыми, как клецки, руками она стирала и выжимала бесконечные загаженные простыни и грязную одежду; она подметала и скребла, чистила до блеска и даже находила время готовить простую сытную еду, какую готовила мать Мэйбл, когда та еще жила дома, — пудинги с нутряным салом, разварную грудинку, тушеное рагу с говяжьей рулькой, котлеты в тесте, запеченный зарез с картошкой, сладкий рулет с вареньем и пудинг из хлеба с маслом. Дональду очень нравилась эта еда. Он жалел, что не встретил Мэйбл, когда был помоложе: она, конечно, родила бы ему более путных и долговечных наследников, чем Евангелина или Марджори (хотя, конечно, Евангелина не виновата в том, что разразилась Первая мировая война).

Бог обычно беседовал с Мэйбл во второй половине дня, так что, разделавшись с обедом и вымыв кастрюли, Мэйбл тихо садилась на стул со спинкой-лесенкой в углу кухни, сложив руки на коленях, словно в своей личной церкви на одного человека, и ждала вызова свыше. Конечно, Господь мог при необходимости общаться с ней в любой момент — даже, как однажды стыдливо призналась мне Мэйбл, когда она «сидит в туалете», то есть совершает естественное отправление, предусмотренное самим

Богом. Но и Мэйбл, и Богу удобнее всего было разговаривать после хорошего обеда. Любимым обедом (у Мэйбл, конечно, не у Бога) был вареный бекон с салатом и молодой картошкой, а потом ломоть яблочного пирога с сыром на десерт.

Когда Мэйбл слушала Бога, ее руки были ничем не заняты, но то были единственные минуты их праздности: все остальное время они трудились, и воистину, более трудолюбивых рук Господь еще не создавал. Особенно Мэйбл любила вязать: иногда она распускала связанную вещь лишь для того, чтоб был повод связать ее снова.

Когда я впервые увидела Мэйбл — в летние школьные каникулы, когда мне было без малого шестнадцать, — она уже три месяца как обосновалась в доме. Атмосфера в «Лесной гавани» коренным образом изменилась. Все было чисто, размеренно и — может быть, впервые за всю историю дома — мирно. Но ведь сейчас в доме не было Эффи — а Эффи и мир друг с другом не уживались никогда.

Мэйбл была очень добра ко мне. Она все время спрашивала, удобно ли мне, тепло ли, не нужно ли мне что-нибудь связать, не хочу ли я что-нибудь поесть или попить, или пойти погулять, или поговорить, или послушать радио. Только тогда я начала понимать, насколько одиноким, лишенным тепла было мое детство, какой злыдней была моя мать, каким холодным и далеким — отец и, наконец (хотя и не в последнюю очередь по важности) — какие странные, извращенные люди мои брат и сестра.

Эффи в это время жила в Лондоне с Эдмундом, бизнесменом. Она, кажется, ни разу не приехала в долину и не интересовалась, что там происходит. Поэтому, когда она явилась домой — с диким видом, на грани скандального развода, — ее ждал сюрприз: на пороге «Лесной гавани» ее встретила Мэйбл Оггоррод, гордо (но скромно) продемонстрировала обручальное кольцо и представилась как «миссис Дональд Стюарт-Мюррей».

Пауза.

— И?..

— И я пошла спать, спокойной ночи.

Я проводила Боба на поезд. Я решила, что при сложившихся обстоятельствах обязана сделать для него хотя бы это. Потом я пошла вниз, к набережной, чтобы посмотреть, как поезд на Лондон будет идти по мосту через Тей, но туман был такой густой, что я и мост едва могла разглядеть, что уж там говорить о поезде. Река — та часть, которая была видна, — приняла цвет оружейной стали. Я могла бы сесть у реки и заплакать (скорее

по себе, чем по Бобу), но не стала, поскольку поджимало время^[70].

На кафедре английского языка мне пришлось пробиваться. Пристройку к Башне обложили осадой протестующие — сейчас они представляли собой пеструю толпу: кажется, любой, кто был хоть чем-то недоволен, присоединялся к восстанию, чтобы потребовать установления нового миропорядка. Одни студенты требовали бесплатной раздачи презервативов, другие — удлинения срока, на который выдавались книги в библиотеке. Тут же были протестующие против опытов на животных, копатели и уравнители^[71], даже горстка христиан — я заметила Дженис Рэнд и ее плешивую подружку с плакатиком: «Ниспровергните грех — впустите Иисуса в свою жизнь». Я сомневалась, что Ему там хватит места.

Лифт в пристройке не работал — его заклинили шваброй и поставили часового. Часовой читал «Культуру и анархию» и оторвался, чтобы спросить меня, не писала ли я реферат по Эмили Бронте, и если да, нельзя ли его у меня одолжить. Я игнорировала вопрос и поспешила вверх по лестнице. Вход на кафедру защищала грозная Джоан — она, как сторожевой пес, стояла на лестничной площадке, бормоча что-то про кипящее масло.

— Кажется, они захватили профессора Кузенса, — сказала она. Вид у нее был скорее довольный.

Мэгги Маккензи не было в кабинете, и Джоан вроде бы не знала, куда она могла подеваться. Очень неприятно. Я так старалась вовремя закончить реферат по Джордж Элиот, а теперь Мэгги Маккензи нет на месте и я не могу его сдать.

Дверь в кабинет доктора Херра была, конечно, закрыта. Я прекрасно знала, почему его за этой дверью нету. (Был у нас с ним секс или нет? Но ведь если был, я бы, наверное, знала?)

Дверь в кабинет Арчи тоже была открыта, и оттуда вылетали обрывки его голоса:

— ...Кьеркегоров ужас... Идентичность эссенциальности и феномена, «требуемая» истиной, реализуется...

Я попыталась прокрасться мимо двери на цыпочках, но Арчи меня увидел и завопил:

— Что это вы там крадетесь! Ну-ка входите и садитесь!

Я протестовала, но безуспешно: он практически втащил меня в комнату и втолкнул в неудобный пластмассовый стул.

— То, что Хайдеггер мог бы назвать «пустой сварой из-за слов»...

Я поняла, почему он так настаивал на моем присутствии: кроме меня, единственным слушателем был Кевин — заметно расстроенный, словно зверь, загнанный в ловушку неумолимым речевым потоком Арчи. Ни Шуга, ни Андреа, ни Оливии, ни Терри (она сейчас, видимо, на пути во Фресно или Сорренто).

— *Использование фрагментарного и обусловленного для выражения диссонантного... как говорит Пьер Машере... По строке текста можно идти не только в одном направлении...*

Неужто прошла неделя с тех пор, как я в последний раз подвергалась этой попытке?

Арчи зудел дальше:

— *...линия дискурса расщеплена... начало и конец неразделимо перемешаны...*

Меня бросало одновременно в жар и в холод. В голове у меня жужжали пчелы (те самые, неправильные), а мозг будто сжимало спазмом. Это мне кажется или туман с улицы начал постепенно проникать в комнату?

Я начала дрожать. Я встала, и комната накренилась. Туман был повсюду — мне приходилось с усилием пробиваться сквозь него.

— Стойте! — завопил Арчи мне вслед, но я не могла остановиться.

Я пробежала мимо комнаты Ватсона Гранта, мельком увидев, как он пытается открыть окно. Наверно, чтобы выпустить туман.

Я поспешила дальше. Поскольку лифт не работал (благодаря студенту с «Культурой и анархией»), я протолкнулась мимо Джоан и ссыпалась вниз по лестнице.

Вылетев на холодный воздух, я чуть не столкнулась с Мэгги Маккензи — она как раз отчитывала явно присмирившего профессора Кузенса за какое-то малопонятное административное упущение.

— А я вас искала, — слабо сказала я. — Хотела отдать реферат.

— Какой реферат? — Она поглядела на меня так, словно я поглупела еще сильнее обычного.

Я принялась рыться в сумке и наконец извлекла потрепанные страницы реферата по Джордж Элиот.

— Что это? — спросила Мэгги Маккензи, держа реферат двумя пальцами, словно он был заразный.

Я в ужасе глядела на него — страницы рваные и потрепанные, обложка изодрана в клочья. Бумагу покрывали грязные следы, пятна и разводы, будто кто-то полил ее слезами. Я вгляделась — это были отпечатки лап, а разводы явно происходили от собачьих слюней.

— Извините... — пробормотала я, — кажется, мой реферат съела собака...

Резко зазвенел сигнал пожарной тревоги. Сперва я решила, что это у меня в голове — так странно я себя чувствовала, — но тут из здания повалила толпа.

— О боже, — сказал профессор Кузенс, — кажется, у нас пожар.

Я увидела, что из окон пристройки выплывает туман, и вдруг поняла, что это вовсе никакой не туман, а густой дым.

Сдавленные вопли и грохот вверху стали громче. Я подняла голову и увидела Гранта Ватсона, который колотил по окну своей комнаты, толкая и дергая ручку, словно запертый в ловушке. Внезапно окно распахнулось, и все книги, наваленные на подоконник, полетели вниз. Ватсон Грант предостерегающе закричал, но было поздно: книги посыпались медленным дождем, и я смотрела с интересом бессильного наблюдателя, как тома Краткого оксфордского словаря, сначала первый (от А до L), а потом второй (от М до Z), рухнули, словно ветхозаветные каменные скрижали, на голову Мэгги Маккензи. Раздался странный звук — «шмяк!», как обычно рисуют в белом облачке в комиксах: это ее тело ударилось о землю.

Все оказалось не так плохо. Все, кто был в здании, успели оттуда выбежать, и пожарные погасили огонь, прежде чем он успел причинить значительный ущерб (он пытался воспламеняемым серым пластиком, которого в университете было очень много).

Профессор Кузенс и я (неохотно) поехали с Мэгги Маккензи в карете «скорой помощи». Тот же санитар, что вез в больницу доктора Херра, улыбнулся мне и сказал: «Опять ты». К сожалению, Мэгги Маккензи не потеряла сознания, а, наоборот, была весьма словоохотлива, словно удар по голове словарем стимулировал речевой центр ее мозга.

В Королевской больнице нам пришлось подождать, пока Мэгги осматривал врач. Профессор предложил пойти навестить Кристофера Пайка, бывшего кандидата на пост заведующего кафедрой. «А может, Херр тоже еще здесь?» — пробормотал профессор. Я уверила его, что нет.

После некоторых изысканий мы наконец обнаружили Кристофера Пайка в двухместной палате мужского хирургического отделения. Он был все еще опутан сетью веревок и блоков, но теперь его можно было узнать только по табличке с именем, прикрепленной над кроватью. Остальное было замотано бинтами — они покрывали его с ног до головы, как Человека-невидимку, так что на самом деле в этой куколке из марли могла дремать какая угодно бабочка. Из-под бинтов торчали трубки, по которым

желтоватые жидкости втекали в тело больного и вытекали из него.

— Бедняга Пайк, — тихо сказал мне профессор. — Похоже, тут его настиг еще один несчастный случай.

На тумбочке у кровати Пайка стоял стакан липкого на вид апельсинового напитка и лежала гроздь желтого мускатного винограда — доказательство, что где-то в мире еще есть тепло и свет.

— Даже не знаю, — произнес профессор, картинно жуя виноград. — Может, пора перевести всю английскую кафедру сюда в больницу.

Кристофер Пайк пробулькал что-то невнятное из-под костюмчика мумии.

— Вы скоро встанете на ноги, дорогой! — завопил на него профессор Кузенс.

— Он не глухой, — заметил пациент с соседней койки, не отрывая глаз от газеты «Курьер».

Кристофер Пайк издал еще несколько невнятных звуков. Сосед отложил газету и наклонил голову в его сторону, словно плохой чревовещатель, желая перевести бульканье, но затем нахмурился, пожал плечами и сказал:

— Бедняга.

В палату вплыла старшая медсестра отделения, за которой шел профессор-консультант, а за ним — стайка студентов-медиков, словно гусята за гусыней. Я узнала кое-кого из завсегдатаев бара в студсовете.

— Вон! — приказала нам медсестра.

Мы нашли Мэгги Маккензи, прикованную к кровати тугим турникетом из накрахмаленной белой простыни и пастельно-голубого одеяла. Ее волосы спутанной массой змей, заколок и кос лежали на подушке. Лицо слегка напоминало цветом колбасный фарш, а на лбу цвел фиолетовый синяк. Я дотронулась до собственного синяка, проверить, на месте он все еще или нет. Он был на месте.

Профессор предложил Мэгги мятную конфетку. Мэгги проигнорировала его и сказала еще сварливей обычного:

— Мне повезло, что я осталась в живых. Они меня тут подержат еще день-два, — оказывается, у меня сотрясение мозга.

— У меня однажды было сотрясение мозга... — начал профессор, но не успел он пуститься в уже знакомый мне рассказ, как прозвенел звонок — время посещения истекло. Правда, профессор сначала решил, что в больнице пожар.

— Ну, до свидания, — неловко сказала я, обращаясь к Мэгги

Маккензи.

Я не знала, что положено говорить или делать в таких ситуациях, и неловко похлопала ее по руке. Руки Мэгги — руки прачки — лежали поверх покрывала. Ее кожа на ощупь была как у амфибии.

Пока мы пробирались к выходу по чересчур жарко натопленным коридорам Королевской больницы, профессор пугливо оглядывался.

— Вы знаете, меня ведь пытаются убить, — сказал он тоном светской беседы.

— Кто? — сердито спросила я. — Кто именно пытается вас убить?

— Силы тьмы, — заговорщически шепнул он.

— Силы?..

— Силы тьмы, — повторил он. — Они кругом, повсюду, они пытаются нас уничтожить. Надо выбираться отсюда, пока нас не заметили.

— Никто и не пытается его убить. Он просто параноик, верно ведь? — раздраженно говорит Нора. — Он только для отвода глаз. И все эти старики и старухи — наверняка они тоже просто параноики.

— О да, но это ведь не значит, что за ними не охотятся.

— Из тебя никогда не получится писатель-детективщик.

— А я и не пишу детектив. Это комический роман.

Я бросила профессора на произвол сил тьмы и отправилась домой. Я выбрала извилистый маршрут по лабиринтам переулков Блэкнесса и в конце концов вышла на Перт-роуд. На улице стояла «скорая помощь», мигая синими огнями, и я встревожилась, заметив, что стоит она у дома Оливии. Тут появилась сама Оливия — бледная, без сознания, пристегнутая к носилкам, совсем как недавно доктор Херр. И санитар был тот же, словно на весь Данди только одна карета «скорой помощи». Санитар меня увидел, узнал и подозрительно скривился. Надо полагать, я присутствую при слишком многих несчастных случаях.

Словно бы ниоткуда возник расстроенный Кевин, а с ним — три квартирные соседки Оливии.

— Наглоталась снотворного, — шепнула мне одна из них.

— Это я ее нашел, — сказал Кевин, увидев меня. Он стеснительно потел, и в груди у него свистело, как у дряхлой собачки миссис Макбет. — Я пришел попросить у нее реферат по Джордж Элиот...

— Она взяла Шарлотту Бронте, — отрезала я.

— Она вчера сделала аборт, — сказала соседка Оливии, пока ту грузили в машину. — Так жалко... она любила детей...

— Любила?

Я только теперь поняла, что Оливия не в обмороке — она мертва.

— Нет, нет, нет, нет, нет! — Нора сильно взволнована. — Ты сказала, что это комический роман! Ты не имеешь права никого убивать!

— Но они уже умерли.

— Кто?

— Мисс Андерсон, бедная Сенга.

(Не говоря уже о подавляющей части Нориной родни, но о них упоминать, я думаю, бестактно.)

— Они не считаются, мы их не знаем. Не убивай Оливию. Я перестану тебя слушать, я уйду, я...

Она перебирает в уме угрозы, ища самую страшную. И находит:

— Я сотру...

— Ну ладно, ладно, только успокойся.

У Мэгги Маккензи диагностировали сотрясение мозга, и профессор Кузенс неохотно поехал с ней в карете «скорой помощи». Тот же санитар, что вез в больницу доктора Херра, улыбнулся мне и сказал: «Опять ты». Я отговорила тем, что мне нужно переписывать реферат, и отправилась домой. Я выбрала извилистый маршрут по лабиринтам переулков Блэкнесса и в конце концов вышла на Перт-роуд. Там я столкнулась с Мирандой. Не совсем трезвая, она все же была медиком, и я вцепилась в ее вялое тело мертвой хваткой и принялась обрывать звонок в подъезде Оливии.

Прошла вечность. Наконец тяжелая дверь распахнулась, и я ринулась — насколько возможно ринуться с высокой температурой и с упирающейся девицей на буксире — вверх по лестнице на нужный этаж. Одна из соседок Оливии как раз впускала Кевина, бормочущего что-то про Джордж Элиот, — я врезалась в него, и он влетел в квартиру.

— Оливия! — выдохнула я, обращаясь к соседке.

— Она у себя в комнате, что случи...

Комната Оливии была заперта. Я сказала Кевину, что это дело жизни и смерти, конкретно — жизни и смерти Оливии, — и он отреагировал героически, так, что не стыдно было бы и лорду Тар-Винту: он с разбегу бился рыхлым телом о крепкую дверь, и наконец она подалась под его рыцарским напором, стрельнув щепками в разные стороны, и открылась.

Оливия лежала на кровати. Рядом на ковре валялся пустой флакон из-под таблеток и стакан из-под виски. Глаза Оливии были приоткрыты. Она шепотом спросила: «С Протеем все в порядке?» Это доказывало (если бы кому-нибудь были нужны доказательства), какой она хороший,

самоотверженный человек. Я отрапортовала, что Протей хорошо себя чувствует и находится в хороших руках. В этом предложении содержалось одно истинное и одно ложное высказывание, — по-моему, неплохой баланс.

Я вытолкнула Миранду вперед и скомандовала:

— Так, сделай что-нибудь.

— Может, в скорую позвонить? — пробормотала она.

— Я уже позвонил, — сказал Кевин, падая на колени у ложа Оливии.

Ее прекрасные губы задрожали, и она зарыдала (потому что красивые девушки рыдают, в то время как обычные только плачут и покрываются противными красными пятнами, хотя вот Терри, например, была склонна выть). Я обняла Оливию, стала гладить ее волосы и сама разревелась (что больше соответствовало моему характеру).

— Ради бога, — раздраженно сказала Миранда, — дайте ей крепкого кофе и начинайте водить по комнате.

В эту «скорую» я тоже не села. Санитар (к счастью, другой) сказал, что Оливии промоют желудок, но с ней все будет хорошо.

— Ну что, я могу наконец идти? — спросила Миранда, когда мы проводили «скорую» взглядом.

— Пожалуйста, — слабо сказала я.

У меня распухло горло, а кожа на ощупь была горячая и сухая, как песок в пустыне, хотя при этом по ней бежали холодные мурашки. Я быстро пошла прочь, пусть мне трудно было координировать движения конечностей. Ноги были как невесомые, словно я улетела на Луну, и я боялась, что они возьмут и уплывут по воздуху прочь. Другие же части моего тела — особенно руки и голову — со страшной силой тянула к себе Земля. Наверно, мне следовало все же спросить совета у Миранды — сказать ей, что я страдаю истончением и падучей болезнью.

Я шла по городу, не направляясь в какое-то конкретное место или домой. Я пересекла Морскую улицу, подумала, не пойти ли в кино, и решила, что нет. Из портового таможенного склада мерзко пахло виски, и меня чуть не стошнило. Я пошла дальше — по Свечному переулку, по Рыночной и через Рыночную — к доку Виктории, где стоял на вечном приколе древний фрегат «Единорог». Чуть дальше огромный грузовой корабль из Скандинавии выгружал лес, и туманный воздух был пропитан запахом сосны. В доке плескалась вода — бурая, вонючая и подернутая какой-то пленкой, но я швырнула в нее серебряную монетку на счастье и отступила от края, потому что вода мощно тянет к себе — я уверена, что

много народу утонуло именно поэтому, а не по своей воле.

Кто-то стоял рядом со мной — я видела тень краем глаза. Мне на руку легла рука-клешня. Я отпрянула. Это было «дитя воды». Гуляющая девица. Не сестра женщины, которая мне не мать. Я (что неудивительно) не до конца понимала все эти хитросплетения семейных связей и потому спросила ее — максимально неопределенно на случай, если ответ окажется положительным:

— Вы, случайно, не моя мать?

Она скривилась, словно сама эта мысль была ей неприятна. Впрочем, я думаю, что ее гримаса была следствием алкогольных конвульсий. Костлявой рукой женщина все еще сжимала мое предплечье. Наконец она издала шипящее:

— Слушай.

— Нет, не слушай ее, — говорит Нора. Ей явно не по себе. — Не верь ни единому ее слову. Она родилась лгуньей и лгуньей умрет.

— Меня никогда не понимали, — продолжала Эффи. — А я просто любила повеселиться. По нынешним временам я считалась бы раскрепощенной женщиной. Я ничего плохого не делала.

— Еще как делала! — перебивает Нора. — Только плохое и делала.

Эффи закурила сигарету и стала вглядываться в туман.

— Элеонора, — произнесла она и втянула дым сквозь зубы, словно курила косяк, — или Нора, как она себя называет, — убийца.

— Убийца, — слабым голосом поправила я.

— Она убила моего отца, отравила свою мачеху, пыталась меня утопить — и ей это почти удалось, скажу я тебе. Я осталась в живых по чистой случайности.

— Убила своего отца? — неуверенно повторила я.

— Не своего отца! — Из-за резкого акцента речь Эффи звучала раздраженно. — Моего отца, а не своего отца. Ее отец был замечательный человек. Мир не оценил его по достоинству. Никто так и не понял, что за человек Лахлан.

Я совсем запуталась. Может быть, я брежу от высокой температуры?

— Лахлан — отец Норы? Я не понимаю. Я думала, ее отец — Дональд?

— Я передумала, — перебивает меня Нора. — Я считаю, что раскладывать все по полочкам — совершенно излишне. Есть вещи, которые не следует раскрывать.

Эффи повернулась ко мне. Тусклые глаза сверкнули и тут же затуманились. Она продолжала говорить, но я уже не могла разобрать слов.

Волны тошноты окатывали меня, и я не могла ни на чем сосредоточиться; «Единорог» похож был на корабль-призрак, выплывающий из дымки прошлого^[72]. Туман был везде — и у меня в голове, и снаружи.

— Тебе плохо? — прозвучало у меня в ухе. Тонюсенький, слабый голосок, словно комар или мошка пищит, но акцент — такой же, как у Эффи^[73].

Я попыталась что-то сказать, но язык распух и не ворочался во рту. Уши наполнялись туманом. Я почувствовала, как у меня подкашиваются ноги, и выставила руки вперед, чтобы смягчить удар о землю, — но земли подо мной не оказалось: лишь пустота, воздух, а потом наконец зловонная ледяная вода дока.

Я опустилась на дно, словно в жилах у меня тек свинец, словно я была грузилом на конце лота, опущенного измерить водный Сумрак. У воды был вкус нефти и нечистот, вокруг царила темнота, и я растерялась, — похоже, я разучилась плавать, хоть Нора и учила меня, когда я была маленькая, во множестве муниципальных бассейнов в самых разных точках побережья.

Но вдруг, безо всяких усилий с моей стороны, я вылетела пробкой на поверхность, задыхаясь, кашляя и отчаянно пытаюсь глотнуть воздуха. Я видела деревянный корпус «Единорога», вырастающий из тумана, и бесстрастное лицо Эффи, стоящей на причале, но не успела крикнуть, как меня снова потянуло на дно. На этот раз вода была холодней и темней, и я удивилась, когда снова вылетела на воздух, подобно пробке от бузинного шампанского. Я едва успела вдохнуть, как воды сомкнулись у меня над головой в третий раз, — а ведь мы знаем, что третий раз за все платит.

На этот раз вода оказалась не такой холодной, и, как ни странно, в ней было посветлее, так что я смогла немного осмотреться и увидела, что вокруг кишат рыбы. Таких не ожидаешь увидеть в грязной воде занесенных илом дандийских доков — синие карпы, сияющие золотые язи и король всех рыб, огромный серебряный лосось. И тут случилось нечто неожиданное — раздвигая занавеси водорослей, ко мне подплыла русалка. У нее был большой чешуйчатый хвост и длинные волосы, которые струились за ней в воде, как пучки морской травы. Она схватила меня сильными руками и прижала к округлой женской груди, и мы понеслись вверх, оставляя за собой след серебристых пузырьков, — вверх, вверх, и наконец снова оказались в своей стихии, то есть на воздухе, и я увидела лицо русалки. Это была Эффи, дитя воды.

Невидимые руки положили меня на настил дока, но не стали взвешивать и мерить, как рекордный улов. Вместо этого кто-то из докеров,

разгрузивших лес с корабля по соседству, принялся делать мне искусственное дыхание, так что первый мой вдох отдавал ароматом северной хвои. Открыв наконец глаза, я увидела дружелюбную морду желтого пса. Он, узнав меня, молотил хвостом по настилу и добродушно ухмылялся. Я лишилась чувств.

Мы бросаем вызов непогоде. Скорее всего, нас унесет ветром. Серые воды моря громоздятся горами, белые кони бьют копытами, невидимая рука жестоко гонит по небу тучи.

— Рассказывай дальше.

— Наступили летние каникулы — последние перед последним учебным годом. Я только и делала, что занималась — я надеялась пойти в Эдинбургский университет изучать естественные науки.

— Правда?

Я никогда не думала, что у Норы склонность к естественным наукам. Мне даже в голову не приходило, что у нее вообще есть левое полушарие.

— Да, правда, — говорит она. — В то лето дождь шел не переставая. Конечно, в этом не было ничего необычного. Но вдобавок на дворе стояла теплынь — воздух был тяжелый, как в тропиках, словно мы оказались в центре великих перемен климата. Погода была очень странная — лиловые, беременные бурей небеса, гудящий от электрических зарядов воздух. Я впервые в жизни увидела шершней — они летели, тяжело жужжа, словно с трудом несли собственный вес. И еще нас все лето осаждали осы — мы находили то одно гнездо, то другое: под стрехой, на чердаке, в зарослях сирени, нависающей над газоном. Мэйбл купила цианистый калий, чтобы их травить, но ошиблась и взяла не то — порошок вместо газа, так что мы избавились от ос только с наступлением холодов.

Потом приехала Эффи — насовсем, сбжав от позорных деталей бракоразводного процесса и от репортера «Дейли экспресс», желающего во что бы то ни стало запечатлеть внешность соответчицы по нашумевшему делу. Судя по всему, на суде всплыли снимки абсолютно всех частей ее анатомии, за исключением лица.

Все это время Эффи была невыносима — она уныло слонялась по дому, бормоча гадости про Мэйбл: про ее полноту, про еду, которую она готовит, про ее сомнительные моральные качества. Мэйбл только улыбалась и говорила Эффи, что Бог ее любит.

«Ни... он меня не любит», — шипела в ответ Эффи. Она была убеждена, что Мэйбл охотится за деньгами, и боялась потерять наследство

(от которого уже практически ничего не осталось, кроме бриллиантов Евангелины, которые Мэйбл не носила). Эффи терпеть не могла находиться в комнате у больного, но все равно подолгу сидела там, пытаясь выведать у Дональда подробности его завещания.

Она считала, что отец начисто выжил из ума, и консультировалась с юристом — она теперь половину своего времени тратила на юристов — о том, как объявить брак недействительным. Я старалась не попадаться ей на глаза, потому что у нее не находилось для меня ни одного доброго слова. «При виде тебя я вспоминаю, что старею».

Много времени Эффи проводила и за телефонными разговорами с Лахланом, который все еще жил в Эдинбурге, — она пыталась уговорить его приехать в гости, и в конце концов он приехал. Это было в августе. Он привез с собой неврастеничную жену, дочь судьи...

— О, назови ее уже как-нибудь, ради бога.

— Ты уверена?

— Да.

— Памела.

— Спасибо.

— ...неврастеничную жену Памелу, которая родилась и выросла в городе и терпеть не могла деревню. Памела тут же слегла, жалуясь на головные боли и влажность. Мэйбл целыми днями таскала Памеле наверх холодный чай, аспирин и печенье из аррорутовой муки и уверяла, что, вопреки очевидности, Бог ее очень любит. Неблагодарная Памела жаловалась, что от Мэйбл воняет беконным жиром, — это была неправда, от Мэйбл пахло тальком с ароматом фрезии от «Ярдли» и вареньем, так как шла пора варки варенья и Мэйбл часами мешала кипящий сироп и ягоды в старинных медных тазах на кухне «Лесной гавани». Эти тазы она отчистила до блеска лимонным соком и собственными стараниями. Варка варенья была опасным делом из-за ос, так что, прежде чем приступить, Мэйбл законопачивалась на кухне и предупреждала, чтобы туда никто не совался.

Варенье она варила, видимо, для себя — остальные обитатели дома не съедали и двух банок за год. У Эффи характер был слишком горько-кислый, чтобы любить сладкое, а Дональд точно не ел никакого варенья — в последнее время он питался только тюрей из хлеба с молоком. Недавно у него начались страшные боли в животе. Местный доктор, который вообще удивлялся, что Дональд до сих пор жив (возможно, благодаря самоотверженной заботе Мэйбл), решил, что это язва, и прописал микстуру с магнием.

Лахлан и Эффи проводили все время вместе, обычно вне дома, — они катались на машине или гуляли по холмам, иногда плавали в озере и все время строили планы, как бы избавиться от Мэйбл. Сама Мэйбл была к ним безмятежно-равнодушна и целыми днями крутилась по хозяйству, что-то жизнерадостно мурлыча себе под нос. Она явно хранила какой-то секрет, и меня удивляло, что Эффи, у которой столько собственных тайн, не пытается вытянуть у Мэйбл ее тайну.

Всю неделю, что Эффи и Лахлан гостили у нас, крики Дональда раздирали короткие летние ночи, уже и без того потревоженные мычанием коров, у которых отняли телят, и блеянием овец, силой разлученных с ягнятами.

— Вот тебе и невинная сельская идиллия.

— Невинности вообще не существует — разве что в биении сердечка крохотной птички...

Но тут на Нору пикирует злобная чайка — так ей и надо, нечего ударяться в фантазии.

— Продолжай.

(Как я устала от этих постоянных понуканий.)

— Нет.

Придя в себя, я обнаружила, что лежу в тепле и сухости в свободной спальне у Маккью. По сторонам кровати сидели миссис Маккью и миссис Макбет и увлеченно вязали, словно у гильотины.

— Грипп, — сказала миссис Маккью, кивая и улыбаясь мне.

— Очень сильный грипп, — добавила миссис Макбет.

— И это все? — спросила я.

— А ты хочешь чего-нибудь похуже? — удивилась миссис Маккью. — Ты ведь чуть не утонула, знаешь ли. Фердинанд спас тебе жизнь. — И добавила, защищая внука: — Он хороший мальчик. Его должны были отпустить под залог.

— Его опять посадили под замок?

О нет, только не это — еще не хватало нам заговорить в рифму. Я попробовала еще раз:

— А как он спас мне жизнь?

— Он только что устроился на работу в доки, — гордо объяснила миссис Маккью. — В тюрьме он прошел курс первой помощи и знал, что делать.

— Но кто вытащил меня из воды?

— Не знаю, — сказала миссис Маккью. — Какая-то женщина.

Вокруг — глухая ночь и тьма, и мир за окном повергнут в смятение и хаос. Волны бьются о скалы, небеса режут и воют с морем. Темные тучи полосует молния, так что, выгляни мы из укрепленных на случай бури окон большого дома, нашим глазам представились бы несчастные жертвы этой ночи — несомые ветром птицы, моряки с затонувшего корабля, измученные русалки, перепуганные рассказушки и бедные рыбы, что прячутся в водяных пропастях морских глубин.

— В ночь, когда родился ребенок Мэйбл...

— Ребенок? Какой ребенок?

— Она открыла свою тайну только мне. Дональд после очередного удара утратил речь и не мог бы выразить свое изумление по поводу чудесной беременности жены. Впрочем, я и не думаю, что она ему сказала, — ведь она не сказала больше никому. Одр болезни так и не стал брачным ложем, и Мэйбл, не тронутая сначала Дадли, а потом Дональдом, сохранила девственность. Но непорочное зачатие почему-то казалось мне вероятней того, что Мэйбл уступила искушениям плоти. Впрочем, я не думала, что Бог — в которого я не верила — избрал Мэйбл Своим сосудом для второго пришествия.

Мэйбл, совершенно очевидно, тоже так не думала, ибо Господь наказал ее самым ужасным способом — перестал с ней разговаривать. Она целыми днями просиживала на любимом стуле в углу кухни после бесконечных сытных обедов — холодных отбивных, пирогов со свиной, сэндвичей из домашнего прессованного языка, — и ни слова свыше.

Никто и не заметил, что она беременна. При ее размерах несколько лишних фунтов не бросались в глаза. Она так и не сказала, кто отец, и я не понимала, что она собирается делать после родов. Младенца ведь не спрячешь.

— Можно спрятать его происхождение.

— Да, но ненадолго. Мэйбл сказала мне, когда я приехала на рождественские каникулы. Она уже заботилась о будущем ребенке — принимала рыбий жир, избегала дурных мыслей и пауков, пила молоко галлонами. «Я сама растекусь молоком», — смеялась она, но смех выходил печальный. И конечно, она вязала как одержимая — ящички комодов ломились от крохотных белых вещичек.

Эффи в это время была в Лондоне — пыталась выцарапать хоть какие-то деньги в ходе развода. К несчастью, после Хогманая она вернулась на север и нашла пару крохотных шерстяных варежек, о назначении которых

догадался бы даже идиот. Эффи шипела и плевалась, как кошка, запертая в ящике. Я боялась, что она вырвет младенца из чрева Мэйбл. Сама Мэйбл не сильно облегчила дело, сообщив Эффи, что Бог ее любит, — хотя всякому было ясно, что Эффи даже сам Бог любить не смог бы.

Ну вот. В ночь, когда родился ребенок Мэйбл, я пошла на кейли в общинный зал Керктон-оф-Крейги. Была Пасха, и через несколько недель начинались выпускные экзамены в школе. Я уже много месяцев училась, не поднимая головы от книг. Эффи, я полагаю, уехала на выходные с каким-нибудь мужчиной.

Я так славно провела время на кейли, наплясалась от души и влюбилась в краснощекого парня, фермерского сына. Мы знали друг друга много лет, ходили вместе еще в первый класс, но тут он впервые обратил внимание, что я — женского пола. На мне были обноски Эффи — зеленое платье из тафты с необъятной юбкой. Это называлось «Новый облик», и для меня такой облик действительно был новым.

Домой меня подвез фермерский сын на тракторном прицепе. Последние несколько сот ярдов я прошла пешком. Я была еще разгорячена от танцев и любви и вовсе не чувствовала холода. Шел второй час ночи, но в небе висела полная Луна — круглая, как голова сыра, она скорее подошла бы для урожайной осени, чем для холодной весны. Скот в полях вот-вот должен был отелиться — я слышала, как коровы возятся и пыхтят, но, если не считать их возни, вокруг было очень тихо. Мне казалось, что я стою на краю чего-то высокого и славного, расправляя крылья и готовясь к полету.

(Влюбленная девица — ужасное зрелище!)

В доме было тоже тихо — даже тише обычного, так как Дональд в последнее время погрузился в какую-то ужасную тьму, в которой уже не воспринимал ничего, кроме боли. Врач на этот раз поставил более сложный диагноз — он объявил, что это рак желудка, и прописал морфий. Я думаю, он надеялся, что Мэйбл потихонечку даст мужу большую дозу и приблизит его неизбежный конец, но Мэйбл не считала возможным отнимать жизнь — за исключением случаев, когда ее носителю предстояло быть съеденным. Мэйбл верила, что Господь сам управит Свое дело во благовремении. Ибо она все еще верила в Бога, хоть Он в нее больше и не верил.

Когда я вошла на кухню, чайник на плите был еще горячий. Я заварила себе чаю и села за кухонный стол — чаевничать и мечтать о своем будущем с сыном фермера. Захочет ли он ждать четыре года, пока я буду учиться? Какие у нас будут дети? Каково это — когда тебя целуют?

— Ты с ним не поцеловалась?

Урвать поцелуй мужчины своей мечты, кажется, очень сложно.

Интересно, Нора вообще когда-нибудь целовалась?

— Нет, — с сожалением отвечает она.

Любая бы сожалела в возрасте тридцати восьми лет, что никогда не целовалась. Но если вдуматься, мне вот двадцать один год, меня целовали много раз, и все эти поцелуи, вместе взятые, не стоят одного воображаемого — с Фердинандом.

Погода становится еще хуже — если такое вообще возможно. Окоём звенит от ветра, небо расколото молниями, ветер грозит сорвать островок с места и понести его по бурным водам. Снаружи сиамские кошки жмутся к стенам дома. Мы боимся, что, если впустить их, они сожрут нас живьем, но в конце концов не выдерживаем их воя и смягчаемся. Кошки подозрительно бродят по дому, словно ожидая, что мы наставили для них ловушек.

— Продолжай.

— Наконец я пошла наверх. Сперва я заглянула к Дональду — обычно если в доме не слышались его стоны, то слышался его храп, но сегодня он лежал как-то очень тихо. Мне пришло в голову, что, наверно, Мэйбл, несмотря на все свое упорство, решила все же прекратить его мучения. Луна сияла через высокое окно и освещала Дональда, который лежал неподвижно, как мертвый. Покрывало не поднималось и не опускалось, руки были сложены на груди, словно он, отходя ко сну, не собирался просыпаться. «Отец», — окликнула я и ущипнула его за руку. Тело было еще теплое, но жизнь из него ушла. Я взяла с тумбочки у кровати флакон с таблетками морфина. Даже не заглядывая во флакон, я поняла, что он пуст. Меня никак не затронул уход Дональда — я чувствовала разве что облегчение.

Я поспешила в комнату к Мэйбл и на подходе услышала что-то вроде беспокойного мяуканья. Я решила, что это кошка, — я никогда еще не слышала плач новорожденного младенца. Я постучала и открыла дверь.

(Наши собственные кошки — хотя нельзя сказать, что они принадлежат нам, — блуждают у нас под ногами и вопят, как баньши, а не как младенцы.)

Мэйбл полусидела на кровати, подложив под спину подушки. Простыни были окровавлены и сбиты. Мэйбл выглядела настолько ужасно, что я сперва решила — с ней произошел какой-то жуткий несчастный случай: под глазами у нее лежали черные тени, мокрые от пота волосы прилипли к голове, а лицо было такое, словно она только что заглянула в пасть ада. На руках у нее лежал младенец — красный, сморщенный, как чернослив. Младенец был облачен в разнообразные одежды, которые

Мэйбл вязала всю зиму, — ползунки, кофточку, пинетки, варежки и чепчик с продернутыми лентами. Похоже было, что ребенок собрался в дальнюю дорогу.

Мэйбл молча протянула ребенка мне. Он спал и был ни на кого не похож. Определить по виду, кто отец, оказалось невозможно. Дитя полуоткрыло глаза, и я подошла с ним к окну. Я показала ему Луну и, не зная, что еще делать в этих странных обстоятельствах, принялась ворковать всякую чепуху, как положено, когда разговариваешь с младенцами.

Тут ночную тишину потревожил звук приближающегося автомобиля. Судя по всему, машина свернула на дорожку, ведущую к дому, — по дерганой манере вождения я поняла, что это Эффи. Я оглянулась, желая предупредить Мэйбл о неминуемом прибытии Эффи: Мэйбл сыпала в стакан молока, стоящий у нее на тумбочке, какой-то белый порошок. Я решила, что это аспирин, хотя и удивилась — вряд ли порошок от головной боли помогает и при родах. Но тут до меня донесся слабый запах миндаля, и я узнала бумажный пакетик — в таких мы прошлым летом покупали яд для ос.

Я вскрикнула, положила ребенка на стул, бросилась к Мэйбл и выхватила у нее пакетик, но было уже поздно — она выпила все отравленное молоко. Лицо у нее было удивленное, словно она сама не могла поверить в то, что происходит, а потом...

Нора делает паузу — не для театрального эффекта: этот рассказ не доставляет ей ни малейшего удовольствия.

— Ты когда-нибудь видела, как умирают от яда?

— Разумеется, нет.

— Ну, мне не хочется это описывать, спасибо. Я думаю, что нужно оставить пропуск и вообразить это, если хватит духу...

— Жульничаешь. А потом?

— А потом она умерла, что же еще. Она хотела дожидаться родов и тогда уже покончить с собой: она не могла убить ребенка у себя во чреве, это шло вразрез со всем, во что она верила. Видимо, она все заранее спланировала. И видимо, решила, что раз все равно пойдет в ад, то может заодно и Дональда избавить от дальнейших мучений. Она заговорила со мной перед смертью. Она сказала: «Господь опять будет со мной беседовать». Она была в отчаянии, а это очень неприятное место, и я жалею, что не поняла вовремя, ибо тогда могла бы предотвратить то, что случилось.

Я пыталась нащупать у нее пульс, надеясь, что еще можно что-то

сделать, и тут вошла Эффи. Конечно, при виде Мэйбл она остановилась как вкопанная. От Эффи разило спиртным, а на шее у нее был засос. Она казалась безумной. Тут она заметила ребенка, лежащего на стуле, и бросилась на него, крича, что ему не видать наследства, которое по праву принадлежит ей. Я никогда не видела такой ненависти на лице у человека — даже у самой Эффи. Я бы попыталась отнять у нее ребенка, но знала, что она не постесняется сделать ему больно. Она выкрикивала какие-то гадости и непристойности — про Мэйбл, про ребенка, про деньги, про адвокатов. Я надеялась, что кто-нибудь услышит и придет, но прийти было некому.

Эффи с ребенком на руках выскочила из комнаты и сбежала вниз по лестнице. Я помчалась следом — через газон, через калитку в заборе, вниз, к реке. Река была разбухшая и вся ледяная от снега, растаявшего на холмах, но Эффи зашла напрямик на глубину. На миг я подумала, что она тоже хочет покончить с собой, — у меня из головы не шла несчастная Мэйбл, и лишь когда Эффи заорала: «Что делают на фермах с котятами, Элеонора?», я поняла, что она хочет утопить ребенка. Она, конечно, была сумасшедшая.

Я вошла в воду за ней. Вода была невообразимо холодная, а течение гораздо сильнее, чем я ожидала. Камни на дне были очень скользкие, и я с трудом удерживалась на ногах. Зеленое платье намокло, отяжелело и тянуло меня вниз. Я попыталась выхватить ребенка у Эффи, но, потянувшись к ней, поскользнулась и упала. Я свалилась на нее, она тоже потеряла равновесие, и мы обе упали в воду. Краем глаза я увидела, как младенца уносит река — подобно Моисею, но без корзинки.

Мы с Эффи вцепились друг в друга, и нас тоже понесло течением. Нас прибило к берегу, и мы запутались в ветвях дерева, упавшего в воду. И тут вдруг, даже не думая, я запустила пятерню в ее длинные волосы и толкнула ее голову под воду. Я хотела, чтобы она умерла. Я хотела видеть ее мертвой. Она сопротивлялась, царапаясь, как адская кошка. Впрочем, я пересиливала — она была алкоголичкой, а я много лет занималась спортом на стадионах «Святого Леонарда» и была тренирована не хуже морского пехотинца. Она едва шевелила языком от холода, но все же умудрялась умолять. Стуча зубами, она произносила слова, которых я ждала от нее много лет.

Молчание.

— Слова? Какие слова?

— Она молила: «Не убивай меня! Я твоя мать!» И тогда я толкнула ее под воду и задержала там. Когда я ее отпустила, она уже не подняла голову из воды.

В целом, — задумчиво говорит Нора, — твой рассказ мне нравится

больше.

— Погоди, я не поняла: Эффи и Лахлан были твои *родители*?

— Ну конечно. Неужели ты до сих пор не догадалась? Эффи родила меня в четырнадцать лет. Она никому не говорила до тех пор, пока не стало поздно что-либо делать. Должно быть, надеялась, что ребенок как-нибудь сам исчезнет. Что я исчезну. На девятом месяце беременности она еще бегала по стадиону «Святого Леонарда», играя в лакросс, — зная ее, можно предположить, что она прятала живот одним усилием воли.

Родила она в своей постели, во время летних каникул. Проще всего было скрыть правду, сказав, что это ребенок Марджори, хотя, Бог свидетель, к этому времени Марджори была уже совершенно не способна присматривать ни за каким ребенком. Эффи даже в школу с каникул вернулась вовремя, бросив меня с Марджори и совершенно негодной нянькой. Они ожидали, что я вырасту дефективной — плод кровосмешения. И всегда так ко мне и относились, даже когда оказалось, что я нормальная. Когда Лахлан в следующий раз приехал из Гленалмонда, ему задали взбучку и велели больше так не делать. Вот тебе и нравы аристократической верхушки.

(Кажется, все это немного чересчур мелодраматично. Гран-гиньоль со щепоткой греческой трагедии.)

— А я тебя предупреждала, я тебе сразу сказала: мой рассказ так странен и трагичен, что ты сочтешь его плодом слишком живой и чересчур мрачной фантазии, а не отражением реальной жизни.

— А что же с ребенком? Он умер? — спрашиваю я.

— Как медленно до тебя доходит, — по-доброму смеется Нора.

Это я — тот краснолицый младенец, сморщенный, как чернослив. Я — тот ребенок в воде. Моя мать мне не мать, ее мать ей не мать, ее отец ей не отец, ее сестра ей не сестра, ее брат ей не брат. Ибо воистину мы все перемешались — как самая перемешанная коробка печенья, что когда-либо стояла на полке в бакалее.

— Клепанный корабль! — воскликнула мадам Астарти, когда торпеда на набережной взорвалась.

Кровь от крови и кость от кости

Вопреки всякой вероятности наутро снова рассвело: мы пережили эту бурную ночь. А ведь свободно могли бы, проснувшись, обнаружить, что нас зашвырнуло на радугу. Хотя радуги никакой не видно, небо приняло цвет пепла, а глаза Норы — цвет дохлых голубей. Кошки, обиженные, что у нас не нашлось ни молока, ни рыбы, ни мяса, вернулись в свои побитые непогодой жилища.

Мы завтракаем в столовой большого дома — это редкий случай. Мебель — стол, стулья, массивный буфет — темная, тяжелая, имитация елизаветинского стиля, угнетающая дух. Мы как будто в отеле — стол так поставлен у окна, чтобы открывался наилучший вид на море, хотя смею надеяться, что в отелях кормят получше: у нас на скудный завтрак только овсянка и чай без молока. Доев, мы остаемся за столом. Мы как будто ждем чего-то.

— Мы чего-то ждем?

Нора не отвечает. Она вглядывается в море еще внимательней обычного. Я беру с буфета бинокль покойного Дугласа и протягиваю ей.

— Спасибо.

На горизонте появляется точка — черная пылинка пустоты на краю бесконечности. Мы ждем. Точка растет. И еще растет. В конце концов это оказывается та самая рыбацкая лодка, что привезла меня на остров. Ее швыряет волнами так, что меня мутит от одного этого зрелища. Лодка везет к нам пассажира, хотя его еще нельзя разглядеть и он нам неведом. Мое сердце прыгает, как на волнах, — может, это Фердинанд бежал из тюрьмы и явился сюда за мной?

— Маловероятно, — говорит моя неромантическая немать.

Мы одеваемся потеплей и торопливо спускаемся по скальной тропе к берегу, чтобы приветствовать неизвестного гостя. Рыбак машет Норе, и она машет в ответ. Этим, пожалуй, исчерпывается вся ее светская жизнь. Рыбак помогает своему пассажиру — мужчине средних лет, весьма потрепанного вида — сесть в крохотную хрупкую шлюпку-скорлупку и подгребает к берегу насколько может.

Прибывший, шатаясь, бредет вброд к берегу и выходит на лязгающую гальку пляжа.

Нора приветственно протягивает руку и говорит:

— Здравствуйте, мистер Петри! Я давно ждала нашей новой встречи.

И Чик — а это в самом деле он — говорит:
— Берегитесь, меня сейчас опять вывернет.
И держит свое слово.

Мы сидим на кухне, где в камине горит скудный огонек. Рыбак оставил нам провизию, и мы наслаждаемся угощением, достойным пиршества в Джоппе, — консервированный суп, овсяное печенье, сыр, галеты Абернети и «баттенберг».

— Я как раз ей рассказала, — говорит Нора Чику.

— Всё? — осторожно спрашивает он, закуривая.

Он предлагает сигарету и Норе. Она берет ее, а потом, щурясь на него сквозь дым, говорит:

— Не все. Я оставила простор для вашей истории.

Я жду объяснений: почему Чик здесь? Откуда Чик и Нора знают друг друга? Эта парочка настолько загадочна, что просто бесит.

— Констебль Чарльз Петри! — говорит Нора. — У вас еще была такая щупленькая жена — Мойра, кажется? Наверняка она успела вас бросить.

Ну конечно, теперь я вспомнила — в ту ночь, когда Чик подвозил меня от Балниддри до Данди, он упомянул, что работал по «делу Гленкиттри», когда был деревенским полицейским в «стране хюхтер-тюхтеров».

— Это я обнаружил тела, — начал рассказывать мне Чик. — Старик умер от большой дозы морфина. Его жена — от яда. Она явно только что родила. Старшую дочь так и не нашли, но ее платье выловили из реки — его опознал мужчина, с которым она провела предыдущий день, поэтому было решено, что она утонула. Младшая дочь...

Чик умолкает и взглядывает на Нору.

— ...пропала вместе с малым, машиной и бриллиантами. Зато нашлись ее отпечатки пальцев на пакетике с ядом и флаконе с морфином. Из Данди приехали большие шишки, — мрачно продолжает он. — Скоро полиция по всей стране уже искала некую Элеонору Стюарт-Мюррей. Громкое вышло дело. Но я никогда не верил, что вы виновны. — Последние слова обращены к Норе. — Я решил, что вы хорошая девушка. Я видел вас на том кейли, вы плясали с таким крупным парнем, фермерским сынком, как его звали?

— Его никак не звали, — говорю я.

— Роберт, — печально говорит Нора. — Его звали Роберт.

— Улики были против вас, — говорит ей Чик. — Я бы на вашем месте сделал то же самое. Смылся. А чай еще есть?

— Я бежала, чтобы спасти дитя, — говорит Нора.

— От чего? — спрашивает «дитя».

— От Лахлана, от тебя самой, от прошлого, о котором ты еще не знала.

У меня нет ни матери, ни брата, ни сестры, ни отца. Я не хочу быть человеком, который, впервые в жизни открыв глаза, увидел свою мать мертвой. Я не хочу быть человеком, который пришел на землю лишь для того, чтобы его тут же швырнули обратно в воду, как опавший листок, ненужную обертку от конфеты.

— Впервые в жизни открыв глаза, ты увидела луну, — поправляет меня Нора.

— И это значит, что все нормально?

Я хочу, чтобы мне вернули мое старое «я». Я хочу иметь мать, отца, брата, сестру, тетку. Я хочу семейную собаку и семейную машину. Я хочу жить в обыкновенном полуотдельном доме постройки тридцатых годов, с качелями в саду, и есть ужин, приготовленный настоящей матерью: бараньи отбивные с картошкой и горохом, а потом — бисквитный торт «Виктория».

— С джемом и масляным кремом? — говорит Чик, вытирая нос тыльной стороной ладони.

— Ну, этого я тебе дать не могу, — говорит Нора. — Зато могу рассказать, что было потом и как ты очутилась на суше. Ибо не только я зацепилась за дерево, упавшее в реку. Пытаясь выбраться на берег, я заметила в ветвях что-то живое. Я услышала его крик...

— «Его»?

— Твой. Я услышала твой крик даже за ревом бегущей воды. Кружевная кофточка зацепилась за ветку, и ты подпрыгивала на воде, словно была из пробки, а не из плоти.

Я выбралась на берег сама и вытащила тебя, вернулась в дом и постаралась согреть тебя как могла. Я была уверена, что ты умрешь. Одежек у тебя хватало — Мэйбл наготовила приданого на четверню. Я сняла с тебя все мокрое и увидела золотой крестик Мэйбл — удивительно, как цепочка тебя не задушила.

— Надо полагать, ты собираешься вручить мне его сейчас? Как положено в романах, чтобы у меня осталась драгоценная реликвия от матери, которой я никогда не знала?

— Ну, вообще-то, я его потеряла, — безмятежно говорит Нора. — В поезде. Или в автобусе? Кто знает. Передай-ка мне еще галету.

Ну вот. Я взяла все деньги, какие нашла в доме, и бриллианты, которые запросто валялись в ящике комода. Я была очень спокойна. Решила, что бриллианты можно будет продать, когда у нас кончатся деньги. Конечно, я

так этого и не сделала — боялась себя выдать. Я уложила детскую одежду и нарезала бутербродов. Даже взяла термос чая. Все было почти так, словно мы отправляемся на великое приключение. А потом я уехала в машине Эффи — я примерно представляла себе, как это делается: пару раз сидела рядом с Эффи, когда та вела машину, а движения сейчас не было никакого. Я съехала в «карман» на дороге, покормить девочку. Приложила ее к груди, и у меня пришло молоко. Тогда это показалось мне чудом, знаком свыше, но потом я читала о таких вещах.

— Значит, ты, семнадцатилетняя школьница, только что убившая свою сестру (которая на самом деле приходилась тебе матерью), кормила грудью чужого ребенка на пустынной дороге в горной Шотландии среди ночи.

Интересно, можно ли найти слова, которые адекватно описывают эту ситуацию. Те, которые приходят в голову, — абсурд, сюрреализм, гротеск — как-то недостаточны.

— Потом я доехала до станции, подождала на платформе среди фляг с молоком и села на первый поезд, идущий через границу. Мы добрались до Лондона и там, безымянные, затерялись в толпе. Фамилию Эндрюс я увидела на вывеске лавки мясника и решила, что она достаточно неприметна... Остальное ты знаешь.

Я следила за развитием дела по газетам. Конечно, я не могла прийти в полицию и заявить о своей невиновности в двух убийствах, притом что была виновна в третьем, — тогда убийц еще вешали. И я ушла в бега.

А теперь, после стольких лет, Эффи объявилась живая. Конечно, это ничего не меняет: я хотела убить свою мать, а намерения — это главное. Еще кусочек «баттенберга», мистер Петри? — Она держится величественно, как герцогиня.

— Зови меня Чик, — говорит Чик, — и да, ее звали Мойра, и да, она меня бросила.

— Вот стерва! — бодро говорит Нора, и Чик отзывается:

— Как ты догадалась?

Я знаю, что случилось с Эффи, потому что она мне рассказала — прямо перед тем, как я свалилась в воду в доке Виктории. Тогда я не понимала, что она мне говорит, но теперь понимаю.

Чуть дальше по берегу какой-то человек увидел тело Эффи в воде. Он поставил машину у реки, собираясь прикрепить шланг к выхлопной трубе, вывести его в салон машины и распрощаться с этим светом. Коммивояжер из Питерборо, он торговал дамской обувью и ненавидел свою жену, но не мог с ней развестись, поскольку у них было трое детей и большая

задолженность банку. Этот человек был труслив и решил, что покончить с собой — проще, чем вынести гнев жены. Впрочем, куря последнюю в жизни сигарету и любясь ночным пейзажем шотландских гор, он не чувствовал себя трусом — наоборот, гордился своей смелостью и тем, что решился на такой поступок. В этот момент — словно нарочно для того, чтобы он мог побыть героем, — он увидел нечто плывущее вниз по реке и с немалыми трудностями, замочив брюки, умудрился вытянуть спасенную наяду — Эффи — на берег. Оказавшись на суше, она, все еще живая (и соблазнительно обнаженная), как истинное водяное дитя, выкашляла много речной воды, немного водорослей и пару мелких рыбешек...

— Правда?

— Нет. Так она вернулась к жизни. И он уехал вместе с ней... и тэдэ и тэпэ...

— «И тэдэ и тэпэ»?

— Для них обоих это было знаком свыше. Они могли начать с чистого листа. Родиться заново. Они вместе уехали в Родезию и основали там бизнес, который оказался весьма успешным. Год назад этот человек умер, а она вернулась назад, чтобы подвести итоги. Искупить грехи, если хотите. И ведь она спасла меня — и, может быть, в общем замысле мироздания вычеркнула то, что в самом начале хотела меня утопить.

— Сомневаюсь.

— И еще она искала тебя. Может быть, хотела попросить прощения.

— Так где она сейчас?

— Она ведь должна была встретиться с Лахланом? — говорю я. — А кстати, что случилось с ним?

— Умер, — говорит Чик. — Несколько недель назад.

— Надеюсь, его смерть была долгой и мучительной. — Нора берет у Чика еще одну сигарету.

— Да, кажется, именно так. Я работал на него, — объясняет он мне.

— Похоже, в этой части рассказа собраны все объяснения и развязки?

— Да.

— Лахлан нанял меня, чтобы я нашел его дочь. То есть тебя, — обращается он к Норе на случай, если она об этом забыла (что маловероятно). — И ребенка. — Он странно смотрит на меня. — Может быть, его заела совесть, но я думаю, он просто хотел, чтобы деньги остались в семье. Других наследников не было, только ты и малая. По чистой случайности он выбрал в телефонном справочнике именно меня.

— Случайностей не бывает, — говорит моя крестная-водная не-мать, опрокидывая в себя остатки чая и разглядывая чайники на дне чашки.

— Так вы все-таки следили за мной?

— Может быть, — отвечает он с едва заметной виноватой ноткой в голосе.

На всем протяжении этого рассказа мы бродили точно в странном лабиринте, но — о счастье!^[74] — уже подбираемся к обетованному концу. Мы разобрались с Эффи и Лахланом; о них можно написать отдельную книгу, но в этой для них уже больше нет места.

— Так, — говорит Чик, — осталась последняя мелочь.

Он достает из кармана кусок газеты «Курьер». На нем обведена заметка с подзаголовком «Таинственная женщина», и Чик принимается ее читать в весьма оригинальной манере:

— «...некий Уильям Скримджор... не родственник ни знаменитому стороннику сухого закона Недди Скримджору, ни великому Александру Скримджору, которого водили в бой... Уоллес за собой... и атата, и атата... пожилой джентльмен, некогда служивший в знаменитой „Черной страже“ четвертого батальона... битва при Лос-ан-Гоэле... стерты в порошок, и атата, и атата... снимающий квартиру... Лужайки Магдалинина Двора... плохо спал... коротая... ранние утренние часы... Тей в бинокль... погода в то утро... сыро и туманно, и атата, и атата... утренний поезд из Эдинбурга должен был пройти по мосту через семь минут... знал наизусть расписание... поднес бинокль к глазам... поразило необычайное и неожиданное зрелище — по железнодорожному мосту шла женщина... в чем-то вроде красного пальто... уже приближалась к Файфу... дотянулась до верхней балки... залезла на ограждение... как птица на жердочке... встала... на край... описала великолепную дугу, вошла в воду, и атата, и атата, и исчезла из виду. Эдинбургский поезд засвистел и показался из тумана... по расписанию, как заметил мистер Скримджор... активные поиски на дне Тея... тело не найдено... никто не сообщал о пропаже знакомой, родственницы или возлюбленной, и дело было закрыто, и атата, и атата. Конец».

Когда мы все переварили эту весьма странно приготовленную историю, Чик добавляет:

— Самое интересное — то, что «загадочная женщина» нырнула с моста за день до того, как ты свалилась в реку.

— О, только не надо историй о привидениях. — Нора вздрагивает. — Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях^[75].

— У нас остался последний пробел, — говорит Нора. — И наш детектив — именно тот человек, который сможет его закрыть.

— Я?

— Да, Чик, — говорит Нора. — А для этого и тебе придется рассказать свою историю.

— Как это? — Чик явно встревожен. — Я же уже рассказал. Я обнаружил тела. Старик умер от... и так далее.

— Я все знаю, — мягко говорит Нора. — Абсолютно все.

Он вздыхает — словно человек, которого загнали в тупик и приставили нож к горлу.

— Ну, я как-то к такому не привык. — Он сверлит взглядом свои ботинки.

— Вы просто начните с начала, — вспоминаю я инструкцию миссис Маккью (впрочем, у меня такое ощущение, что она ее откуда-то позаимствовала). — И продолжайте, пока не дойдете до конца.

— Хм...

— Начни с погоды, я больше всего люблю начинать с нее.

— Погоды стояли странные, — говорит Чик. — Теплынь и дождь, как будто муссоны какие-то. Грозы. Странные животные, которым нечего было делать в этих местах. На холмах вокруг долины видели пуму. Пришлось вызывать смотрителя зоопарка из Эдинбурга, блин.

— О, а я про это и забыла, — говорит Нора. — Охотники все пытались ее выследить — они говорили, что для охоты на кошек нет запретного сезона.

— И рыба, — продолжает Чик. — Один удильщик клялся, что поймал на крючок «морского ангела». Другой утверждал, что ему в сети попалась русалка. Люди все посказались от этой погоды^[76]. И еще эти чертовы осы, они были повсюду, лезли людям в волосы, в постель, в тапки, в жестянки для печенья. Помнишь ту женщину в Кемби? Она вешала белье, ее укусила оса, и она упала замертво. А была пора варить варенье, и все женщины посказались, и все осы посказались. Все посказались... Малиновое, — неожиданно мечтательно-задумчиво произносит он. — Малиновое было слаще всего.

Кто бы подумал, что Чик — специалист по варенью?

— Она варила его целыми тазами, — продолжает он, — вечно стояла и мешала у плиты. Я как-то зашел поутру — предупредить ее про шайку джорди, которые делали налеты через границу, воровали из домов всякое^[77]. В тех местах никто не запирает двери. У нее на кухне было как в

турецкой бане. Она дала мне пирога с бараниной, зеленой фасоли, остатки рисового пудинга, чашку чаю.

(Путь к сердцу Чика явно проходит по традиционным маршрутам.)

— А дальше — одно за другое. — Чик пожимает плечами. — Ей было одиноко, мне было одиноко. У нее никогда не было мужчины — непаханая борозда...

— Прелестно.

— Она была замужем за этим высохшим калекой. Такая хорошая женщина. Она первым делом сказала, что Бог меня любит. Но, думаю, под конец она поняла, что это не так. В пылу мы опрокинули пару банок варенья. Оно было повсюду. Осы бились в окна...

До меня доходит — очень-очень медленно.

— О господи, — говорю я Чики. — Вы мой отец?

Так я обретаю свое наследие, свою кровь. Моей матерью была моя мать. Моим отцом — мой отец.

В последний день зимы — то есть наавтра — мы спускаемся к берегу. Нора вытаскивает из кармана бриллианты — совершенно бесполезные — и швыряет в серый океан. Они со знойным шипением исчезают в воде.

— Скаженная, — говорит Чик, и я не могу не согласиться.

— Вот, — говорит Нора. — И делу конец.

— Ты обещала безумных женщин, запертых на чердаке.

— Одну безумную женщину. Я обещала только одну, и для нее не хватило места.

Я полагаю, что Эффи вполне сойдет за обещанную безумную женщину.

— Угу, — говорит Чик. — Она была совсем скаженная.

— Я могу добавить чердак, раз уж ты настаиваешь. — Разделавшись с рассказом, Нора явно пришла в хорошее настроение.

Но я решаю, что лучше оставить все как есть.

— Без чердака?

— Без чердака.

1999

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Подведем черту.

Лахлан в итоге не оставил по себе ничего, кроме долгов: все состояние Стюартов-Мюрреев заключалось в бриллиантах, которые теперь покоились на дне моря. Тело в Тее так и не нашли, но и Эффи больше не давала о себе знать.

Я не получила университетского диплома. Вместо этого мой новонайденный, неожиданный-негаданный отец повез меня обратно в Данди за вещами. Боб в это время сдавал последнюю работу для финального экзамена (он получил диплом третьего класса, но сам не знал, как это ему удалось). Я не стала задерживаться, чтобы его увидеть.

Я недолго пожила у Чика — он снимал ужасную дыру на Пэдди-стрит, где нужно было вылезать из окна первого этажа, чтобы попасть в туалет на заднем дворе. Чик старался быть заботливым отцом — это заключалось в том, что он покупал мне рыбу с жареной картошкой и каждый раз, как закуривал, предлагал сигарету и мне. Вскоре я покинула Данди — вообще покинула север и уехала искать счастья в иных краях, — но по-прежнему поддерживала связь с Чиком и (к ярости Мойры) со «сраными сопляками», которые приходились мне единокровными братом и сестрой. Чик умер несколько лет назад, но я вспоминаю его с нежностью.

Именно Чик убедил Нору, что она может вернуться в мир живых и ей ничего не грозит. Она продолжила жизнь с той точки, в которой оборвала ее когда-то, стала «зрелой студенткой» университета и получила диплом морского биолога. Она вышла замуж за водолаза — вам будет приятно узнать, что он красивый. Он знает о той части ее жизни, когда она была убийцей, скрывающейся от закона. Они завели лодку под названием «Морская авантюра — 2» и худо-бедно живут на ней, скитаясь по тем частям света, где потеплее, словно парочка морских цыган. Так что у этой истории счастливый конец. Я редко вижу Нору, но это не страшно. Она — моя мать и для меня останется ею навеки.

Совсем недавно я снова побывала в Данди — мой поезд проехал по мосту под небом цвета Андреевского креста. Я видела пеньки, оставшиеся от опор несчастного творения Томаса Бауча^[78], и тюленей — они, пестрые, крапчатые, как дрозды-дерябы, загорали на песчаных отмелях посреди Тея, который сегодня принял цвет моря на Неаполитанской Ривьере. Данди изменился — и все же не изменился. В нем появились новые здания —

центр современного искусства, большой синий медицинский институт, — а кое-какие старые исчезли, например Овергейт, Велгейтская лестница, а также дом на Пейтонс-лейн, где я когда-то жила с Бобом. Самый крупный заголовок газеты на лотке газетчика гласил: «ДАНДИЙСКАЯ РЕПТИЛИЯ СПАСЕНА!» — это доказывало, что местная пресса, как всегда, интересуется исключительно местными событиями.

Я пообедала в новом центре современного искусства, у окна с видом на Тей. Посетила кладбище Хауфф, купила себе чаю в магазине Брэйтуэйта и корзиночек в глазури с изображением папоротника у Гудфеллоу и Стивена. Побродила по территории университета. Конечно, Ватсона Гранта там уже не было. Эйлин ушла от него в 1973 году к любовнику, лихому военному летчику, чья часть стояла на аэродроме в Лухарсе. Годом позже Грант Ватсон объявил себя банкротом, был уволен с постоянной ставки преподавателя и провел некоторое время в лечебнице в Лиффе. Сейчас он тихо живет в Девоне и работает переплетчиком книг.

Доктора Херра тоже уже не было — он перебрался в Ланкастерский университет. А Мэгги Маккензи скончалась от тромба в мозгу через несколько минут после того, как я похлопала ее по руке и попрощалась с ней в палате Королевской больницы. Профессор Кузенс умер много лет назад, передав бразды правления кафедрой английского языка Кристоферу Пайку, который чудесным образом выздоровел.

Как ни странно, я снова повстречала Боба. В Данди я приехала не просто так, а в рамках своего рода турне. Ко всеобщему (и в первую очередь моему собственному) удивлению, я в конце концов стала писать детективные романы — «уютные», для робких читателей, которые не любят преступлений, связанных с городскими трущобами, компьютерами и сексом, а также для иностранцев, предпочитающих старомодные, колоритные английские детективы.

Я проводила встречу с читателями — их было немного — в книжном магазине Джеймса Тина на Хай-стрит. Посреди встречи я подняла глаза и увидела, что с улицы через стеклянную витрину на меня уставился, подобно любопытной рыбе в аквариуме, мужчина.

Я решила, что это какой-нибудь маньяк, и продолжала читать вслух отрывок из своего романа. Через несколько минут маньяк зашел в магазин и до конца встречи торчал за спинами слушателей, что меня весьма раздражало. Лишь после того, как я ответила на все обычные вопросы читателей, он — толстый, лысеющий, подозрительный на вид — заговорил со мной.

— Это по правде ты? — спросил он. К нему вернулся его природный гнусавый эссекский говор.

Это по правде была я, но был ли это по правде он? Кажется, да.

Мы договорились выпить кофе на следующий день в маленьком кафе на Перт-роуд. Боб теперь преподавал «современную политику и экономику» в гимназии Моргана. Двое детей, разведен, только что завел новую подругу (последние слова прозвучали смущенно). Средних лет, средне-счастлив, сутулится. «Что еще сказать? — Боб пожал плечами. — Многовато пью, многовато курю, стараюсь поменьше думать». Он засмеялся.

Мы поболтали про Кевина — ибо Кевин Райли сейчас, разумеется, второй по известности британский автор фэнтези. Его последняя книга «Заговор балниддрийцев» — самая новая в (по-видимому, бесконечном) цикле «Хроники Эдраконии» — занимала первое место в списке бестселлеров в мягкой обложке.

Я рассказала Бобу, как, роюсь в книгах в букинистической лавке в Суффолке, обнаружила давно вышедшую и давно распроданную книгу под названием «Вторжение с Тара-Зантии». Она в самом деле повествовала о пришельцах из космоса, использующих в качестве денег домашних кошек и собак. Но автором ее был не Безымянный Юноша: книгу написал некто по имени Колин Харди. Так что одна загадка разъяснилась.

Еще мы поговорили о Дженис Рэнд, которая, не доучившись в университете, стала медсестрой со специализацией в геронтологии. Через три года ее обвинили в том, что она убивает своих подопечных (ее адвокат заявил, что она «отправляла их к Богу, на небеса», так что ее упекли в психиатрическую больницу особого режима). Именно Чик упорно выслеживал Дженис с тех самых пор по просьбе родственников бедной тети Сенги и наконец умудрился заснять на пленку кадры, послужившие окончательной уликой.

Я навестила Фердинанда в тюрьме раз или два, но он оказался довольно плоским персонажем, и скоро я в нем разочаровалась. Несколько лет назад он исчез. Мейзи, которая теперь преподает математику в Кембридже, полагает, что его убили из-за каких-нибудь околонаркотических разборок.

Что до желтого пса, то я понятия не имею, куда он делся. Но мне хочется думать, что он продолжает жить — хотя бы в книге^[79].

Это всё.

Бобу нужно было идти — он договорился с Робинотом, ныне

социальным работником, выпить в баре «Мост через Тей». Он пригласил и меня, но я отказалась.

Я думала о том, что, может быть, жизнь Боба обернулась бы совсем по-другому, не укради я у него смысл жизни.

Боб обнаружил смысл жизни как-то серым пасмурным днем, незадолго до того момента, с которого я начала свой рассказ. Озарение пришло к Бобу, когда он лежал на шершавом от грязи ковре, отработывая на Шуге смертоносный вулканический захват. Шуг мужественно терпел, набивая косяк на обложке принадлежащего Бобу альбома «Electric Ladyland»^[80]. В телевизоре, который никто не смотрел, бомбили какую-то страну, о которой мы больше ничего не знали.

Боб переключил канал.

— «Доктор Кто», — объяснил он Шугу. — Второй эпизод «Проклятия Пеладона». Там действуют ледяные воины, они на этом инопланетном сборище...

Я на минуту вышла из комнаты, а когда вернулась, они билась в какой-то метафизической истерике, трепыхаясь на ковре, как свежепойманные рыбы.

— Ух ты, — твердил Боб, — смысл жизни... это типа круто!

— Счаст-Лифф ли ты, — подхватил Шуг и широко развел руками, смахнув при этом жестянку с табаком, так что она улетела на другой конец комнаты.

К сожалению, Боб и Шуг настолько упорались, что не смогли объяснить, в чем состоит их великое открытие. Боб отвлекся на кастрюльку, стоящую посреди ковра. В ней были остатки спагетти в томатном соусе, которые пропитанному кислотой мозгу Боба показались клубком змей. А когда глюки у него прошли и он перестал орать, они с Шугом начисто забыли открытую ими великую непостижимую тайну.

— Жопа, — сказал Боб, кое-как поднялся на ноги и стал беспомощно бродить по комнате, заглядывая в ящики и под подушки, словно смысл жизни был частью осязаемого мира.

К счастью, он наступил себе на шнурок и вспомнил, в чем же заключался смысл жизни. Боб и Шуг очень расстроились, что такую важную вещь так легко забыть, и некоторое время обсуждали, как лучше сохранить ее для вечности. В конце концов я сжалась над ними и посоветовала ее записать.

— Запиши! — завопил Боб, хватаясь за руку Шуга, чтобы не упасть — так взволновало его это открытие.

Они оба решили, что записать — просто гениальное решение, почти

такое же гениальное, как сам найденный ими смысл жизни. После долгих поисков Боб нашел обрывок бумаги в линейку и записал все, что нужно, — хотя и не без труда, поскольку каждая написанная им буква превращалась в мультипликационного человечка и убегала с бумаги. Наконец ему удалось укротить человечков и выстроить их в подобие связного текста. После долгой дискуссии решено было положить драгоценный клочок бумаги в конверт и поместить в ящик буфета, стоящего в гостиной.

Когда смысл жизни был наконец в безопасности, Шуг и Боб выпили за него — каждый взял по банке лагеря «Теннент» с нарисованными девушками (Бобу больше всего нравилась та, которую звали Трейси).

— За нас, — с усилием объявил Шуг, — ибо кто подобен нам?

Боб, однако, отверг традиционный отзыв этого тоста — «Мало кто, и тех уж нет» — и стал напряженно искать свой собственный вариант. Он морщил лоб — было заметно, как усиленно он думает. Наконец он объявил с великой торжественностью и серьезностью:

— Живи долго и процветай!^[81]

Я нашла этот конверт через несколько дней, когда искала свой аттестат зрелости. Бумажку я сохранила — сейчас она лежит в ящике моего собственного буфета, в моем доме, в Бретани, и я время от времени смотрю на нее, напоминая себе, в чем на самом деле заключается смысл жизни.

Вот что написал Боб. Бережно храните эту мудрость, ибо в ней заключается смысл жизни:

«Если встать на стол, можно достать до потолка».

«Мертвый сезон». Эффи Эндрюс

Мы с удовольствием представляем читателям особое, юбилейное переиздание самого первого романа Эффи Эндрюс из цикла о мадам Астарти — оно приурочено к выходу нового крупнобюджетного телесериала по этим романам.

Критики об Эффи Эндрюс:

«Мисс Марпл наших дней».
Журнал «Женское царство»

«С каждой книгой она становится чуточку лучше».
«Йоркшир пост»

«Захватывающее чтение».
«Уитби газетт»

Другие романы из серии про мадам Астарти:

«Колесо фортуны»
«Эй, русалки!»
«Перст судьбы»

...и наконец, роман «Выберите карту, любую карту», принесший автору престижную премию.

Эффи Эндрюс родилась в 1951 году в Шотландии. Сейчас она живет во Франции.

В данном литературном произведении описания персонажей, мест и событий являются плодом воображения автора либо используются исключительно в литературных целях.

Авторские права принадлежат Эффи Эндрюс. © 1974

Глава первая. «Госпожа Удача»

Одинокий рыбак поутру, выйдя на лов селедки, обнаружил первое тело. Он как раз думал о том, какая дивная погода будет сегодня. Розово-золотые лучи кинематографического рассвета сияли на темной металлической поверхности моря, когда рыбаку, закинувшему сети с лодки под названием «Удачливая», попался неприятный улов. Рыбак не был суеверен и все же, увидев в темной воде серебристую чешую и водоросли-волосы, на один ужасный миг поверил, что поймал русалку. Однако, подцепив ее и подтянув к борту, он понял, что это никакая не русалка, а раздутое тело женщины в изодранном платье из серебристого лама. В длинных волосах запутались водоросли — волосы казались темными, но к тому времени, когда рыбак доставил тело на берег, они высохли, и покойница оказалась крашеной блондинкой.

Он схватил ее за руку, помогая подняться на борт «Удачливой», но кожа снялась длинной атласной перчаткой. Женщине пришлось еще немного побыть в воде^[82], пока рыбака тошнило через борт. Она лениво дрейфовала, никуда не торопясь, — она была мертва уже пять дней и привыкла к водной стихии. Море начало преобразовать ее — кости еще не обратились в коралл, но единственный оставшийся глаз уже стал непрозрачной жемчужиной^[83], а длинные щупальца волос украсились плоскими лентами водорослей, плоеными по краям. Целая флотилия крохотных прожорливых обитателей моря проводила утреннюю русалку в безопасную гавань.

Наконец бледный констебль Коллинз вынес женщину на сушу и зафиксировал находку по всем правилам. Было ровно 6:32 утра. Полисмен так и сяк пытался вытащить ее из лодки и после долгой некрасивой борьбы просто взял мертвое тело на руки и вышел с ним на берег. Он подумал о теплом теле своей жены, все еще спящей в супружеской постели в маленьком домике современной постройки, и его синие глаза помрачнели. Что она имела в виду вчера ночью, когда повернулась на бок в постели, враждебно посмотрела на него и сказала, что умирает от скуки? Он точно знал одно: это не может быть хуже, чем смерть от утопления.

Инспектор Баклан шел по набережной туда, где мигали синие огни полицейской машины. Отдыхающие тянули шеи, пытаясь увидеть вожаемое зрелище. Да, подумал Джек Баклан, вот так-то все и начинается...

Последние фразы

«Возможно, — осторожно согласился Дж. с человеком, который навеки останется ему врагом. — Впрочем, с другой стороны — возможно, и нет».

КЕННИ. Ничего нет. Ничего. Слышишь?

ДОД. Я знаю.

ДЖЕД. А может, Рик все-таки был прав.

— Конечно, я согласна, — пробормотала счастливая Флик.

Джейк обнял ее, притянул к себе и принялся целовать горячо и самозабвенно.

— Ну и ну, — сказала мадам Астарти. — Кто бы мог подумать, что убийца-то на самом деле ты.

Герцог Тар-Винт оседлал своего коня Демаала и прощально отсалютовал своему верному оруженосцу Ларту. Он взглянул на леди Агаруиту, что ехала верхом рядом с ним, и сказал:

— Пусть одна глава закончена. Но битве за правое дело воистину не будет конца.

Итак, Букеровскую премию за 2001 год получает... Андреа Гарнетт за свой роман «Агония Антеи».

Все то, что мы зовем своим^[84],
Все то, что бережно храним, —
...Все нам Творец займы дает
И забирает в свой черед...

(Эта надпись была вырезана на могильном камне на кладбище Хауфф в Данди. Терри же использовала ее для украшения элегантных каменных арок, стоящих у входа на все кладбища домашних животных из чрезвычайно успешной сети, основанной ею в Сан-Франциско в 1976 году.)

Послесловие

Третий роман Кейт Аткинсон «Витающие в облаках» на первый взгляд построен вполне консервативно: главная героиня и рассказчица Эффи возвращается из университета домой на маленький шотландский островок к своей матери Норе. Там, у домашнего очага, и разворачивается их разговор: Эффи рассказывает матери о своей университетской жизни, а Нора, в свою очередь, должна поделиться с ней семейной историей. Очень скоро, впрочем, становится понятно, что «Витающие в облаках» — сложно построенная метапроза, которая ставит перед читателями многочисленные вопросы о целях литературы и о пределах реализма. В первой же главе Нора отмечает необходимость включать в рассказ «повседневную рутину» и «скучные подробности» и вместо этого наставляет дочь: «нам нужны сюжеты внутри сюжетов — сумасшедшая на чердаке, кража бриллиантов, потерянные наследники, героические собаки-спасатели, капелька секса и подозрение на философию».

Таким образом, от читателей менее всего ожидается полная вера в предлагаемые им обстоятельства и доверчивое погружение в мир романа, что подчеркивает сама Эффи, начиная повествование с иронического обращения к предполагаемой аудитории: «Моя мать — девственница. Можете мне поверить». Наоборот, читателям этого романа Аткинсон предлагается поучаствовать вместе с персонажами в упоительной литературной игре, распознавая цитаты, аллюзии и игру слов и распутывая сложносплетенные уровни нарратива. Такое осознанное чтение характерно для метапрозы, как ее описывает, например, Линда Хатчеон в известной монографии «Нарциссический нарратив: парадокс метапрозы»^[85]. По определению Хатчеон, задача метапрозы состоит в том, чтобы сфокусировать внимание читателя не на конечном продукте, а на самом процессе повествования, требуя от него активного участия и таким образом делая роман более «реальным».

Эффи находится в центре повествования одновременно как героиня описываемых событий и как рассказчик-сочинитель. До определенной степени она является отражением самой Аткинсон (которая в свое время училась в Университете Данди). Роман, таким образом, построен по так называемому принципу матрешки, рассказа в рассказе, где рассказчица, находясь во внешней, «обрамляющей» истории, рассказывает внутреннюю. Впрочем, дальнейшее чтение открывает всё новые слои повествования. Так

как до возвращения на островок Эффи училась на факультете английской литературы и, в частности, брала курс писательского мастерства, история, которую она рассказывает матери, полна персонажей-писателей и сюжетов, ими созданных. В романе «Витающие в облаках» смешиваются самые, казалось бы, несмешиваемые жанры — детективная история, философская проза, женский роман, фэнтези и так далее, до бесконечности.

Аткинсон использует шутливую метапрозу для того, чтобы показать своим читателям власть слов над миром; события и описания не только кочуют с одного уровня повествования на другой, но и влияют на развитие главного сюжета. Эффи вздыхает, что слова нельзя есть, — и вскоре наблюдает, как приходится спасать старушку, случайно подавившуюся комом слов из особенно страстного романа о любви доктора и медсестры. А приехав в больницу на машине «скорой помощи», она натывается на этих доктора и медсестру во плоти, в самом разгаре их бурного периода ухода. Слова в романе отказываются спокойно лежать на странице: они могут запросто застрять у вас в горле, а воображаемые герои любовной истории материализуются как сотрудники больницы, куда попадает Эффи. Более того, для того чтобы оживить мертвеца, достаточно найти роман, в котором он является главным персонажем, и сжечь страницу, описывающую его смерть. В то же время события, описанные Эффи, могут задним числом меняться в зависимости от реакции слушателя. Например, скусающая Нора заставляет дочь включить в сюжет романтический поцелуй с объектом ее страсти — но, к сожалению, любовная линия никуда не ведет и должна быть стерта. А услышав о смерти персонажа, к которому она привязалась, Нора возмущается: «Ты сказала, что это комический роман! Ты не имеешь права никого убивать!» — и добивается отмены неудобного ей сюжетного поворота. Начинаясь писатель Кевин утверждает в беседе, что описанный в его книге дворец Калисферон «так же реален, как этот стол», — и совершенно не грешит против истины, ведь и этот стол, и сам Кевин, и пресловутый дворец — всего лишь плоды писательского воображения.

Как исчерпывающе показывают эти примеры, Аткинсон совершенно не стремится к какой-либо традиционной логичности сюжета — даже наоборот, сознательно работает против нее. Слушательница Нора неоднократно укоряет дочь за постмодернистскую структуру ее рассказа, возмущаясь, например, избытком эпизодических персонажей, неясностью конфликтов, недостатком четких объяснений происходящего и, в одном случае, отклонением от законов жанра. Даже время в романе идет наперекос, то рывками, а то задом наперед: например, придя на семинар

в двадцать минут третьего, через час Эффи обнаруживает, что уже двенадцать, а после семинара встречает однокурсницу и заканчивает разговор, который начнется лишь на следующий день. С одной стороны, это прием, разрешающий Аткинсон не объяснять те многочисленные совпадения, которыми наполнено повествование. С другой стороны, это осознанное экспериментирование со структурой произведения, заставляющее читателей задуматься о целях литературы: должен ли роман быть реалистичным и способен ли он правдиво воспроизвести окружающий мир?

В главе «Искусство структуралистской критики» обрывки нескончаемой лекции профессора Арчи Маккью содержат также и ключ к анализу произведения. В своей лекции Арчи обсуждает немиметическую литературу — произведения, которые не стремятся воспроизвести какое-то предположительно правдивое и целостное видение мира, а вместо этого фокусируются на самом акте письма как способном создавать свою собственную правду. В общем, как говорит Арчи, «возможно, что в задачи литературы не входит осмысление окружающего мира»: скорей, ее задачей является создание отдельной, по-своему целостной реальности.

Иными словами, в «Витающих в облаках» Аткинсон не предлагает своим читателям откровений, а приглашает их поиграть в слова. Как пишет Алекс Кларк в британской газете «Гардиан», этот роман является образцовым примером так называемой «shaggy dog story» (буквально: «история о лохматом псе»)^[86]. Термин «shaggy dog story» обозначает специально растянутую историю со многими отступлениями, несущественными деталями и разочаровывающим или бессмысленным концом; в оригинальных версиях такой истории сюжет был построен на длительных поисках лохматого пса. Не зря роман Аткинсон переполнен собаками и, более конкретно, потерявшимися собаками, которых необходимо найти. Одним из ключевых образов романа является желтый пес, сам по себе отсылка к известному роману Сименона, беспрепятственно путешествующий с одного уровня нарратива на другой: он то скачет по песку в любовных фантазиях Эффи, то появляется в детективном романе, который она пишет, то встречается героям в самых неожиданных ситуациях. Желтый пес, которого все ищут, используется как повторяющийся предлог для развития сюжета, как средство игривой имитации логической сюжетной линии.

И потому совершенно не случайно, что эпиграф к роману отсылает читателя к знаменитому диалогу об игре словами между Алисой и Шалтаем-Болтаем из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Как Алиса в

книгах Льюиса Кэрролла, Эффи читает скучную книгу своего преподавателя, книгу без связного сюжета и четко очерченных персонажей «и, конечно, без картинок» — и сама оказывается в сказочном пространстве метафизики. Как Алиса, она отправляется в трудное путешествие по миру игры слов, литературных шуток и тонкой социальной сатиры, встречая на своем пути персонажей не менее забавных, невежливых и заставляющих задуматься, чем сказочные создания Кэрролла.

Тех же читателей, которым хочется более серьезных источников, Аткинсон отсылает к шекспировской «Буре», известной своей метатеатральностью. Герцог Просперо, главный герой «Бури», сам планирует и режиссирует события пьесы, придерживая некоторых персонажей за кулисами, а других выводя на авансцену для решающей встречи. Как и в пьесе Шекспира, в романе Аткинсон есть мать-волшебница: в начале она стоит на берегу острова со своей дочерью и всматривается в даль, а в конце — выбрасывает в воду последние вещи, связывающие ее с прошлым. Сама Эффи, таким образом, оказывается Мирандой, блуждающей в поисках своего принца Фердинанда. Фердинанд находится, но оказывается уголовником, только что вышедшим из заключения, и лишь в мечтах Эффи он идет босиком по пляжу вдоль кромки воды, повторяя действия своего шекспировского прототипа, выброшенного волнами на берег после кораблекрушения. А неуловимый желтый пес в это время, понятно, резвится в волнах, как мохнатый Ариэль.

«Витающие в облаках» — постмодернистский роман, подходящий к серьезным литературным вопросам в шуточной форме. Построенный на многочисленных аллюзиях на широко известные произведения, он приглашает читателей поохотиться вместе на желтого пса, распутать остроумные лингвистические капканы и отвлекающие маневры и еще раз поразмыслить о том, что мы читаем и как мы читаем.

Н. Хоменко

| |
|-------|
| notes |
|-------|

Примечания

Имеются в виду соответственно инспектор Морс (герой 13 романов британского писателя Колина Декстера, выпущенных в 1975–1999 годах, и поставленного по ним сериала (1987–2001)), а также знаменитые персонажи Агаты Кристи — Эркюль Пуаро и мисс Марпл.

Аллюзия на знаменитую фразу из фильма Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня» («Мне нравится запах напалма по утрам»).

3

Аллюзия на рождение греческой богини мудрости Афины из головы Зевса.

Первая отсылка к шекспировской «Буре». Как владычица острова, позже называемая «магиней» (женская форма от слова «маг»), Нора уже является женской версией Просперо, но в то же время и ведьмой Сикораксой. Однако тут Аткинсон играет с вопросом владения островом, который неоднократно поднимается в пьесе, и, в частности, с заявлением Калибана: «Ведь остров — мой: он матерью в наследство // Оставлен мне» (акт I, сц. 2; здесь и далее «Буря» цитируется по переводу Т. Щепкиной-Куперник, если не оговорено иное).

Популярный в Британии туристический маршрут между крайними точками острова: от мыса Лендс-Энд («Край Земли») на юго-западе до деревни Джон-О'Гроутс на северо-востоке.

Ср. Кор. I 15: 51–52: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».

Двойная отсылка: к шекспировской «Буре» и к роману Чарльза Кингсли «Дети воды» (который будет еще упомянут позже и часто сам оперирует отсылками к «Буре»; см. примеч. к с. 260). В книге Кингсли утонувший мальчик превращается в «дитя воды», «создание ростом четыре дюйма, с жабрами». В «Буре» морская трансформация описывается в знаменитой песенке Ариэля (акт I, сц. 2):

Отец твой спит на дне морском.
Кораллом стали кости в нем.
Два перла там, где взор сиял.
Он не исчез и не пропал,
Но пышно, чудно превращен
В сокровища морские он.

Прочитана шотландская народная песня в обработке Роберта Бёрнса, содержащая отсылки к историческим событиям (в частности, к битве при Бэннокбёрне, в которой шотландская армия разбила англичан и на несколько сот лет восстановила независимость своей страны). Много веков служила также государственным гимном Шотландии. Цитируется в переводе С. Маршака.

Английская народная детская песенка «О мальчиках и девочках» цитируется в переводе С. Маршака.

Возможно, отсылка к шекспировской «Зимней сказке», к сцене, в которой Гермiona просит сына рассказать ей что-нибудь:

Мамиллий
...Зиме подходит грустная. Я знаю
Одну, про ведьм и духов.
Гермиона
Хорошо.
Садись и расскажи как можно лучше,
Чтоб маму небылицей напугать.

(Акт II, сц. 1. Перев. В. Левика)

Как и в «Зимней сказке», это метамомент: история, рассказанная одним из персонажей, это одновременно и история, в которой персонажи участвуют.

11

До тошноты (*лат.*).

«The Broons» — комикс о семействе Браун (Брун — шотландское произношение фамилии Браун), выходящий в газете *Sunday Post* с 1936 года. «The Bash Street Kids» — комикс, выходящий в журнале *Beano* с 1954 года.

Уильям Уоллес (1270–1305) — народный герой Шотландии, один из военачальников в войне за независимость от Англии.

У Боба (фр.).

Уильям Топаз Макгонагалл (1825–1902) — шотландский поэт, прозванный самым худшим поэтом в истории человечества. В его стихах традиционно хромали размер и рифма. Макгонагалла иногда приглашали читать стихи на публику — мюзик-холлы преподносили его выступление как комический номер. Возможно, это упоминание должно подготовить нас к чепухе, произносимой во сне Бобом.

Самое популярное стихотворение Макгонагалла, известное даже сегодня, — «Крушение моста через Тей» («The Tay Bridge Disaster»). В нем описываются события 28 декабря 1879 года, когда железнодорожный мост через реку Тей обрушился вместе с проезжающим по нему поездом. По последним данным, при этом погибло 75 человек (а не 90, как говорится в стихотворении).

Следует обратить внимание на то, что загадочная женщина в конце книги бросается в воду именно с этого моста через Тей. Он неоднократно упоминается в романе (впервые — чуть дальше, когда Эффи, впустив Терри в квартиру, смотрит в окно).

Илфорд — один из ближних пригородов Лондона (15 км к северо-востоку от вокзала Чаринг-Кросс).

«Шоу дебилов» (The Goon Show) — британская комедийная радиопрограмма, первоначально демонстрировалась на британском телевидении в 1951–1960 годах. В ней участвовали в том числе Спайк Миллиган и Питер Селлерс.

«*Мартышки*» (The Monkees) — американский поп-рок-квартет, который записывался и выступал с концертами с 1966 по 1971 год и не раз воссоединялся начиная с конца 1980-х годов. Участники группы — Дейви Джонс, Майкл Несмит, Питер Торк и Микки Доленз — были впервые собраны вместе в 1965 году телеканалом Эн-би-си для съемок в одноименном телесериале о буднях современной рок-группы.

Истории о сексуальных похождениях антропоморфного кота Фрица выпускались мастером андерграундного комикса Робертом Крамбом (р. 1943) в журналах *Help!* и *Cavalier* с 1965 года. В 1972 году Ральф Бакши выпустил полнометражный мультфильм «Приключения кота Фрица», но Крамб был настолько недоволен экранизацией, что в том же году «убил» своего персонажа.

«Если....» (If...) — драма режиссера Линдсея Андерсона с Малькольмом Макдауэлом в главной роли, выпущенная в 1968 году и посвященная жизни в британских частных школах. Фильм стал скандально известным благодаря сценам восстания в школе и ассоциируется с контркультурой 1960-х годов, поскольку был снят независимым режиссером во время парижских демонстраций в мае 1968 года.

Клингоны — вымышленная инопланетная цивилизация воинственных гуманоидов из научно-фантастической вселенной «Звездного пути» (Star Trek), созданной американским сценаристом и продюсером Джином Родденберри (1921–1991).

Аллюзия на начало «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса: «Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время...» (перев. С. Боброва).

В связи с забастовками на угольных шахтах в 1970–1974 годах в Британии был введен ряд мер для жесткой экономии электроэнергии (в том числе «трехдневные недели», во время которых электричество подавалось в жилые кварталы и на производство только три дня в неделю). Зимой 1978 года, которая выдалась самой холодной за 16 лет (что дополнительно обострило ситуацию в экономике), забастовки охватили большую часть страны. В итоге к власти пришли консерваторы во главе с Маргарет Тэтчер и было принято антипрофсоюзное законодательство, прекратившее выступления рабочих. Название «Зима междоусобий» взято из первых строк пьесы У. Шекспира «Ричард III»: «Прошла зима междоусобий наших; // Под солнцем Йорка лето расцвело...» (цитируется по переводу А. В. Дружинина с минимальными изменениями).

«Кавалеры» — английские роялисты, сторонники Карла I в ходе английской гражданской войны (1642–1646), носившие длинные волосы (в отличие от их выступавших за парламент противников, так называемых круглоголовых, которые коротко стриглись).

Спиды, спид (*англ.* speed — скорость) — разговорное название амфетаминов, стимуляторов центральной нервной системы.

«Логико-философский трактат» — написанная во время Первой мировой войны и выпущенная в 1921 году основная работа австрийского мыслителя Людвиг Витгенштейна (1889–1951), представителя аналитической философии; одно из самых влиятельных философских сочинений XX века.

Синоптики (Weathermen) — леворадикальная боевая организация, действовавшая в США в 1969–1977 годах. Была сформирована из радикального крыла движения «Студенты за демократическое общество» (SDS), выступавшего против войны во Вьетнаме. Название организации происходит от фразы «You don't need a weatherman to know which way the wind blows» («Вам не нужен синоптик, чтобы узнать, куда дует ветер») из песни «Subterranean Homesick Blues» Боба Дилана с его одноименного альбома 1965 года.

Роб-Грийе, Ален (1922–2008) — французский писатель, сценарист и кинорежиссер, основной идеолог «нового романа» (цикл эссе «За новый роман», 1955–1956). Главные произведения: «Соглядатай» (1953), «В лабиринте» (1959), «Проект революции в Нью-Йорке» (1970), автобиографическая трилогия «Возвращающееся зеркало» (1985), «Анжелика, или Ворожба» (1988), «Последние дни Коринфа» (1994). Как сценарист известен в первую очередь сценарием фильма Алена Рене «Прошлым летом в Мариенбаде» (1961).

Жак Деррида (1930–2004) — французский философ и теоретик литературы, создатель концепции деконструкции, основные положения которой содержатся в его работе «О грамματοлогии» (1967); полемизировал и с феноменологами, и со структуралистами, критикуя их за логоцентризм.

В оригинале *anchorage* («постановка на якорь») — постструктуралистский термин, введенный Роланом Бартом.

Валери, Поль (Амбруаз Поль Туссен Жюль Валери, 1871–1945) — французский поэт, эссеист, философ, теоретик литературы.

В классическом понимании герменевтика — это искусство толкования, теория интерпретации текстов (священных, древних и т. д.); здесь имеется в виду направление в философии XX века, выросшее из теории интерпретации литературных текстов.

Перекликается с известной фразой А. Ахматовой (процитированной, например, в воспоминаниях А. Наймана): «Нет ничего скучнее чужого блуда и чужих снов».

Angst (*нем.*) — страх.

Sturm und Drang (*нем.*) — буря и натиск. Также название литературного движения XVIII века в Германии.

Angst (*нем.*) — страх. В философской литературе обычно употребляется в значении экзистенциальной тревоги, неопределенного страха перед существованием.

То есть попала в процентную группу, хуже которой экзамен сдали только 30 % всех экзаменуемых. Оценки на государственных экзаменах в Британии в описываемую эпоху выставлялись следующим образом: экзаменуемые, результаты которых относились к 10 % лучших, получали «А», следующие 15 % — «В», следующие 10 % — «С», следующие 15 % — «D», следующие 20 % — «Е», следующие 20 % — «О» (удовлетворительный уровень), и, наконец, 10 % экзаменуемых, показавших самые худшие результаты, считались несдавшими. В 1980-х годах система оценок была изменена.

Отсылка к стихотворению Эмили Дикинсон: «Вскройте жаворонка!
Там музыка скрыта...» (перев. В. Марковой, И. Лихачева).

Вестер-Росс — область на северо-западе Шотландии.

Отсылка к стихотворению Эмили Дикинсон: «Я — Никто. А ты — ты кто?» (перев. В. Марковой).

Для выполнения требований этого курса вы должны посещать один семинар в неделю и два индивидуальных занятия с преподавателем каждый семестр. Курсовая работа состоит из одного задания и заключается в создании текста, который должен представлять собой вашу личную оригинальную работу — пьесу, новеллу, сборник рассказов, первые пять глав романа, сборник стихов или иное произведение по согласованию с преподавателем, ведущим курс.

Антонио Грамши (1891–1937) — итальянский философ-марксист, политик, основатель и руководитель Итальянской коммунистической партии. Разрабатывал теорию гегемонии (позаимствовав термин из дискуссии русских социал-демократов Плеханова и Аксельрода), согласно которой господство того или иного класса основано не только на принуждении (доминировании), но и на идеологическом лидерстве (гегемонии).

Возможно, намек на популярного американского писателя с тем же именем, автора триллеров и романов ужасов для детей и подростков.

Сьюзен Зонтаг (1933–2004) — американская писательница, мыслитель, художественный критик. «Эстетика молчания» — первая статья из ее сборника «Стили радикальной воли» (1969).

Джон Барт (р. 1930) — выдающийся американский писатель, один из самых крупных, наряду с Томасом Пинчоном, представителей постмодернизма первой волны. На русский язык переводились только его «малые» произведения — романы «Плавучая опера» (1956), «Конец пути» (1958), «Химера» (1972) и «Всяко третье размышление» (2011), а также сборник «Заблудившись в комнате смеха» (1968). Один из главных его романов, «Giles Goat-Boy» (1966) — «Козлик Джайлс», «Козлоюноша Джайлс»... как только его не называли в нашем литературоведении — основывается на буквально обыгранной метафоре мира как университета, немаловажной в контексте данного романа Аткинсон.

Скука (*фр.*).

Название преддипломной работы Эффи, во-первых, является подсказкой к значению имени дочери Арчи, в первый раз упомянутой на с. 41, Мейзи, чье имя созвучно с английским словом «maze» (лабиринт) — главная героиня известного романа Джеймса «Что знала Мейзи». В романе Мейзи — маленькая девочка, травмированная бездумным поведением родителей в процессе развода (в российском прокате одноименный роману фильм (2012), действие которого перенесено в современный Нью-Йорк, шел под крайне неудачным названием «Развод в большом городе»). Аллюзия к этому роману еще раз подчеркивается в названии главы «Чего не знала Мейзи». Во-вторых, название преддипломной работы описывает и структуру романа Аткинсон, явно многим обязанного Джеймсу: сюжет развивается запутанными кружными путями и скорее напоминает блуждание по лабиринту.

Намек на Чеширского Кота из «Алисы в Стране чудес».

Вероятно, отсылка к Террасе Бесконечности (Terrazzo dell'Infinito), площадке обозрения с видом на море на исторической вилле Чимблоне, расположенной на побережье Амальфи в южной Италии. См. также с. 122 («Словно стоишь на краю бесконечности») и с. 180 («плед, сотканный из тусклых цветов конца бесконечности»).

Амхерстский колледж — частный гуманитарный университет в г. Амхерст, штат Массачусетс, США. Считается одним из лучших высших учебных заведений США, в том числе по гуманитарным наукам. Предоставляет студентам крайнюю свободу в составлении индивидуального учебного плана (обязательных предметов в программе колледжа не существует).

Имеется в виду изображение кэрролловской Алисы на классических иллюстрациях Джона Тенниела (1820–1914) к первым изданиям «Алисы в Стране чудес» (1865) и «Алисы в Зазеркалье» (1872).

Возможно, аллюзия на книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1970), которая позже окажется у Эффи под подушкой.

Далеки — инопланетная раса роботов-убийц из британского фантастического сериала «Доктор Кто». «Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире (впервые появился в 1963 году), важная часть массовой культуры Великобритании и многих других стран.

Отсылка к «Буре». Калибан говорит Стефано и Тринкуло: «Не бойся: этот остров полон звуков...» (акт III, сц. 2).

До бесконечности, до тошноты (*лат.*).

Букв.: «оставьте делать» (фр.) — политика невмешательства.

Остров из машины (*лат.*).

Сведение к абсурду (*лат.*).

Главный труд (*лат.*).

«При дворе малинового короля» *(англ.)*.

61

Главный труд; основное блюдо (*фр.*).

«После золотой лихорадки» (англ.).

«Дух в небе» (англ.).

«Белее бледного» (англ.).

«Иди спроси у Алисы» (англ.).

Отсылка к «Саду расходящихся тропок» Борхеса (см. примеч. к с. 139) и к геометрически невозможным архитектурным сооружениям на гравюрах и литографиях голландского художника Маурица Корнелиса Эшера (1898–1972).

«Спидуэлл» — бар в Данди, постройки 1903 года, с сохранившимся интерьером эдвардианского периода.

Чертополох — символ Шотландии.

Опять шекспировские имена. Эдмунд — из «Короля Лира»: тот Эдмунд отличился на войне, а этот на ней разбогател. Гертруда — из «Гамлета». Следует заметить, что дальше Гертруда превращается в Памелу — вероятно, отсылка к роману Сэмюэла Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740) и очередное напоминание, что эти имена выполняют чисто литературную функцию.

Возможно, отсылка к псалму 136 «На реках Вавилонских».

Кроме отсылки к радикальным политическим группам в Англии XVII века, возможно, также отсылка к песне «Levellers and Diggers» (или просто «The Diggers») — балладе XVII века, написанной о земельных диспутах Джерардом Уинстенли, главой группы «диггеров», или копателей, которая вначале называлась *True Levellers*, «истинные уравниатели». Версию этой песни также исполняет современная британская группа *Chumbawamba*, чьи песни часто окрашены социалистической идеологией; существует и фолк-панк-группа *The Levellers*.

Опять отсылка к «Старому мореходу». В третьей части поэмы рассказчик описывает появление призрачного корабля, на котором Смерть и Жизнь-и-в-Смерти играют в кости, поставив на кон его душу.

Возможно, отсылка к «Алисе в Зазеркалье» (глава III), где у Алисы в ухе звучит тоненький голосок и потом оказывается, что с ней разговаривает комар.

Отсылка к словам Алонзо из «Бури» (акт V, сц. III).

— Ср. со следующим эпизодом из «Войны и мира» Л. Толстого (т. I, гл. III):

«— *Ce n'est pas une histoire de revenants?* [Это не история о привидениях?] — сказал он „Ипполит“, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

— *Mais non, mon cher,* [Вовсе нет,] — пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

— *C'est que je deteste les histoires de revenants,* [Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях,] — сказал он таким тоном, что видно было, — он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили».

Рассказ Чика частично повторяет знамения в Риме, описанные в шекспировском «Юлии Цезаре»:

Дрожишь и ужасаешься, глядя
На странное негодование неба.
Но если б ты добрался до причин
Всех этих сверхъестественных явлений, —
Блуждающих огней, бродящих духов,
Тех перемен, что в нравах замечаем
Зверей и птиц, тех странных прорицаний,
Что делают безумцы, старики
И даже дети; грозных изменений
Законов, что природой управляют...

(Акт I, сц. 3. Перев. П. Козлова)

Джорди — прозвище жителей области на северо-востоке Англии. Эта область лежит немного южнее англо-шотландской границы и включает в себя в числе прочего долину реки Тайн и города Ньюкасл (называемый также Ньюкасл-на-Тайне) и Дарэм. Диалект, на котором говорят в этой области, также называется джорди. На протяжении многих веков набеги через границу с целью грабежа были традиционным промыслом жителей приграничных областей (с обеих сторон).

Имеется в виду мост через Тей, сваи которого остались после крушения и до сих пор торчат из воды.

Ср. с содержанием романа Жоржа Сименона «Желтый пес» (1931). Мсье Мостагэна, виноторговца из небольшого приморского городка в Бретани, ранили выстрелом неизвестные. Еще один человек умирает от яда. Инспектор Мегрэ расследует дело. Он находит следы огромных сапог и отпечатки собачьих лап. В книге фигурируют: загадочная официантка Эмма, сирота с трудной судьбой, отец и брат которой погибли в море; брошенный женой неудачник-доктор, участник Первой мировой войны (его засыпало землей при взрыве снаряда, и, если бы санитары не откопали его, он бы погиб); бывший заключенный Леон (положительная личность, несмотря на отбытый им тюремный срок); и таинственный желтый пес, который, как привидение, то появляется, то исчезает.

«Electric Ladyland» («Электрическая страна женщин») — двойная пластинка Джими Хендрикса, вышедшая в 1968 году; на ее конверте (в английском варианте обложки) изображены девятнадцать обнаженных женщин на черном фоне. Этот альбом (третий и последний, выпущенный группой *Jimi Hendrix Experience*, и самый коммерчески успешный в прижизненной дискографии Хендрикса) занял 54-е место в списке «500 лучших альбомов», составленном журналом *Rolling Stone* в 2003 году.

Приветствие вулканцев, сопровождается особым жестом руки (поднятая вперед ладонь с разведенными средним и безымянным пальцем и вытянутым большим).

Кожа на руках утопленника после длительного нахождения в воде размокает (это называется «мацерация») и может, если неосторожно потянуть труп за руку, сняться целой перчаткой. В криминалистике для этого явления существует термин «руки прачки».

Опять отсылка к песенке Ариэля из «Бури» («Отец твой спит на дне морском. / Кораллом стали кости в нем. / Два перла там, где взор сиял»), самая явная во всей книге. Также см. примеч. к с. 21.

Шотландский религиозный гимн, поэтическое переложение текста из Книги Иова (1: 21). Перевод Д. Никоновой.

Linda Hutcheon. Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox.
Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 1980.

Alex Clark. The Fragility of Goodness // The Guardian. 2001. March 10.